СЕРГЕЙ КИЗЮКОВ

ИДОЛЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

ИСТОРИОСОФСКИЕ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЭССЕ

ЛФГ «Бастион»
Лига консервативной журналистики

СЕРГЕЙ КИЗЮКОВ

ИДОЛЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

ИСТОРИОСОФСКИЕ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЭССЕ

Москва
«Мануфактура»
2009

Составители: Г. Елисеев, Д. Володихин
Верстка: Р. Злобин

Кизюков С. В.

Идолы исторического сознания. Историософские и публицистические эссе / Сост. Г. Елисеев, Д. Володихин. – М.: ЗАО «Мануфактура», 2009. – 216 с. Тираж 1000 экз.

ISBN 978-5-93084-047-8

В посмертном сборнике статей, трактатов и эссе блистательного историка, публициста, писателя и дипломата С. В. Кизюкова собраны его лучшие non-fiction тексты. Они давно получили широкую популярность и были «разобраны на цитаты». Некоторые из них стали знаменем интеллектуального движения младоконсерваторов. Работы С. В. Кизюкова посвящены проблемам русской истории, русской культуры, веры. Глубоко верующий христианин, С. В. Кизюков обладал сильным и оригинальным умом; его труды оказали мощное влияние на целое поколение современных консервативных мыслителей.

ISBN 978-5-93084-047-8

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ КИЗЮКОВА

Есть люди, значение которых с годами только растет: память о них не рассеивается, и даже, скорее, концентрируется. При жизни их голос терялся в тарараме современности, а вот смерть волей-неволей заставляет к ним прислушаться. Горько, что поводом для этого оказался уход из жизни...

Сергей Кизюков уже стал своего рода человеком-символом нашего странного поколения. Даже его ранняя и неожиданная смерть – он умер всего в сорок лет – выглядит каким-то символом для всех нас. Пророческим. И пугающим.

Его голосом звучало наше поколение – все более громко, все более настойчиво. Поколение отнюдь не забытое, нет. Скорее, оказавшееся никому не нужным. Эпоха распорядилась так, что даже те из нас, кто сумел реализовать себя, выложились в лучшем случае наполовину своего потенциала. Нас резко и искусственно затормозили на старте.

Девяностые оказались потерянным временем, временем вынужденного молчания, временем, которое мы тратили не на собственный духовный рост, а на элементарное выживание. Многие так и не смогли выпрямиться после «великой эпохи социальных реформ», – замолчали, полностью уйдя в бизнес, службу или коммерческую журналистику. Сергей, сполна хлебнувший всех «прелестей» ельцинизма, нашел в себе силы не только продолжать расти внутренне, но и вновь заговорить, резко и узнаваемо, когда для этого появился шанс. Он стремился реализовать себя сразу в нескольких ипостасях и везде преуспел: историк, публицист, критик и, одновременно, – дипломат, «государственный человек».

А в девяностых Сергей более всего изнывал от этого «молчания в пустоту», когда созданные им тексты не выходили за пределы круга из трех-пяти близких знакомых. Он обожал постмодернистские игры, хотя к самому постмодернизму в его западном варианте относился скептически. Больше всего Сергея привлекали опыты с конструированием авторских образов. Он создавал персонажей, от лица которых выступал с самыми различными статьями и идеями. Его вообще интересовали идейные эксперименты, своеобразные творческие игры с идеологиями. Идеи и убеждения Сергей воспринимал прежде всего как рабочий инструмент. Его просто интересовало: как могут мыслить носители тех или иных убеждений. И сможет ли он сам смоделировать текст, созданный в рамках того или иного набора взглядов.

Поэтому Сергей с таким энтузиазмом ухватился за идею «сетевого журнала». Поэтому он настолько выкладывался, создавая и развивая журнал «Русскій Удодъ». Именно здесь он смог в наибольшей степени реализовать свою идею «жизни за нескольких людей». Его статьи, выходившие под несколькими псевдонимами, были именно образцами разнообразных мировоззрений. Они демонстрировали, как должны мыслить и выступать люди совершенно несхожих взглядов и биографий. Среди подобных персонажей настоящим шедевром воображения Кизюкова стал

«Элиезер Воронель-Дацевич, профессор университета Бар-Эйлат в Израиле». Позднее отдельные статьи данного персонажа стали выражать взгляды самого Сергея, использовавшего еще какое-то время этот псевдоним по привычке. А изначально тексты Дацевича моделировали четкий набор убеждений, характерных для советского еврея-эмигранта, не потерявшего интереса ни к России, ни к русскому народу. (Поэтому некоторые яркие статьи «Воронель-Дацевича» в этот сборник не вошли. Ведь в них не нашли отражения реальные убеждения Сергея. Это была литературная игра, стилизация мышления, интонаций и публицистических приемов, не более того).

Формат журнала со временем стал тесен для Сергея, обладавшего темпераментом бойца, любившего жесткие дискуссии и резкую полемику. Он обладал качеством настоящего журналиста – умением быстро откликнуться на событие. У него было по-настоящему легкое перо. Поэтому «Удодъ», выходивший с периодичностью самиздатовского культурологического альманаха, сильно зависевший от скорости письма других авторов, стал постепенно тяготить Сергея. Он с большой охотой завел себе блог в «Живом журнале» и влился в обширную субкультуру «блогеров», порожденную Интернетом. Он часто говорил, что постоянное общение в родной языковой среде, внутри русских и российских тем, помогло ему не утратить себя в ходе длительных дипломатических командировок. Как ни странно, Сергей любил свою изматывающую и неблагодарную службу, становился настоящим знатоком тех стран, куда его посылали. (Его вторая книга была посвящена Турции, где он проработал целых четыре года).

И все же настоящим призванием Сергея было слово. Слово публицистическое, слово философское, слово культурологическое. И становится обидно, что он замолчал именно тогда, когда нашел четкий и уверенный тон, выверенную интонацию, безошибочно узнаваемый авторский стиль. Его статьи последних лет несут отпечаток яркой творческой индивидуальности. Их невозможно спутать с текстами другого автора.

Сергей любил «прямое действие» в литературе. Поэтому, обладая несомненным прозаическим даром, предпочитал публицистику всем остальным жанрам. Он говорил: «Ненавижу размазывать на десять страниц с диалогами то, что можно четко и внятно высказать в одном-двух предложениях». А между тем его опыты в литературе были очень и очень интересны. И жаль, что многие отличные тексты, вроде «социологического романа» «Кролик-летописец» в духе раннего Зиновьева, посвященного реформам девяностых, уже не будут закончены. Впрочем, и здесь у Кизюкова не обходилось без мистификаций. Самым известным виртуальным прозаиком подобного рода, порождением коллективной игры, в которой Сергей сыграл ведущую роль, стал «польский писатель-эмигрант Анджей Бодун». Этому никогда не существовавшему литератору была придумана подробнейшая биография, список произведений и даже сын – непутевый художник Бертольд Бодун. Затем стали появляться и реальные произведения, написанные в «манере Бодуна». Польскому фантому приписывались различные тексты, и один из них («Святая сова»), написанный целиком и полностью Сергеем, даже вышел на страницах покойной ныне «Звездной дороги».

Уже после смерти Сергея в сети кто-то грустно заметил, что публицистика сиюминутна, не живет долго, а поэтому, как ни жаль, его яркие статьи быстро забудутся. К счастью, наш друг не был только публицистом. Ведь даже среди опубликованных текстов Сергея есть две полноценных монографии, одна из которых («Теория и методы исторического исследования») заслужила самые высокие оценки специалистов. Ее цитируют, методологические рецепты, предложенные Сергеем, воплощаются в жизнь. Есть целый сборник трудов «Воронель-Дацевича», существуют неизданные рассказы «Анджея Бодуна», а также «дневники», которые Сергей вел годами и которые представляют собой интереснейшее чтение, настоящий портрет уходящей эпохи...

Значение его творчества будет только возрастать со временем. Это очевидно. И тем горше понимание того, что нашего друга нет с нами, что он не сделал столько, сколько мог бы...

* * *

Через несколько дней после кончины Сергея Кизюкова Лига консервативной журналистики и ЛФГ «Бастион» приняло решение собрать и опубликовать его труды. В первую очередь, должны выйти крупнейшие исторические, философские, публицистические эссе Сергея, которые имеют фундаментальное значение. Настоящий сборник и призван решить эту задачу. Впоследствии планируется напечатать полное академическое издание его работ – художественных, научных, публицистических.

Статьи и эссе, вошедшие в эту книгу, объединены по нескольким тематическим направлениям. В рамках каждого их этих направлений составители постарались соблюсти хронологический порядок обнародования текстов. Однако точная хронологическая привязка их к определенному году и месяцу в ряде случаев невозможна: нет данных о моменте первой публикации, сетевой и или офф-лайновой, нет данных и о том, когда именно большинство из них было создано Сергеем. Поэтому составители, не желая вводить читателей в заблуждение, отказались от датировки текстов. Очевидно, в академическом издании она появится, – насколько будет возможным добиться в этом вопросе истины.

Основной труд по составлению сборника проделал Глеб Елисеев. По ряду частных вопросов помогал ему Дмитрий Володихин. Помощь оказал также Сергей В. Алексеев.

Статьи взяты большей частью из сетевых общественно-политических ресурсов: журнала «Русскiй удодъ», портала Traditio.ru, сайтов АПН, «Русский журнал», «Русский обозреватель», некоторых других. Меньшая часть взята из офф-лайн журналов и сборников. Так, последний, посмертный материал Сергея, изданный в рамках круглого стола об А. И. Солженицыне, опубликован в журнале «Свой»; текст полностью взят оттуда.

Дмитрий Володихин,
Глеб Елисеев

ВЕРА

СССР: КРАХ ЧЕЛОВЕКОБОГА ИЛИ ГРЯДУЩАЯ ТЬМА

(речь, произнесенная перед кружком русских филологов в Праге)

На сей раз постараюсь быть чрезвычайно краток. Сразу скажу: мои отношения с СССР всегда были плохими, нам (мне лично и мне подобным) не за что любить друг друга. Но мы можем друг друга уважать, даже при взаимной ненависти, как старые, добрые враги.

Я думаю, что советская эпоха, при всей ее внутренней сложности, была прежде всего завершающей стадией многовекового бунта Человека против Бытия, против Традиции и против Мира как такового. Этот бунт, выразившийся, в конечном счете, в коммунизме, потерпел поражение, полное, окончательное и бесповоротное. Вряд ли стоит этому радоваться, так как под влиянием бунтующих это атакуемое Бытие само подверглось значительной коррозии, местами истлело, покрылось ржавыми пятнами. Ему предстоит пережить восстановление. Хуже того, Бытие поражено болезнью, не менее страшной, чем коммунизм. Либеральная чума опасна, вероятно, даже еще более.

Потому что в коммунизме сохранялась какая-то, пусть слабая, искра традиции, о чем я еще скажу. Нынешний же, либеральный мир, полностью с ней распрощался – это уставшее разлагающееся чудовище, способное лишь продуцировать все новые и новые фекалии, облекая их в причудливые, красочные формы, но от того не менее вонючие. Подобно радужным бензиновым пленкам на воде, они заполняют наш мир, закрывая от нас все прозрачные смыслы, все чистые видения.

Человечество пережило свой крах в качестве свободно действующего лица. Мы вступили в постчеловеческую эпоху, когда каждой отдельной душой управляют какие-то иные сущности, когда человек говорит чужими языками, не понимая смысла собственного бормотания.

Такова страшная расплата за бунт против Извечного Порядка.

Некогда человек довольно долго знал свое место и чувствовал себя рабом Б-га. Надо понимать это как исключительно рабское состояние, глухое и глубокое рабство. Животное значительно более свободно, чем человек, так как оно убеждено в своей свободе и неспособно осознанно принять рабство (только подчиняясь силе) – а именно таков единственно возможный человеческий удел, что люди должны делать это добровольно, тогда между ними и Высшей Силой заключается некий завет.

В один прекрасный день человек возомнил себя свободным и не обязанным ничем Тому, Кто дал ему сознание, зрение и язык. Он решил уподобиться вольному животному, «слиться с природой», стать ею – и таким образом самому стать отчасти богом. Ибо власть Б-га он отныне видел не *над собой*, а *вокруг себя*, что, строго говоря, далеко не одно и то же.

Он начал сливаться с примитивными стихиями, и они заняли место его воинственной души. А он был убежден, что сквозь него говорит сам Б-г. И Высший Мир был заменен «миром параллельным», голос Б-жества – всхлипываниями жалких стихий.

В конечном счете человек убедил себя в том, что является центром бытия и содержит в себе весь мир. Это была последняя стадия его философского бунта – превращение в «человекобога», полусатаническую сущность, убежденную в собственной правоте.

Когда все остальные смыслы, включая традиционные, были вынесены за скобки, новый, стихийный, автономный человек попытался реализовать свою программу.

СССР и был таким научным экспериментом автономных сущностей. Человек, уверивший себя, что он не жалкий раб Б-га, а всемогущий хозяин Материи (марксизм, его советская версия, в сущности, противопоставляли деятельного Человека, как лучшей части Материи, самой этой косной Материи; человек оказывался единственным божком вялого материального мира, а все, что вне этого мира, объявлялось несуществующим), решил построить свой мир – с отказом от всяких Высших Смыслов, кроме одного: нужно было «поднять» всех людей на уровень сознательных хозяев косного мирового естества. В этом была определенная правда коммунизма, который оставлял за людьми определенное достоинство, в том смысле, что хоть какая-то обязанность за человеком признавалась. Тем самым коммунизм не рвал с традицией окончательно, в отличие от либерализма, – призывая к «созданию нового человека», он оставался в некоторой степени традиционным, хотя и крайне перверсивным течением.

Устройство общества, которое создали коммунисты, в силу их философских взглядов оказалось одним большим концентрационным лагерем. Выяснилось, что человек не может быть свободен, и если он – не раб Б-га, то он становится рабом других. В один прекрасный день то устройство бытия, против которого выступали коммунисты, одним ударом перста Г-дня было уничтожено и обращено в прах. Эта версия была слишком вызывающей, слишком разрушительной для Истинного Порядка, чтобы продолжать жить.

Таким образом, научный эксперимент показал следующее: представления стихийного человека о себе и мире неверны; существует Высшая Сила, которая все равно возьмет свое.

Ныне Г-дь несколькими точечными ударами нанес тяжелое поражение последней, «мягкой» ереси – либерализму. Этому учению уже более не встать.

Могут спросить, почему Б-г терпит либерализм дольше? Потому что последний все-таки оставляет человеку право выбора – превращаться в свинью или противостоять этому гнилому потоку. Таким образом, какой-то процент верных принципам Бытия в либеральных странах сохраняется. Им предстоит объединиться и обрушиться на мир, пребывающий в постчеловеческом состоянии.

Я называю их «последними людьми». Теми, кто признает свое рабство и абсолютную правоту Б-га, кто полностью подчиняется ему. Это последние рыцари последнего форпоста Традиции. Их не так много, но, возможно, их число будет расти.

Либерализм предоставляет человечеству такой шанс, и в этом состоит его исторический смысл. То есть – дело в имманентном преодолении либерализма, в его самоотрицании.

Мы живем в эпоху *постчеловечества*, в которую нас окружают миллионные толпы псевдосущностей, которые людьми могут считаться лишь потенциально.

Стихийный человек проиграл свою битву, потерпел поражение в своем восстании и должен понести кару. Кара будет достаточно страшной. В виде долгой Всемирной Ночи.

Человек заслужил долгое дисциплинарное наказание, заслужил глухие каменные колодцы, где он будет пребывать до тех пор, покуда не откажется от сатанинской гордыни

Что же теперь остается автономному человеку, этому бессмысленному скоту, заблудшему неизвестно куда?

Ему предстоит долгий путь на коленях в полной темноте, многие десятилетия упорной дрессировки. Ему предстоит добиться разрешения смотреть на звезды. Через долгие годы он, возможно, заслужит право встать с колен и сделать первые шаги.

Человек должен стать абсолютным рабом, чтобы вернуть себе человеческое достоинство. Нас ждет Великая Тьма, из которой, может быть, мы выйдем к новым сияющим вершинам, а можем остаться в ней навсегда.

Все зависит от того, какова будет воля Б-га. И нет ничего выше нее.

Вот, собственно, и все. Спасибо.

Опубликовано под именем Элиезер Дацевич

ПРАВОСЛАВНОЕ ГЕТТО И ВЗЫСКУЮЩАЯ ТОЛПА

Как можно понять из последних статей на АПН, развитие РФ-овской общественной мысли достигло, наконец, уровня, когда о так называемой русской религиозной реформации стали писать всерьез, без болезненной экзальтации и без дурацкого ерничанья. Общество дозрело, выучило коекакие слова на эту тему и начало их произносить. Это хорошо. В связи с чем я хотел бы описать некое явление, которое почти не замечают. Его можно было бы назвать «русским православным протестантизмом», но, поскольку термин «протестантизм» как-то плохо сочетается с термином «православный», да и значение у такого сочетания более чем расплывчатое, придется использовать другое определение.

То, о чем здесь пойдет речь, я бы, скорее, назвал «советским агностицизмом». Начинать следует издалека.

В позднесоветские времена, как многие помнят, считалось хорошим тоном быть умеренным и просвещенным полуатеистом или, скажем так, агностиком. Фанатичные, заядлые атеисты с их «Бога нет, потому что не может быть никогда», вызывали у большинства населения резкое неприятие. Был в этом какой-то навязчивый официоз, что ли. А религиозные люди чаще всего пользовались уважением пополам с сочувствием («да, они идейные, упертые, смелые, но зачем им это все нужно?»). Советский агностик исходил из следующего: Бога, конечно же, нет. Но «нет» только в определенном смысле – не существует так называемого «Бога религиозной мифологии» (говоря проще, «наши космонавты летали в космос и не видели там седого старичка с бородой, окруженного крылатыми ангелами» – самый популярный в советское время ответ на вопрос «докажите, что Бога нет»). Однако «что-то такое все-таки есть», и это «что-то» можно объяснять по-разному. Советский агностик, воспитанный на марксистских брошюрах, обычно делал такой вывод: существуют некие пределы, которые наука пока не перешла. Вот все, что оттуда, из этой области непознанного, приходит, и есть Бог, точнее, Его проявления. Бог – это термин для того, что мы не понимаем. Но настанет время, когда наука это объяснит, и границы непознанного сузятся. Следовательно, сузится и понятие Бога. Поскольку же процесс познания бесконечен (так учит Ленин), то бесконечно и непознанное, хотя оно становится все меньше по объему. Значит, бесконечен и так вот понимаемый Бог – просто он делается *все глубже и таинственнее, но при этом все уже и уже.* Диалектика! «Бог неисчерпаем, как атом». Ну, а на бытовом уровне все еще проще: «что-то такое есть, а что оно собой представляет – это не наше дело; наше дело жить с «ним» (и с собой) в мире».

Я готов держать пари, что весьма значительное число жителей РФ до сих пор в той или иной степени разделяет нехитрую доктрину агностицизма,

даже не задумываясь об этом. Неважно, что большинство ее приверженцев крещено в православии, а часть даже время от времени соблюдает его обряды – *советский агностицизм* остается их ведущей установкой. Не буду здесь спорить с ярыми защитниками православной доктрины насчет моральной составляющей такой «внецерковной формы исповедания». Мораль и все такое прочее прекрасно выводятся и из агностицизма.

И более того. Главным критерием правдоподобия у советских агностиков является близость к научному объяснению или, на худой конец, к любому рациональному, даже утилитарному истолкованию наблюдаемых фактов. Отсюда постоянное стремление к пониманию всего и вся через материальные, сексуальные, властные и тому подобные причины. Чем больше какая-либо религиозная доктрина похожа на науку, тем она ближе советскому агностику. Посему буддизм, чем-то неуловимо напоминающий доктрины современной физики, у самых «продвинутых» пользуется большой популярностью (уже само понятие «дхарм» очень импонирует советским агностикам с высшим техническим образованием). Аналогично воспринимаются и другие восточные религии. Ну, эта тема очень серьезная, и она заслуживает многочисленных исследований. Мое дело – только ее обозначить.

Теперь – внимание, тезис. Я утверждаю, что «советский агностицизм» и есть секуляризованная, прошедшая разнообразные идеологические тесты, непротиворечивая, исторически сложившаяся форма русского религиозного протестантизма. Это и есть та самая «народная религия», которая до 1917 г. находилась под спудом официального православия и за 74 года советской жизни приняла вот такие специфические духовные формы. Это может нравиться или не нравиться (мне лично, скорее, не нравится), но это так. Характерно тут, однако, следующее: «советский агностицизм» ни в каком смысле не является версией христианства, тем более – версией православия. Это все что угодно – «технологический буддизм», «научное язычество» и так далее – но только не христианство. И еще важно понять, что эта форма религиозной веры является массовой. Я думаю, ее неосознанных приверженцев в стране десятки миллионов, включая представителей как православия, так и ислама. Что касается католицизма и различных видов христианского протестантизма, то «советских агностиков» в их рядах, как правило, нет.

Важно, что «советский агностицизм», на мой взгляд, вполне соответствует требованиям, которые предъявляются к «личной вере» в постиндустриальную эпоху. Он ничуть не хуже (а, по-моему, в перспективе даже и лучше) западного протестантизма, если подходить к вопросу с точки зрения эффективности. Многие вопросы, которые в протестантизме вызывали мучительные процессы самопознания (вроде «демифологизации личной веры» – вспомним, к примеру, «Тюбингенскую школу» с ее устранением средневековых пережитков из религиозного сознания), в нашем агностицизме решены без труда, весело и одним махом. Посмотрите, над Бушем, мессиански настроенным протестантом-фундаменталистом, все

смеются. А «советский агностицизм», я вам скажу, значительно более респектабелен (наука!), над ним смеяться не будут. Более того – эта квази-религия отвечает на большинство вопросов бытия современного человека, причем отвечает просто и понятно. Она также создает стиль жизни, который вполне приемлем в смысле базовой трудовой этики (об этом хорошо написал в своей статье В. Милитарев). Есть, правда, одна трудность, которую «советские агностики» никак не могут преодолеть. Речь идет об отсутствии у них своих обрядов и организованной общины. Что касается обрядов, то тут каждый городит все, во что горазд, и получается нечто эклектическое, состоящее из освящения куличей в православной церкви, употребления по любому поводу святой воды (бывает, что и с чесноком), а также йогических практик, восточных медитаций, гаданий на картах Таро и много чего еще (удивительное дело, в ангелов эти люди не верят, а вот в инопланетян и НЛО – да за милую душу). С общиной еще хуже – «советские агностики» еще не дозрели до того, чтобы выработать институт «духовного пастырства». Они вообще не любят авторитеты, и, возможно, согласились бы на то, чтобы «пасторов» избирать. Но для этого нужна община, которой нет – ибо каждый из них «верует» в одиночку.

Проблема состоит именно в том, что пока никто особо не задумывался именно о религиозной составляющей «советского агностицизма». Прежде всего, сами его приверженцы. Они почему-то искренне считают себя крещенными в православии, и зачастую даже прямо – православными. И почему-то в этом совершенно не сомневаются.

После 1991 г. новые власти, которые, как известно, у нас ни в чем особо не разбираются, особенно в настроениях пасомых ими народов, решили поддержать православие, как самую массовую религию. Конечно, «поддержать» – это сильно сказано, просто РПЦ дали свободу и некий «карт-бланш» на духовное окормление общества. Что из этого вышло? Да известно что: огромное количество новых, но теперь уже полупустых храмов, да и только (а ведь на исходе советской истории храмы были прямо-таки набиты верующими!).

Ибо «советский агностицизм» никто не отменял, с ним никто и не боролся. Его просто не замечали, ибо он казался естественным. Вышедшая из полуподвала РПЦ начала активную деятельность, по мере сил. Тут-то «советские агностики» и поняли, что реальное, не «чисто обрядовое», православие их религиозным убеждениям во многом перпендикулярно (я однажды, к примеру, слушал жалобы одной дамы, которая всю жизнь была убеждена, что православие признает переселение душ, а как только выяснилось, что это не так, сразу «поменяла веру»). И начался *духовный поворот*... Часть «агностиков», наиболее честных, двинулась в другую сторону, заинтересовалась, как и следовало ожидать, так называемыми «интеллектуальными учениями Востока». Другая, меньшая часть, впала в откровенное слабоумное юродство вроде «русского язычества» или какого-нибудь, прости Господи, «сатанизма». Но наибольший процент

«агностиков» все же остался верен себе. Они не задумываются об основах личной веры, но чисто формально считают себя православными (отсюда, кстати, чудеса российской статистики, когда православными себя называют чуть ли не 80 % населения, а регулярно посещают храмы едва ли 10–15 %; этакое стихийное *православие без церкви)*.

Православие в том виде, какое есть, этих людей, однако, не устраивает. Причем не устраивает не какими-то своими отдельными консервативными чертами, а сразу и целиком. Приходя в храм, «советский агностик», всегда ищущий во всем рациональное зерно, моментально начинает критиковать все и вся. Слишком много вещей здесь не подчиняется привычной обывательской рациональности.

Обычный набор претензий известен очень хорошо: в церкви молятся на непонятном языке (что это еще за «отченаш», «тывженах», «при Понтийстем Пилате» и «да расточатся врази Его» такие? Не понимаем!); в церкви нужно стоять, и это утомляет; в церковь не пускают женщин без платка и в джинсах, не пускают мужчин в одних плавках и т. п.; служба (некоторые «советские агностики» теперь говорят изысканно, на западный манер: месса) слишком длинная; причастие негигиенично (ходит старая, еще раннесоветских времен байка, как в одной деревне таким образом всех заразили сифилисом); слишком много всякой ерунды, типа постов, утренних и вечерних молитв, разных там миропомазаний-соборований… Ну и так далее.

«Советский агностик» не видит во всем этом рациональной составляющей, и его врожденная «американская деловитость» просто вопиет к небесам. Он по натуре революционер-торопыга. Ему хочется внести изменения, сделать церковь понятной и доступной. Грубо говоря, «агностика» устроила бы, скорее, вот такая церковь: молитвы только по-русски, можно даже языком молодежного журнала (что-то вроде «а дай-ка мне, Господи, хорошенько протащиться и как следует прибалдеть»); их число свести до минимума; в храме поставить скамейки, а лучше мягкие кресла с подлокотниками; во время «мессы» пусть разносят завтрак, как в самолете; один постный день в месяц – вполне достаточно; одежда в храме может быть любой; во время причастия «ложку» нужно постоянно дезинфицировать; иконы следует написать в классическом стиле, а то на них ничего понять нельзя; во время службы должны разрешить танцевать и играть на музыкальных инструментах, например, на электрогитарах. Ну, и «попов» тоже хорошо бы выбирать общим собранием.

Странно, что при этом «советский агностик» почему-то не желает переходить в западные протестантские движения, которые все это уже давно позволяют. Нет, он уперся – «я от рождения православный и таковым умру. Только вот православие в его нынешнем виде мне не нравится! Устарело оно!»

Итак, мы столкнулись с интересной социальной ситуацией, подобной которой в истории, пожалуй, не было. Выглядит она примерно так: представители одной религии («советские агностики») явно намерены захватить развитую «инфраструктуру» совершенно другой (православия), сохранив, однако, этот бренд за собой. Картина просто фантастическая – представьте себе, к примеру, что католицизм остался таковым только по внешней форме (да и то частично), а внутренне переродился в кришнаизм или вудуизм. Вот нечто подобное и происходит сейчас на наших глазах с русским православием. Кто победит?

Это серьезный вопрос.

Пока что «советские агностики» отстаивают лишь изменение обрядов в сторону большего упрощения. Зачем? Ответ прост: тогда им будет легче осваивать «территорию» православия. В церкви пойдет значительно больше народа. Постепенно можно будет взяться и за учение, а там и за догматы («а че это вдруг за ерунда такая – «Бог един в трех лицах»? Это нерационально и явно устарело!»). В общем, перспективы для обновленческого богословия открываются широкие.

Теперь впадем в социальную фантастику и прикинем, во что могут вылиться все эти тенденции.

Вариант первый, практически невероятный. «Советские агностики» поймут, что их религия не имеет ничего общего с православием и постараются создать новое религиозное течение, какой-нибудь русский вариант «нью-эйджа». С храмами, обрядами и прочей мишурой. Между прочим, это явление будет иметь определенный успех на рынке идеологий, даже за рубежом. До конца проблема с номинальным православием решена не будет, но все же значительный кусок наиболее активных агностиков уйдет в сторону и сам себя чем-нибудь займет.

Вариант второй, достаточно маловероятный (на мой взгляд), назовем его «обвально-реформаторским». Православие принимает требования «агностиков» и проводит радикальные обрядовые реформы, но при этом не сопротивляется потоку «снизу». Результат: наполнение храмов, развитие общин, а затем, через 15–20 лет, полное перерождение религии, ее превращение в некий синкретический культ. От православия останется только название.

Вариант третий, самый вероятный – «ультраконсервативный». Православие вообще отказывается общаться с атакующими церковь «агностиками», не идет ни на какие уступки, все больше замыкается в своем привычном кругу (собственно, оно это уже и делает), городит все новые и новые «духовные катакомбы». Результат: православная церковь так и останется маргинальной, с 10–15 % прихожан от общего числа населения, а, возможно, и того меньше. Учитывая то, что в рамках «оранжевых революций» церковью, по-видимому, займутся тоже (интересующимся предлагаю внимательно следить за деятельностью Вселенского патриархата в Константинополе), я посоветовал бы «ультраконсерваторам» заранее подумать, в каких богоугодных пустынях и на каких столпах они будут доживать свой век.

Вариант четвертый, средне-вероятный. Мне хотелось бы, чтобы прошел именно он. Это «умеренные осторожные реформы». Они должны сопровождаться усилением присутствия церкви в информационном поле общества. Результатом должно стать постепенное расширение числа настоящих, а не формальных приверженцев православия (хотя бы до 30–40 %) и, главное, создание в стране *клерикальной и околоклерикальной общественной среды*, которая пользовалась бы определенным авторитетом.

Последняя задача, как мне кажется, является главной. Наша церковь в последние 12–15 лет с ней не справлялась. Более того, я убежден, что клерикальная среда в СССР была шире и сильнее, нежели в нынешней РФ. Во всяком случае, любая православная литература и периодические издания пользовались тогда значительно большим спросом. Священник обладал немалым авторитетом даже среди неверующих. К мнению православных иерархов прислушивались.

Ничего этого теперь нет. По самым разным причинам. Обычно вину пытаются возложить исключительно на церковь – мол, «обожравшиеся попы освящают «Мерседесы», поддерживают антинародный режим, не сочувствуют бедным, занимаются извращениями» и т. п. Отчасти оно, конечно, так – но вовсе не это главное.

Основная проблема в том, что сегодня спрос общества и предложение церкви категорически расходятся. Часть общества хотела бы видеть в РПЦ второе издание КПРФ, а то и НБП. Другая – чтобы «эти антинаучные чудики в рясах вообще исчезли». Третьей подавай дешевую мистику и чудеса… Ну и так далее.

Общество при этом в массе своей почти ничего не знает о реальном православии. Никакого религиозного образования в стране нет, и вовсе не церковь в этом виновата. Вокруг курса «Основы православной культуры» ломаются копья, причем противников «насаждения православия» тоже можно понять… Но, казалось бы, что плохого в создании *факультативных* школьных курсов для представителей любой религии? Опять же, несмотря на отсутствие в школах курса «Основы протестантизма», протестанты (да и католики) умудряются дать детям соответствующее образование. Конечно, здесь большую роль играет семья. А в нынешней русской семье господствует и воспроизводит себя «советский агностицизм».

Православие практически отсутствует в нашем информационном поле. Как? – спросит читатель – да у нас на каждом канале свой человек в рясе! А вот ТАК. Трансляция пасхальных богослужений и освящений военных кораблей – это просто «артефакты», «экзотика», «вести из параллельного мира». Но где православный телеканал, который был бы при этом по содержанию светским? Где новости «с православной точки зрения» (по-моему, нечто подобное было только на «Радио Свобода»)? Почему православные радиостанции вроде «Радонежа» носят исключительно маргинальный характер?

Где, наконец, приличная клерикальная пресса общероссийского характера? Ее просто нет. Скажем, в той же Польше прокатолический «Тыгодник

повшехны», при всей его *как бы* одиозности – вполне читаемая, уважаемая, достаточно массовая газета. Вы можете себе представить человека, читающего в метро какой-нибудь там «Православный вестник», чтобы узнать последние политические новости с соответствующими комментариями? Я – не могу. Сторонники нынешнего вектора развития православной прессы считают, видимо, что политика, культура, экономика – это суета сует, а церковные газеты должны писать исключительно о Вечном. То есть надо лезть еще глубже в катакомбы. Но будут ли массы уважать церковь, у которой нет никаких идей насчет современных общественных явлений, нет своих критериев вкуса, нет понимания той атмосферы, в которой существуют люди? Почему ответы клира на массовые вопросы часто смехотворны, а уж его советы пастве и прямо вредны: не смотрите телевизор (а то там «врага с рогами показывают»), не читайте «Гарри Поттера» (это же про колдовство!), не пользуйтесь видеокамерами (фото- и киносъемка убивают ангела-хранителя) и т. п.? Они предлагают православным замкнуться в каких-то гетто, полностью оторваться от мира. Они считают, что образование и постиндустриальный стиль жизни душевредны. Что это? Не ересь ли, собственно говоря? Не смешно ли, что на всю страну, где 80 % считают себя православными, из более-менее приемлемого массового православного чтива остались журнал «Фома» (да и многие ли о нем знают?) и сочинения диакона Кураева (которого обвиняют во всех возможных ересях)?

Итак, скажу еще раз: покуда РПЦ не займется целенаправленным формированием в стране клерикальной («околоцерковной») общественной среды, никаких перспектив у русского православия не будет. Оно так и останется маргинальной группой, даже «сектой», причем вымирающей год от года.

А ведь внутренний порыв «советских агностиков» к организационным формам общины мог бы быть использован православной церковью. Этим людям, отнюдь не злым и не плохим, следует объяснять, почему не нужно ломать храм, в который они так стремятся. Для этого требуется всего ничего. А именно:

1. Православный телеканал, который должен быть устроен по типу светских – новости, передачи о политике, культуре, экономике, фильмы (да-да, в том числе и кинокомедии!), как художественные, так и документальные. Ну, и посреди всего этого, конечно, просветительская миссионерская работа.

2. Как минимум одна – а лучше 2–3 – *всероссийских* православных газеты, причем одна обязательно ежедневная. Со всеми особенностями вышеописанного телеканала – новости, политика, культура, экономика, но с православной точки зрения.

3. Развитая сеть курсов «Основы православной культуры», причем на хорошем уровне. И, конечно, приходские библиотеки. И воскресные школы.

Конечно, для наших нынешних условий все это – весьма дорогие удовольствия. Даже с организационной точки зрения. В РФ сейчас, кажется,

намного проще раскрутить телеканал и газету для некрозоопедофилов, чем для православных. Но, допустим, и эти трудности удалось преодолеть. Возникнет проблема кадров. Конечно, будет немало людей, готовых работать на этот проект из чисто гуманитарных соображений (во всяком случае, лично я к этому давно готов). Однако «домотканое» всегда проигрывает «технологичному». А формирование клерикальной среды предусматривает появление в обществе и ниши, в которой могли бы существовать люди православного вероисповедания, оказавшись вне структур секулярного общества. Иными словами: православные университеты, пресса, политические партии, научные учреждения... Это вам не то, что при храме сторожем работать или свечками торговать. Увы, РПЦ не располагает теми средствами, которые есть, скажем, у Ватикана – а вот католикам в 60–70-е гг. в Польше удалось построить такую инфраструктуру.

Скажу и нечто уж совсем еретическое. Если мы говорим о реформировании, то, может быть, стоит подумать о создании чего-то, подобного «высокой» и «низкой» церквей, как в англиканстве? Чтобы наши «крещеные оглашенные» поначалу проходили школу «низкой», упрощенной церкви – и лишь потом, поняв, что не все в жизни решается одним ударом обывательского сознания, приходили к «высокой». Той, где богослужение совершается на церковнославянском языке под иконами византийского письма, и где сохраняются древние традиции...

А зачем все это нужно? – спросит читатель. Да, наверное, с точки зрения «советского агностика», и незачем. Пусть себе православие остается маргинальной религией мирских катакомб. Своеобразная «клерикальная среда» у нас уже есть, ее представляют «советские агностики», глубоко убежденные в том, что миром правят голод, грубая сила и любовь, а все остальное – блудные ереси суть. Вот она и пусть себе развивается... Этакий Карфаген двадцать первого века.

Ответ мой прост. Среди нас живет немало людей, которые считают, что мир не исчерпывается фрейдо-марксистскими постулатами и агностическими представлениями о «каком-то там» сбежавшем от науки Боге. Которым хотелось бы, чтоб тысячелетнее наследие православной (все-таки – православной!) России было востребовано и хоть частично оставалось понятным новым поколениям. Не может быть мира, комфортного односторонне, следует думать не только о большинстве. Православные сейчас – именно меньшинство, маргиналитет. Однако рядом с ними существует целое море людей, имеющих «спрос на религию», и с ними надо что-то делать. Может быть, эти люди, сотрудничая с церковью, а не разрушая ее, и помогут создать «новый каппадокийский культурный синтез», о котором пишет В. Милитарев?

Мне очень грустно наблюдать явную дегенерацию «низовой» церковной жизни в России последних лет этак 10–15. Я далеко не сторонник поголовного обращения русских в православие, но все же мне кажется, что «вера бывшей Империи» заслужила право на то, чтобы существовать в новом веке отнюдь не в виде смешного реликта, не в виде секты заскорузлых фундаменталистов и обскурантов. Может, кому-то это и нравится. Но неужели и общество, и представители церкви не хотят воспользоваться редко выпадающим историческим шансом – сделать православие настоящим общественным авторитетом? Не получится, ну так что ж... А вдруг получится? Как известно, «под лежачий камень вода не течет». Либо православных русских в конце концов будут показывать в этнографическом музее, либо им придется активно действовать. То есть работать с людьми. Но создается впечатление, что многие представители клира такой перспективы попросту *боятся*. Их этому не учили! Оно, конечно, намного проще запереться в своем гетто и не задаваться никакими трудными вопросами. Только тогда и отношение общества будет соответствующим...

Покуда православные катакомбы и духовное гетто еще не обрели законченных форм, хотелось бы призвать церковь сделать первый шаг. Хотя бы начать диалог с теми, кто хочет разумных, умеренных церковных реформ. А там посмотрим. В русском обществе найдется немало людей, готовых поддержать «осторожную модернизацию» православия.

Опубликовано под псевдонимом Вадим Нифонтов

КУЛЬТУРА

ЛЕКЦИЯ ОБ УЖАСЕ, ПРОЧИТАННАЯ САМОМУ СЕБЕ

Так называемые новые времена» в частности интересны еще вот чем: ужас так таковой признан чем-то, имеющим эстетическую ценность безотносительно к чему-либо иному. Какой-нибудь средневековый «танец смерти», изображения чумы, апокалипсических сцен и т. д. всегда имели, до крайней мере, формальную отсылку к неким моральным ценностям. Ужасные произведения издавались для «благочестивого читателя», однако, конечно, эта отсылка действительно часто была формальной. (Здесь вспоминается Бухарин, которого гимназический священник ругал за неправильное и несвоевременное чтение Апокалипсиса – см. «Словарь Гранат»). Не то теперь. XX век о его учением о потребностях сорвал покровы «благочестивости» с душ, трепещущих при виде кровавого месива и превратил ужас в профессию, призвание и индустрию. Собственно, я собираюсь начать именно с этой самой индустрии. Так называемые «фильмы ужасов» собирают, конечно, немалую аудиторию, но что же мы видим на экранах? Соответствует ли тот товар, который нам предлагают, своему назначению? В чем состоит ширпотребовский киноужас и в чем его отличие от ужаса как такового? Вот вопросы, которые мы должны решить*.

---

* С этим учением о потребностях, конечно, масса проблем, выходит, что и человека никакого нет, а есть одни сплошные потребности: есть, пить, спать, размножаться, отправлять естественные надобности и так далее. Причем каждая потребность дробима на другие, более мелкие, которые надо рассматривать сами по себе. Превратили человека в расползающийся сгусток из потребностей и называют это позитивной наукой! Главное, конечно – доказать право человека на любую потребность («разрешено все, кроме некоторых запрещенных вещей»). Ах, жалкий редукционистский либерализм!.. Конечно, человек существо слабое, соплей его можно перешибить. Но тут-то нам навязывается стереотип слишком уж слабого человека, чего-то вроде комнатной собачки, которую надо выводить гулять на поводке, а то в комнате будет специфический запах... Извините, конечно.

Итак, что же мы видим в фильмах ужасов? Существует совершенно стандартный набор приемов, который вводится в эти «ужасные картинки» и благодаря которым фильм, как правило, и относят к «ужасным». Вот они:

1. Смерть от каких-то неестественных, необыкновенных причин.
2. Рождение или возникновение необыкновенных, страшных, опасных и вообще «вредных для жизни и здоровья» существ.
3. Невероятные изменения человеческого тела и функций организма.
4. Попадание людей в необыкновенные, быть может, не смертельные, но странные и непривычные ситуации, из которых выход сразу найти невозможно.

Вот, по сути дела, четыре основных сюжетных функции ужаса. Композиция этих функций и составляет сюжет. Конечно, наши четыре приема дробимы на более мелкие, более конкретные, но речь здесь идет о другом. Диссертации об ужасах – дело эстетов и лингвистов. Я говорю немного о другом. С точки зрения этих приемов можно совершенно спокойно создавать разные композиции, удаляя некоторые из них, добавляя, меняя местами. Число фабул невелико (их всего 16, с математической точки зрения), подставление в них конкретных ситуаций сильно увеличивает их количество (почти до бесконечности). Но, тем не менее, такие произведения никогда не выйдут за рамки стандарта. Вот пример такого стандартного произведения:

Неожиданно возникает некое ужасное существо (например, прилетело из космоса), которое убивает людей, делая это, скажем, с целью размножения (каким образом – здесь уже есть определенный простор для фантазии). Человек, пораженный этим существом, умирает не сразу, а переживает ряд метаморфоз довольно отвратительного свойства. В конечном счете речь будет идти о людях, оставшихся нормальными посреди мира пораженных этими существами получудовищ-полулюдей.

Все остальное зависит от фантазии режиссера или сценариста и степени художественного воображения.

Смею утверждать, что под мои пункты подпадает значительное количество подобного рода произведений. Вспомним, к примеру, начало известного рассказа Кафки: «Проснувшись утром, Грегор Замза обнаружил, что у себя в постели он превратится в громадное насекомое...» И, пожалуй, «Превращение» еще можно считать образцом литературы ужаса, а не чего-либо иного. Дело в том, что в «индустрии ужасов» зачастую на место ужаса ставится нечто совершенно другое, и это другое именно и выдается за ужас. Грязь, кровь, разорванные внутренности, съеденные заживо, бессмысленные убийства, совершаемые с тупой методичностью каким-нибудь монстром – это называется ужасами. Мы можем быть лишь удивлены тем, как в обыденном сознании измельчало понятие ужаса. Что пугает обывателя? Когда ему показывают вещи, созерцать которые ему эстетически неприятно. Происходит подмена понятий – зритель называет ужасом отвращение. То, что он неспособен разобраться в своих

чувствах, это, конечно же, признак необыкновенного духовного и физического здоровья, в соответствии о канонами последних позитивистских достижений. Однако ужас – нечто иное, говорим мы, имея, конечно, самые минимальные, но все-таки права на то, чтобы судить о таких вещах. Прежде всего, авторам фильмов трудно представить, что смерть вообще-то может не пугать. Похоже, что типичный зритель «ужаса» фактом нависающей смерти сильно подавлен, если же это не так, то ужас превращается в хаотическую комедию. С другой стороны, отвращение, конечно, очень сильное и неприятное чувство, но, во-первых, не вся жизнь состоит исключительно из вдыхания ароматов роз, а если для кого-то это именно так, то ему можно лишь посочувствовать. Во-вторых, если бы все это и было бы ужасом, то человеком, преодолевшим ужас и спокойно живущим среди него был бы врач-хирург или медсестра, ведущая статистику смертных случаев. Считать, что отвращение тождественно ужасу, можно, лишь пребывая в полном неведении о жизни огромного количества людей и боясь в жизни только за судьбу одного человека, а именно себя самого. Это случается, хотя, как это ни удивительно для «неопозитивизма», не так уж часто. «Индустрия ужасов» рассчитана именно на такого человека, не очень распространенного. Может, так и должно быть.

Так или иначе, страх личной смерти – не самая ужасная вещь, которую можно себе представить. По здравом размышлении не только верующий, но и самый крайний атеист признает, что перспектива умереть не столь уж и пугающа, а кое-когда даже утешительна. Смерть неприятна, может быть, отвратительна, но не ужасна и зачастую даже не страшна («с ней не раз мы встречались в степи» – ведь это же не пустая бравада!). Страх – постоянное ощущение возможности лишиться чего-то важного и даже очень значительного, в частности, жизни. Всего лишь «в частности». Даже с точки зрения марксиста жизнь есть способ существования белковых тел (конечно, совершенно бессмысленная жизнь), но смерть лишь заставляет эти белковые тела утратить один из своих многочисленных атрибутов – жизнь в качестве целостного человеческого организма. Значительно более страшна (но все же не ужасна) смерть близких людей, однако вновь мы можем прийти к выводу о закономерности такого хода вещей. «На миру и смерть красна» – говорит пословица, то есть смерть не страшна именно потому, что умирают все. Вот если бы все жили вечно, а кому-нибудь одному было предназначено ни с того ни с сего умерять и стереться из памяти этих вечно живущих, причем сам он знал бы об этом, то жизнь его была бы наполнена самым настоящим, неподдельным ужасом. Но это был бы совершенно другой мир с совершенно другими законами. Будем смиренно верить, что таких миров не существует. Итак, смерть не ужасна и даже не страшна.

Что же тогда ужасно? Вспоминается пресловутый шекспировский сонет «Зову я смерть…», выдержанный в духе гедонистического буддизма и наглядно показывающий, что существуют вещи пострашнее и посильнее смерти. Назовем их: безысходность, отчаяние, отсутствие всяких надежд

и чувство полного несоответствия собственных понятий тому, что происходит в реальности. Похоже, это тема была важна для Шекспира. «Гамлет» выглядит как сценарий настоящего фильма ужасов, без разрывания печени и съедения тиграми.

Это ужас человека, однажды узнавшего нечто и решившего действовать в соответствии с собственным восприятием реальности:

> Век расшатался – и смешней всего,
> Что я рожден восстановить его…

Результат этих действий совершенно абсурден. Полностью абсурдна последняя сцена с этими почестями трупу. Пьеса достигает своей цели – в душе зрителя, сознание которого не замутнено плакатно-кафедральными лозунгами типа «Ах, Шекспир…», повисает облако темного метафизического ужаса, способного поколебать любую веру, даже самую твердокаменную. Основой ужаса остается реальное сомнение: а вдруг все совершенно не так, как мы привыкли видеть и понимать? Мы приоткрываем край сияющего полотна и видим нечто, поражающее нас настолько, что наши понятия переворачиваются. Жить с такими мыслями невозможно. Создается впечатление, что Шекспир написал сонет о смерти от имени зрителя, увидевшего «Гамлета».

Но при всем этом нечто удерживает человека на земле. Любовь, близкие, друзья – все это не так легко покинуть или отбросить. Самый простой выход – не смерть, как кажется многим, а старательное забывание открывшейся «реальности», превращение ее в нереальность или стремление привыкнуть к ней.

История, понятая как художественное творчество на основе доступных текстов, а не набор обработанных фактов, показывает нам целые эпохи, жившие в пространстве бесконечного холодного ужаса: «…на заднем плане лежит другой мир; повсюду в природе и среди людей он вершит свои дела, вынашивает зло, вгрызается, подтачивает, соблазняет – мир дьявола… Он пронизывает все творение; он повсюду в засаде. Повсюду рыщет воинство кобольдов, привидений, ведьм, оборотней, и притом в человеческом образе. Никто не знает, не подписал ли ею ближний договора с Лукавым. Никто не знает, не принадлежит ли дьяволу едва расцветшее дитя… Рядом с собором высились колеса и виселица, в те времена каждый жил в сознании неимоверной опасности, исходившей не от палача, но от ада...»

И еще:

«Черепа и кости были навалены в гробах, которые стояли вдоль окружавших место с трех сторон галерей и были открыты для обозрения тысячам людей, преподавая всем урок равенства… День за днем толпы людей гуляли по галереям, смотрели на фигуры и читали простые вирши, напоминавшие о приближавшемся конце. …это было место публичного времяпровождения и встреч (!). Перед гробами устроены магазинчики, по галереям прохаживаются проститутки, женщина-затворница замурована

в одну из церковных стен. Монахи приходят сюда проповедовать, здесь устраиваются процессии… здесь даже устраиваются пиры. До такой степени страшное стало привычным.»

Это отрывки из двух авторов XX века – Шпенглера и Хейзинги соответственно. Вот эта точка зрения человека нашего времени очень мне импонирует. Возможно, сухой медиевист будет оспаривать эти показания, но создается впечатление, что эта эпоха была временем безраздельной диктатуры ужаса. Средневековый европеец жил посреди ужасного, черпал его горстями – и почти не замечал, и за это такого человека можно уважать. Ужас превратился в обыденность. Ужас привычен, кругом царит не просто «суета и томление духа», но сверхбессмысленность существования, бесконечно опасная, безнадежная, бесцельная судьба. Вопроса «во имя чего?» даже возникнуть не может, казалось бы… И вот в эти самые времена Европа ведет философские диспуты! О чем?! Для чего?!

Да ведь это же признак духовного здоровья, в конце концов! Своеобразного здоровья, конечно, уже начинающего постепенно портиться, когда на горизонте уже встает торжествующее:

«Итак, хвала тебе, чума!»

Хватало не только этой символической и лирической чумы, была и чума настоящая. Хроники с завидным спокойствием сообщают о целых селах, которые встречают путника странной тишиной и белеющими костями – всех убила чума, и теперь она висит над вами, как некая ужасающая неизбежность. Здесь ужасна не смерть как таковая и не созерцание черепов, а чувство того, что ничего уже изменить.

Более конкретно, истинный ужас должен быть круто замешан на доказательстве двух положений, а именно:

Абсолютно все на свете бессмысленно и бесцельно.

Никакой надежды на изменение и спасение от бесцельности и бессмысленности нет и быть не может.

При этом ужас – не «кошмар». «Кошмар» – нечто страшное, но все же и условное, что может пройти, исчезнуть, испариться. Ужас врезается в душу навсегда: до излечения от него. Ужас реален и почти непреодолим.

Это главное. И поэтому все «ужасы» западного кино – в лучшем случае кошмары или просто некие условные «страшные сказки для взрослых», причем с хорошим концом (пусть и через 15 серий).

Неглубокий «позитивистский» разум вообще неспособен представить себе что-нибудь по-настоящему ужасное. Если из продажи исчезли синие галстуки в белую полосочку и теперь за ними надо ехать на другой конец Лондона – это «тэррибл». И далее в том же духе.

К счастью (или к сожалению?), некоторые образцы жанра киноужасов с этой точки зрения все же оставляют некоторую надежду. Тот же пресловутый «Кошмар на улице Вязов» наводит на странную мысль о реальности снов, которая может на несколько дней лишить способности засыпать (я лично знал одного такого «слабонервного»). И все же большинство

«ужасов» с идиотской методичностью предлагают нам отвратительное или чуть-чуть страшное вместо действительно ужасного. На экране оживает какой-нибудь покойник, бегает за нормальными людьми, вцепляется им в загривки, что-то противно при этом орет, производя впечатление окончательного дебила, устраивает разными средствами еще пять-шесть покойников и благополучно погибает от рук очередного супермена. («Они убивают моих покойников!», как говорил Гаврош). Короче, покойники – это не ужас, а сплошной идиотический смех. Что я, покойников не видел? Подумаешь, цаца какая – покойник!

Но хватит о покойниках. Кругом и так одни покойники. И вообще: как возникло само это слово – покойник? Тьфу! Все: больше ни слова о покойниках.

В общем, все это не ужас, а обычная дешевая жвачка для кретинов. Удивительно, что им еще не надоело ее жевать.

Поговорим о другом. О том, с чем невозможно бороться и что всегда оставляет некий привкус бессмысленности и безнадежности: о времени. Да, я прекрасно понимаю Иоанна Богослова, которому ангел клянется, «что времени уже не будет» (Откр.,10:6). Это течение мелких капель-секунд невозможно остановить, сколь не мечтай об остановившихся мгновениях. Вот это-то и ужасно! Для Фауста все кончается лемурами, которые звенят лопатами на кладбище, а время продолжает себе спокойно течь. Это – ужас. Это я могу понять. Если время последовательно рассматривать как нечто, намного превосходящее человека, то от чувства всепроникающего ужаса избавиться просто невозможно.

Прошу извинить за страсть к бесконечному цитированию всем известных произведений. Все же удержаться здесь почти невозможно; литература наполнена размышлениями о силе времени. Вот, например, Пушкин («Подражания Корану»):

Но голос: «О путник, ты долее спал;
Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал;
Уж пальма истлела, а кладезь холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей.

Эти «белеющие кости» вообще характерны для лирики Пушкина. Они превращаются в своеобразный символ, в основной закон жизни не сознающего своих целей и смысла человечества (каких-нибудь столь ныне популярных «язычников Древней Руси»):

Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер шевелит над ними ковыль…

Стихии (в том числе время) – так всегда было и будет – сильнее человека, и остается лишь одно: «принять эту тьму…» Это, по-моему, действительно ужасно.

Или вот еще одно произведение в том же духе. Начало XX века, декаданс, де Ренье:

Приляг на отмели. Обеими руками
Горсть русого песку, зажженного лучами,
Возьми и дай ему меж пальцев тихо течь.
А сам закрой глаза и долго слушай речь
Журчащих волн морских да ветра трепет пленный,
И ты почувствуешь, как тает постепенно
Песок в твоих руках. И вот они пусты.
Тогда, не раскрывая глаз, подумай, что и ты
Лишь горсть песка, что жизнь – порывы волн мятежных
Смешает, как пески на отмелях прибрежных.

Все это, конечно, не ужасы как таковые, не специально литература ужасов. Но на этой основе можно делать настоящие ужасы. Только такими средствами в действительности можно поколебать человеческую уверенность. Покажите им какой-нибудь мезозой, когда на Земле будто бы царствовали гигантские хвощи и плауны и не менее гигантские насекомые. Не надо никакого сюжета, не надо человека – главного героя. Пусть эти твари («существа») спокойно перемещаются по экрану, пусть хлюпает вода в вонючих болотах, пусть шевелятся от ветра ветви гигантских папоротников. Заставьте человека задуматься о времени! Прочитайте в энциклопедии статью о современных взглядах на строение Вселенной, погрузитесь в нее, прощупайте ее смысл, представьте себе, что это и есть истина в последней инстанции, и если вам после этого не захочется выть и биться головой в стену, то вы холодный и бесчувственный человек, и мне не о чем с вами разговаривать. Нападайте на человеческую уверенность в осмысленности бытия! Ах, ты уверен, что из А следует Б, а из Б – В? Ты заблуждался, милый друг! А – это просто химера, Б следует совсем из другого и чрезвычайно вредно для здоровья, В вообще нет. Есть одно великое и все поглощающее Г и его законы, и если ты их не желаешь понять, то и места тебе нет в нашем великом Г! Ибо человек есть не что иное, как собачье дерьмо. Или обезьянье. Вон отсюда, профан, и впредь не греши. Давайте встанем на четвереньки и поднимем к небу мохнатый вой, давайте отрастим клыки и будем друг друга резать, может быть, тогда-то все и образуется, наконец!? Нет, говорите вы, человечество этого не захочет? Тогда в силу тех же законов оно захочет другого – теплого и грязного вонючего стойла, все того же Г, где регулярно выдают порции комбикормов, и третьего пути нет.

Царствуй – или покоряйся,
С торжеством – иль с горем знайся,
Тяжким молотом взвивайся
Или наковальней стой!

При этом вокруг горят холодные мертвые звезды, а мир медленно ждет своего окончательного конца – то ли сжатия, то ли расширения, черт его разберет. «Суета сует, сказал Екклесиаст, все – суета!»

Здесь вспоминается другая история, история своеобразного преодоления ужаса. Того действительно ужасного ужаса, лежащего в основе бытия, который смог передать Феллини в фильме «Сатирикон» – ужаса великой языческой империи, возомнившей, что она преодолела время и попирает его мощною пятой, что она действительно соответствует природе вещей и вечна именно поэтому. Она могла себе позволить говорить о христианах устами Минуция Феликса: «...они прибавляют и другие бабьи сказки: говорят, что после смерти опять возродятся к жизни из пепла и праха, и с непонятной уверенностью принимают эту ложь; подумаешь, что они уже в самом деле воскресли. Двойное зло, двойное безумие! Небу и звездам, которые мы оставляем в таком же виде, в каком их нашли, они предвещают уничтожение, а себе, людям умершим, разложившимся, которые рождаются и умирают, они обещают вечное существование...»

С другой стороны, Талмуд обзывает их звездопоклонниками, потому что звезды для него точно так же холодны и мертвы.

Однако происходит нечто. Появились люди, заглянувшие за занавес бытия, – и ужаснувшиеся тому, какую черноту грязи скрывает блестящее полотно горизонта. Им ничего не оставалось делать: либо в петлю, в воду, либо к радикальному изменению сознания, к переоценке значений времени и смысла. Теперь легко понять, почему они называли римлян-язычников словом «паганис», то есть «штатские». Что видели эти малоподвижные сонные обыватели? Что они знали? Великая империя умирала, гнила и не замечала этого. Время оказалось сильнее. Бессмысленность оказалась сильнее. Но, к счастью, нашлись люди, понявшие, что пора спасаться и спасать других, что человек сильнее времени и бессмысленности. Так можно было спокойно идти в печи, на колеса, под топор – ни время, ни бессмысленность не пугали? Да и что «они» могут сделать с «моей бессмертной душой»?

Пожалуй, для нормального сознания, для интеллектуально здорового человека ужас, как переживание, вообще невозможен. Страх – да, боль – да, но не потрясение основ бытия, но не полное разочарование. Это, вероятно, не очень эстетично. Мировая скорбь, конечно, красивее действия и выбора, черные одежды блестят на солнце, а лохмотья строителя, испачканные землей, отвратительны. Зубастые ежи, конечно, интереснее абстрактных вопросов о времени. Однако деваться некуда – иногда просто необходимо понять, что такое настоящий ужас. В наше время абстракции слишком часто оказывались сильнее реальности. А мы продолжаем плыть по течению и не пробовать грести. «Суета сует, сказал Екклесиаст...»

Так и вышло по этим словам – даже имени его история не сохранила.

Вывод прост: подлинная жизнь и переживание ужаса несовместимы. Могут сказать – начал за упокой, а кончил за здравие. Ничего подобного: вот это-то и есть самый настоящий заупокой.

И к этому надо привыкать.

Опубликовано под псевдонимом Валентин Эскизов

ПОЭЗИЯ СОВЕТСКАЯ

Что такое советская поэзия, это каждый понимает по-своему. Но, думается, все согласятся с тем, что речь идет именно о поэзии, а не о рифмованных благоглупостях и лозунгах, выбитых сапогами из горла поэта. Именно о стихах, которые читались просто так вечерам после работы, быть может, со стаканом вина, в качестве отдыха, а не в виде комсомольского поручения. То есть имеется в виду поэзия самодостаточная, существующая для читателя, а не для партийно-идеологической отчетности. Поэтому трудно понять, почему идеологизированные до последнего стихи-лозунги Дм. Галковский называет поэзией. Это не поэзия. Поэзия как феномен существовала в СССР все семьдесят лет. Но советская поэзия, возникшая внутри империи и жившая собственной, ни на что не похожей жизнью, охватывает период примерно в тридцать лет: с конца 50-х до конца 80-х годов. И это крайне сложное явление, которое сравнимо только с «серебряным веком» русской поэзии.

Именно конец интернационалистски-хамского, а потом и имперски-хамского коммунизма, чуть-чуть открывший идеологические шлюзы, вызвал этот великий поток почти свободных стихов, в том смысле свободных, что они уже не обращались к идеологии и идолам, к великому лысому колоссу на глиняных ногах. Кто бы мог подумать, что русские поэты – не сугубо исторический термин. Наверное, дожившие до брежневской эпохи ученицы гимназий начала века заметили: что-то случилось. Собственно, ничего особенного: перестали бить по зубам. И произошло нечто невероятное – мало кто стал залечивать раны. Зато очень многие стали петь. И вот так-то возникла советская поэзия.

Как это ни смешно, эпиграфом ко всей советской поэзии следовало бы поставить две строфы незатейливой песенки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»:

Счастье вдруг в тишине
Постучалось в двери...
Неужель ты ко мне?
Верю и не верю...
Падал снег, плыл рассвет,
Осень моросила...
Столько зим, столько лет
Где тебя носило?
Ты пришло, ты сбылось,
И не жди ответа...
Без тебя как жилось
Мне на свете этом?
Тот, кто ждет, все снесет,
Как бы жизнь ни била,
Лишь бы все, это все
Не напрасно было...

В этом вся поэзия советская. С мечтой о счастье, с попыткой реабилитировать простые человеческие истины, с великими надеждами и осознанием того, что все давно обречено, что все приговорено к смерти с самого начала. Советская поэзия пела о жизни маленького человека, о природе, любви, безнадежности и смерти, выстраивая удивительный ряд созвучий, устремленный в ничто. И именно так следует на нее смотреть.

Поэтов, которых читали, перестали интересовать сабли и лампасы, пушки и крейсера. Они стали говорить о простых вещах, хотя и были попытки как-то восстановить револьверно-расстрельную практику и романтику. Но они явно не проходили. Поползновения «чистых ленинцев» страдали удивительной двусмысленностью. Приведу наиболее простой и понятный пример:

Но если вдруг когда-нибудь
Мне уберечься не удастся,
Какое б новое сраженье
Не покачнуло б шар земной,
Я все равно паду на той,
На той единственной гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной...

Б. Окуджава

Здесь все заманивает в ловушку второго смысла, особенно эти комиссары в пыльных шлемах, склонившиеся над человеком, похоже, одетым не в шлем, а в смятую белогвардейскую фуражку. Здесь как бы вылезает наружу подсознание человека, выросшего в этой странной стране, где смешались века, поколенья и языки. Поэтому, кстати, так интересны были фильмы вроде «Бега» или «Адъютанта его превосходительства», поэтому официальное радио по пролетарским праздникам на всю страну стало передавать белогвардейскую песню «Русское поле». Не думаю, что происходило это из большой любви к «белому делу». Но все же, видимо, вернулось какое-то понимание простых истин, и в «русском поле» видели родное и свое, что-то почти есенинское, как, впрочем, и в чисто одетых (в отличие от красных комиссаров) белогвардейцах «Адъютанта», и в красивой жестокой атаке каппелевцев в «Чапаеве». Надоело привычное и тупое, захотелось необычного, освященного традицией. Да и вообще, захотелось наконец просто жить, благо, была такая возможность. Не дерут семь шкур – и то хорошо. Сразу появился интерес к себе, к личности, как таковой. К ее путям и безнадежному прекрасному существованию:

О, может быть, на миг всего,
На самый краткий миг,
Из тьмы, где нету ничего,
Тончайший луч возник.
И на одном его конце
Зачлась звезда моя,
А на другом конце повис
Противовесом я.

И долго ль ждать?
Не долго б ждать…
Я все чего-то жду
И жаль мне нитку оборвать
И уронить звезду.

Александр Тимофеевский

И все это уже совершенно иное. И приоритеты иные: небывалая любовь ко всему малому и немощному в этом мире:

Ранние стихи великих –
Тех, кого мне век любить,
Вы, мне, чувствую, велите,
Строже быть. И жестче быть.
Нет, не жить глухим к порывам
Сердца. Жить своим, своим:
Быть несчастным, быть счастливым,
Молодым быть, молодым.
Но в досады, увлеченьях,
Поклоненьях и борьбе
Не забыть о назначенье,
Об итоге. О судьбе.

Георгий Кубатьян

И забыты уже далекие города, и лозунги типа «вперед, к неведомым европам!» Юлия Друнина задается странным, крайне некоммунистическим вопросом: а что было бы, если бы я узнала, что через полгода умру? И отвечает: да, собственно, ничего!

И лишь в одном наступит перемена!
Путевку заграничную продам
Да и пойду –
Пешочком непременно! –
По древнерусским милым городам…

До какой степени это натяжка, бравада? Неизвестно, все же есть здесь некая двойственность. Но, кажется, пока она писала эти стихи, она сама верила в такой исход, ибо такая смерть почетна – а не самоубийство в обществе «Черные крылья» и не урна в кремлевской стене. Погребение в земле Руси, как единственная награда, подобно странному исходу средневековой «Повести о Тимофее Владимирском».

И вообще – впервые всерьез ставятся запрещенные вопросы: о смысле жизни, о смерти. Или один из характернейших вопросов советской поэзии. предвосхищенный Николаем Заболоцким, стоящим вне советской поэзии. русским поэтом, который попал в красную империю случайно и всегда оставался для нее чужим:

А если это так, то, что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

«Некрасивая девочка»

Все эти бесконечные споры 60-х – от драк физиков и лириков до пионерских диспутов на непонятную старикам-комиссарам тему «Может ли мальчик дружить с девочкой» – велись вовсе не для того, чтобы что-то решить. Радовала сама возможность говорить. Спор был проявлением жизни, наслаждением жизнью, он-то и уверял, что все не напрасно. Все эти бесконечные КВН были допингом для измученных и лекарством для вновь пришедших.

Но самым лучшим все же было созерцание жизни как таковой. Правда, получалось из этого нечто весьма своеобразное:

Далекой осени черты
Еще почти неразличимы,
Зеленые мои сады
И живы и неизлечимы.
Они шумят, они щедры,
Они сильны и даровиты,
Однако правила игры
Природою от них сокрыты.
Догадка их не осенит,
Когда, качнувшись, сложно сонный,
Вдруг лист печально прозвенит
И тихо отлетит от кроны.
В безветрии его полет –
Сквозь зелень по диагонали
Всю радость разом зачеркнет,
Хотя запомнится едва ли…

Натан Злотников

Советский поэт, куда ни бросит взор, всюду видит лишь упадок и смерть. Есть у него какое-то предчувствие всеобщего конца. И он поет эту гибель, не оглядываясь на критику:

Долго Троя в положении осадном
Оставалась неприступною твердыней…
Но троянцы не поверили Кассандре –
Троя, может быть, стояла и поныне…

В. Высоцкий

Любой мало-мальски талантливый советский поэт хоть один раз был Кассандрой. Те, кто по врожденной чистоте и избранности, питали отвращение к советской поэзии, не смогли узнать в ней глубочайшую потрясающую эсхатологичность, ее предчувствие скорого конца всего привычного мира. И ей жалко этот мир, в котором она только и могла существовать.

Ей жалко человеческой жизни, прежде всего, потому что она видит, что это такое – не «поганая жизнь в этой стране», а человеческая жизнь как феномен, воспринимаемый вне связи с другими феноменами (а именно такой была жизнь среднего человека в те удивительные тридцать лет советской поэзии – без Бога, без веры и почти без надежды). Это пугало.

Человеческую жизнь (с деталями)
Можно в среднем рассказать за два часа,
Доверительно бросаясь тайнами,
Убедительно меняя голоса.
За сто двадцать (с чем-нибудь) минуток
Можно изложить, пересказать
Стройных, ломаных, прямых и гнутых,
Колыбель с могилой увязать.
Все-таки обидно. ели, пили,
Жили-были – все за два часа.
Царства покоряли, окна били,
Штурмовали небеса,
Горы двигали и жгли леса –
Все за два часа!

Борис Слуцкий

Грубо говоря, одна из главнейших тем советской поэзии – трагическая любовь к жизни, любовь именно потому, что жизнь обречена на смерть. Ни очарованность миром (китайским императором, который разводят цветы, глазами подмосковных электричек, фигурами из музея мадам Тюссо – как у Игоря Кобзева, очень популярного в 60-е гг.), ни бесконечные серенады не спасают от ждущего всех конца, бессмысленного донельзя, над которым и плакать-то грех – антинаучно! Но советской поэзии удается вздохнуть и в самых неожиданных обстоятельствах:

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все туда покуда не пошли...
Вот и все. А все-таки мне жаль их,
Рыжих, не увидевших земли.

Борис Слуцкий. «Глория»

Потому что это поэзия, всем сердце отзывавшаяся на любой человеческий вздох, и уже этим она оправдана. Даже в самых смехотворных случаях ей нельзя отказать в некоторой трогательности:

Вот паренек, герой истории моей,
Как бубен, сердце у него стучится.
Он к нам в Москву из-за семи морей
Приехал революции учиться.
Он здесь мечту увидел наяву,
Услышал звезд кремлевских перекличку,
А потому – влюбился он в Москву,

Потом влюбился в бойкую москвичку.
Но вот беда – партиец и марксист,
К несчастью, он влюбился просто в «фифу»
А что ей надо? Знает ли он твист,
Да сколько видел голливудских фильмов?
Он ждал – такая вытерпит нужду,
Пройдет сквозь тьму боев и конспираций.

Но нет – новая российская жизнь к боям и конспирациям не располагает. Революционаризм утерян навсегда. Правда, латиноамериканца тоже жалко. И автор сочувствует, хотя и несколько деланно:

За эту боль, за этот горький стыд
И я, и ты, и комсомол в ответе...

Игорь Кобзев

То вид отечества – лубок. Есть и более жесткие картины человеческой жизни, не оставляющие возможностей для вздохов. Смерть и бессмысленность царят в этом холодном мире. Стихи пишутся уже исключительно для демонстрации формы, но получаются удивительные и непредсказуемые результаты:

Человек ест чебурек.
Ножа вонзает лезвиеце.
Чебурек разрезывается
И чебурека нет.
Привет!
Человек кричит о помощи!
Карета скорой помощи,
Раз! В живот вонзают лезвиеце,
И человек разрезывается.
Два! И человека нет.
Привет!

Семен Кирсанов

Тот же автор, опираясь на превосходство собственной формы и стиля, рисует картину жизни типичного маленького человека, и между делом, полной ее бессмысленности:

Жил-был я
  (стоит ли об этом?)
Шторм бил в мол.
  (молод был и мил...)
В порт плыл флот.
  (с выигрышным билетом
  жил-был я...)
Помнится, что жил...
Зной, дождь, гром,
  (мокрые бульвары.)
Ночь. Свет глаз.
  (локон у плеча...)

Шли всю ночь.
(листья обрывали…)
«Мы», «ты», «я»
Нежно лепеча.
Знал соль слез
(пустоту постели…)
Ночь без сна.
(сердце без тепла)
Гас как газ
Город опустелый.
(взгляд без глаз,
окна без стекла.)
Где ж тот снег?
(как скользили лыжи!)
Где тот пляж?
(с золотым песком!)
Где тот лес?
(с шепотом – «поближе»)
Где тот дождь?
(«Вместе, босиком!»)
Встань. Сбрось сон.
(не смотри, не надо…)
Сон не жизнь.
(снилось и забыл.)
Сон как мох
В древних коллоннадах.
(Жил-был я…)
Вспомнилось, что жил.

«Стихи в скобках»

За скобки вынесен сам человек. Жизнь для советского поэта существует сама по себе, как явление природы, власть – точно так же, а человек никакого отношения ко всему этому не имеет. У него два состояния – безразличие или молчаливая неприязнь:

Где-то кони пляшут в такт
Весело и плавно…
Вдоль дороги все не так,
А в конце подавно,
И ни церковь, ни кабак,
Ничего не свято,
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята…

В. Высоцкий

Дорога, движение, перемещение в пространстве – характернейшая тема советской поэзии (и прозы, и кинематографа). Еще Чаадаев писал о вечном беспокойном движении Руси, но, конечно, дух николаевской России был несравним с духом России Хрущева и Брежнева. Именно «застойность» вызывала впечатление движения, невидимого, неощутимого,

но ужасного, совершенно не зависящего от человеческих усилий и желаний. Это образ поезда, несущегося неизвестно куда, хотя прекрасно известен плачевный конец пути;

Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает… Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил, понес меня, как леший!
Вместе с ним и я в просторе мглистом
Уж не смею мыслить о покое –
Мчусь куда-то с лязганьем и свистом,
Мчусь куда-то с грохотом и воем,
Мчусь куда-то с полным напряженьем…
Я, как есть, загадка мирозданья.
Перед самым, может быть, крушеньем
Я кричу кому-то: "До свиданья!"
Но довольно! Быстрое движенье
Все смелее в мире год от году,
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу!

Николай Рубцов

Именно нелогичность окончания – какая связь между количеством народа и неотвратимою катастрофой? – здесь поразительна. Это стихи, показывающие, что в страшном и пустом советском мире человек сохранил простую веру, и только она его спасает. Катастрофы не будет именно потому, что слишком много людей должно во время нее погибнуть – это нечто в духе книги пророка Ионы. Совершенно другому богу посвящает стихи Высоцкий, упрашивающий коней лететь помедленнее, задержаться у пропасти. Но пропасть впереди, в этом он глубоко убежден, сколько бы не продлилась пауза:

Мы успели – в гости к Богу не бывает опозданий.
Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами?
Или это колокольчик весь зашелся от рыданий?
Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?

Причем с самого начала молитвы молящемуся ясно, что она не поможет. И конец все равно один – пропасть и тьма. А поезд несется все быстрее, и уже непонятно, жизнь ли это летит за окном, или просто очередная разновидность небытия:

Если у вас нету тети,
То вам ее не потерять,
А если вы не живете,
То вам и не умирать…

По сути дела, здесь высказан эстетический идеал части пассажиров. Ведь кто едет в этом поезде? Точнее, кто понимает, что едет, ибо едут все?

Так называемые «культурные слои». Именно их и пугает перспектива потери призрачного мира советской интеллигенции, они не желают вылететь из грязно размалеванных декораций брежневской совдепии. Хочется уснуть и жить иллюзиями, чего бы это ни стоило, ну а поезд – пусть его летит;

Тот ямщик-чудодей
Бросил плеть – и куда ему деться,
Помянул о Христе, ошалев от заснеженных верст.
Он, хлеща лошадей,
Мог бы этим немного согреться,
Только он в доброте их не сек,
И не гнал,
И замерз...
Отраженье свое увидал в полынье,
И взяла меня оторопь – впору б
Оборвать житие,
Я – по грудь во вранье,
Выпить штоф напоследок – и в прорубь.
Хоть душа пропита,
Ей там, голой, не выдержать стужу,
Все равно лучше в прорубь, но сам,
А не руки сложа.
Пар валит изо рта,
Эх, душа моя рвется наружу,
Выйдет вся – схороните,
Зарежусь – снимите с ножа...
Снег кружит над землей,
Над страною моей,
Мягко стелет, в запой зазывает...
Ах, ямщик удалой,
Пьет и гонит коней!
А не пьяный ямщик замерзает...

В. Высоцкий

Самоубийство в советском мире – героический поступок. Это наиболее доступная форма эстетического неприятия действительности. Бог советской поэзии не избавляет и не спасает. Он молчит. И эту безвыходность советская поэзия переживает очень глубоко. Человеку сразу преподносится истина, что он этому миру не нужен, что он пришел слишком рано или слишком поздно:

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
в нашивках,
в нашивках,
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В снежном дыму.
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
ошибка,
ошибка,
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы – ни к чему...

А. Галич

Естественно, человека охватывает полнейшая апатия, и кажется, что ни выхода, ни надежды у него нет, только смерть, только путешествие в ту самую страну, откуда ни один не возвращался:

Не ноют раны, да и шрамы не болят,
На них наложены стерильные бинты,
И не волнуют, не свербят, не теребят
Ни мысли, ни вопросы, ни мечты.
Устал бороться с притяжением земли,
Лежу – так больше расстоянье до петли,
И сердце дергается, словно не во мне.
Пора туда, где только «ни» и только «не»...

В. Высоцкий

Либо, если все не так страшно и серьезно, необходимо выработать буддийское отношение к жизни, как покрывалу майи, и не заглядывать за него:

Не висят на ветке яблони,
Яблок нет и веток нет,
Нет ни Азии, ни Африки,
Ни молекул, ни планет,
Нет ни солнышка, ни облака,
Ни снежинок, ни травы,
Ни холодного, ни теплого,
Ни измены, ни любви,
Ни прямого, ни треуглого,
Ни дыханья, ни лица,
Ни квадратного, ни круглого,
Ни начала, ни конца...

С. Кирсанов. «Никударики»

При всем при том мир, которого как бы не существует, часто вызывает самые нехорошие чувства у творцов советской поэзии. Тот же С. Кирсанов ни с того ни с сего заканчивает самое что ни на есть идеологическое стихотворение «Старые фотографии» (про Ленина и партию) загадочным полумистическим замечанием по поводу этих самых фотографий:

Они глядят со стен
И подтверждают сами,
Что тот, кто был ничем,
Стал всем и всеми нами!

Примерно то же самое говорит Белла Ахмадулина, призывающая «увидеть друг в друге черты вырожденья» во время субботника. И «выбиться из этой коры» совершенно невозможно. Правда, какие-то попытки все же делаются, но в духе известных рецептов советской поэзии:

Всплывем на рассеете. Приказ есть приказ.
Но гибнуть во цвете уж лучше при свете.
Наш путь не отмечен, нам нечем,
Нам нечем,
Но помните нас!

В. Высоцкий

Но в этом бессмысленном бесчеловечном движении все же хочется обрести какое-то счастье или хотя бы его иллюзию. Но, поскольку влечение обстоятельствами вошло для советского гражданине в привычку, он сам эту иллюзию обрести не может, ему надо ее от кого-то получить:

Я коней заморил, от волков ускакал,
Укажите мне край, где светло от лампад!
Укажите мне место, какое искал,
Где поют, а не стонут, где пол не покат!

В. Высоцкий

И если кому-то удается вырваться за флажки, то лишь по счастливой случайности. А общее решение вопроса о жизни таково – выхода из смертельного снежного тупика нет и быть не может. Но умирать сразу тоже не хочется. Советский поэт предпочитает помучиться, как Сухов из «Белого солнца пустыни». В глубине его души лежит великая любовь к жизни, но он ее стремится всячески подавить. Потому что он понимает, что брать от жизни все – это уже не поэзия. И даже не проза. Он остается при своих комплексах в своем иллюзорном мире:

Что ж теперь? Ходим вокруг да около,
На своем поле как подпольщики,
Если нам не отлили колокол,
Значит, здесь время колокольчиков!

А. Башлачев. «Время колокольчиков»

От бесконечных пространств и окружающей среды ждать, видимо, особенно ничего. Остается стоять и предаваться мечтам:

Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною,
Перед солоно да горько кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною.
Грязью чавкая жирною да ржавою,
Вязнут лошади под стремена,
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна...

В. Высоцкий

Снова «лошади влекут», а мир летит как бы за окном, здесь мы видим вообще полный набор всех эстетических предпочтений советской поэзии; и «воздух крут перед грозой», и стертая душа маленького человека, и русская станина с колоколами. Новее это уходит, исчезает безвозвратно в великой холодной пустоте:

Все слабее звуки прошлых клавесинов, голоса былые,
Только топот мерный, флейты голос нервный да надежды злые,
Все слабее запах очага и дыма, молока и хлеба,
Где-то под ногами да над головами лишь земля и небо...

Б. Окуджава. «Батальное полотно»

Советская поэзия ни в какое избавление не верит. С христианской точки зрения она слишком рационалистична и попахивает атеизмом. Поэты только и делают, что отрубают себе пути к отступлению, вот, например, какова точка зрения того же Высоцкого на перспективу национального возрождения, когда он поет об алкоголике-интеллигенте, открывшем бутылку, из которой вылетел не джинн, а «русский дух»:

Тут я понял – это джинн,
Он ведь может многое,
Он же может мне сказать: враз озолочу!
Ваше предложение, говорю, убогое,
Морды будем после бить – я вина хочу!
Ну а после – чудеса мне по такому случаю,
Я до небес дворец хочу, ты на то и бес!
Он мне: мы таким делам вовсе не обучены,
И кроме мордобития – никаких чудес!
Врешь! — кричу. Шалишь! – кричу,
Ну и дух в амбицию,
Стукнул раз – специалист, видно по нему.
Я конечно, побежал, позвонил в милицию,
«Убивают – говорю – прямо на дому!»
Вот они подъехали, показали аспиду,
Супротив милиции он ничего не смог!
Вывели болезного, руки ему за спину
И с размаху кинули в черный воронок!
Что о ним стало? Может быть,
Он в тюряге мается...
Чем в бутылке, лучше уж в Бутырке посидеть.
Ну, а может он теперь боксом занимается...
Если будет выступать – я пойду смотреть!

А ведь это, между прочим, советский вариант давней веховской апологии штыкам, ограждающим от народа. И, к месту, следует сказать об одной характерной черте советской поэзии: она всегда может быть политически истолкована. Это одно из основных ее подспудных настроений – быть трибуной борьбы и пропаганды, тонко намекать на толстые обстоятельства. Вот, к примеру, Арсения Тарковского обсчитали на полтинник в магазине, и он начинает рассуждать о том, как вообще плохо живется в этом мире честному человеку. А читатель сидит и думает: «Ах, как это он их хорошо приложил!» Советская поэзия не принимает профанированной реальности государства Брежнева, которое не было холодным, ни горячим. Отрицание этой реальности – проблема поэтического вкуса. При этом поэт должен уметь держаться в цензурных рамках. Именно такая ситуация и породила все эти советские поэтические темы: маленький человек, бесконечное движение и неотвратимость конца. Могут сказать, что это крайне примитивное явление, что нет ничего хуже политизированной поэзии. Это так. Однако советская поэзия оказалась значительно выше своего политического предназначения. Она гениально выразила

человеческий опыт, определенную экстремальную ситуацию – жизнь в рушащеюся доме после взрыва, среди падающих балок и обваливающейся штукатурки. И в этом контексте понятна популярность Владимира Высоцкого – ведь кроме того, что он был гениальным поэтом 70-х, ему удалось сконцентрировать все основные темы советской поэзии и усилить их, да так, что услышали и камни.

Неудивительно, что сразу после его смерти началась агония советской поэзии. Ей уже ничего не дано было свершить. Сама смерть ее основного представителя вызвала к жизни известный апокриф «Гафт – Высоцкому», который ни на шаг не выходит из рамок советской тематики:

Он пел о том, о чем молчали мы,
Себя сжигая, пел,
Свою больную совесть в мир обрушив,
По лезвию ножа ходил, ревел, кричал, хрипел,
И резал в кровь свои и наши души.
И этих ран не залечить и не перевязать.
Вдруг замолчал – и холодом подуло.
Хоть умер от инфаркта он, но можем мы сказать:
За нас за всех он лег виском на дуло.

Здесь та же тема самоубийства, как подвига, ангажированной поэзии как великой. И совершенно верное ощущение происходящих перемен. Государство из неопределенного состояния становилось все более холодным. Произошел какой-то сбой. Кони сорвались с обрыва и понеслись в пропасть, но привыкшие к движению пассажиры так ничего и не заметили. Те же, кто заметил, не были услышаны, а ведь уже в середине 80-х наступила новая эпоха, эпоха подведения печальных итогов. Мало кто ощутил, что новая катастрофа произошла, что привычный мир взорвался и погибает, но такие люди были:

Лишь печаль-тоска облаками
Над седой лесною страною,
Города цветут синяками,
Да деревни – сыпью чумною…
Вот тебе медовая брага,
Ягода, злодейка-отрава,
Вот тебе, приятель, и Прага,
Вот тебе, дружок, и Варшава.
Вот и посмеемся простуженно,
А над чем смеемся – неважно.
Если по утрам очень скучно,
То по вечерам очень страшно.
Всемером ютимся на стуле,
Миром всем на нары-полати,
Спи, дитя мое, люли-люли,
Некому березу заломати…

А. Башлачев

Все самые иронические предчувствия советской поэзии сбылись. Кто бы мог подумать, что именно в 1980-м Д. Пригов написал *такие строки:*

Нам всем грозит свобода,
Свобода без конца,
Без выхода, без входа,
Без матери-отца,
Посередине Руси,
За весь прошедший век.
И я ее страшуся,
Как честный человек…

В 80-е гг. стало ясно, что советская поэзия *пережила себя.* Пришел косноязычный андерграунд с потрясающей, провинциально-местечковой мелкотой тем. Те, кто остался верен более или менее классическому стилю, сделали самые печальные выводы:

Если верить позднему Виттенштейну,
Мир человека есть мир языка.
Будь он непорочная дева или стакан портвейна,
Звездное небо или плавающий музыкант,
Сухой музыкант или музыкант мокрый –
Мир есть то, что о нем говорят.
Вводятся термины: «языковые игры»,
«Наука», «религия», «диамат»…

С. Соловьев

Но к завораживающим ритмам никто уже не прислушивался. И сам автор прекрасно понимает это, пророчествуя о предстоящей эре молчания.

И хочется опросить – что же первично, поэзия или очередная революция? Поэзия ли накликала скорый конец привычного мира или она его лишь чувствовала? Ведь несомненно, *что она что-то знала.*

Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари…

А. Галич

Ведь эти слова Галич писал не просто так. Это своею рода пророчество. Но ответить на наш вопрос все-таки невозможно. Советской поэзии больше нет. Она погибла вместе с тем миром, который так любила и в котором только и могла существовать. Выражаясь красиво, и государство, и поэзия были уничтожены русским языком, который, вообще говоря, значительно шире русского мышления (английский язык, например, сильно уже английского мышления, и именно поэтому нам не всегда понятны проблемы так называемой лингвистической философии). Никто не может предсказать будет ли реальное содержание у самых немыслимых сочетаний русских слов, не настанет ли день, когда мы увидим живую глокую куздру. А вот советские поэты были последним крупным слоем, который мог соответствовать широте языки. Советский поэт – как правило очень широко

мыслящий и глубоко чувствующий человек, даже если он окончательная сволочь. После гибели этого слоя остаются лишь звезды-одиночки, которые будут постепенно гаснуть, и будущее нашей поэзии погружается во тьму.

И все же советская поэзия была одним из величайших явлений культуры XX века. Главная ее загадка – в опровержении всех так называемых научных принципов организации общества. Мало кому может теперь в голову прийти, что человек способен петь, погружаясь в пучину. А тут пели десятки, даже сотни людей. Это было поразительное явление, необъяснимое с точки зрения так называемого здравого смысла. Оно исчезло, но исчезло трагически, как Атлантида в волнах океана. На оставшихся островах вряд ли можно долго прожить. Но стихи серебряного тридцатилетия навсегда останутся с нами, с теми, кто еще не разучился читать. И впечатления от них будут сравнимы только со встречей журавлей в стихотворении Николая Рубцова:

Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота,
Выходите скорей, чтоб взглянуть на любимцев своих!
Вот замолкли – и вновь сиротеет душа и природа
Оттого, что – молчи! – так никто уж не выразит их...

Опубликовано под псевдонимом Валентин Эскизов

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГАЛИЧЕ

Когда я был студентом, а за окном царила всякая перестроечная лабуда, у нас на факультете по курсу «Марксистско-ленинская эстетика» тетка, которая все это дело преподавала, устроила семинар в виде диспута на тему, кажется, «Нужен ли нам Высоцкий?». В то время как раз из Высоцкого начали делать икону и «борца с режимом». В общем, все шло по-накатанному: вставали мальчики и девочки, говорили, что Высоцкий «пел правду», «критиковал недостатки» и т. п. Вдруг, по ассоциации, речь зашла о еще полузапрещенном тогда Галиче, которого знали далеко не все (Высоцкого-то хоть раз слышал каждый). Естественно, мой курс проявил «политическую зрелость» – и Галича обзывали антисоветчиком, антикоммунистом, которого скоро забудут, а вот Высоцкий останется в русской поэзии навсегда.

Самое смешное, что мне и тогда Галич очень нравился, я предпочитал его Высоцкому, но почему-то был убежден, что наши диспутанты правы. Мол, Галич просто «хаял советскую власть», а вот когда она изменится и реформируется (демократизируется), его песни утратят актуальность. И вроде бы все к этому шло. Можно сказать, что в бурной борьбе за выживание 90-х гг. я про Галича как-то забыл.

Но вот, через несколько лет, оказавшись на работе в Вильне, я приучился делать по утрам зарядку, включая себе всякие кассеты, чтобы было не так нудно махать гантелями. Сначала я слушал лекции Дугина, потом всякую классико-музыкальную чушь, а потом как-то решил поставить сборник Галича и вдруг услышал стихи, которые оказались очень актуальными (мы с женой тогда только что приехали из Варшавы, где провели отпуск):

Землю отмыли дочиста,
Нет ни холмов, ни кочек,
Гранитные обелиски кричат о бессмертной славе,
Но ваши дела забыты, поймите это, пан Корчак,
И не возвращайтесь в Варшаву,
Вы будете чужеземцем в вашей родной Варшаве!

Паясничают гомункулюсы,
Геройские рожи корчат,
Рвется к бесчестной власти орава нечистой швали,
Не возвращайтесь в Варшаву, я очень прошу вас, Корчак,
Вам будет страшно в ЭТОЙ Варшаве!

Именно такие чувства наблюдались после отпуска и у меня. Я сравнивал две Варшавы – разбитной, пыльный, по-провинциальному грязный город времен «круглого стола» (переговоров Ярузельского с оппозицией) 1989 г. и Варшаву мая 1998 г., где все было чисто, вымыто и ломилось от изобилия – и понимал, что за десять лет поляки, как ни странно, реально что-то утратили. В 1989 г. здесь было веселее и уютнее, и хотя жили тогда бедно, в воздухе присутствовал какой-то шарм. Теперь город внешне прямо-таки расцвел, но на его улицах было разлито какое-то чувство непонятного беспокойства, какой-то подавленной внутренней тоски. Галич оказался пророком: поляки ставили всякие памятники, отмывали и чистили фасады, а политическая жизнь действительно напоминала показательные выступления гомункулюсов (то, что тогда Галич имел в виду конкретного Владислава Гомулку, «товарища Веслава», не играло никакой роли). И это странное «пророчество» меня сильно удивило.

Тогда-то я и задумался о Галиче и его поэзии. Я послушал все, что у меня было, прочитал сборник и вдруг до меня дошло – Александр Аркадьевич был не «бардом», а действительно хорошим поэтом. Он изо всех сил пытался писать не о «конкретной ситуации» и «плохой советской власти», а как бы о «вечных русских темах», о вечных настроениях. Не всегда это ему удавалось. Он был вынужден отдать дань своему еврейству, иногда срывался на русофобские нотки, но в целом оказалось, что это серьезный поэт, который куда лучше каких-нибудь Евтушенко с Вознесенским. Он очень многое смог уловить в русской жизни такого, что, вероятно, будет всегда.

Тогда я придумал для себя игру: читать стихи Галича так, как будто они написаны в наше время. И оказалось, что таких «актуальных» стихов

у него полным-полно. Более того, за подобные вирши наши либеральные жандармы неминуемо записали бы его в «консерваторы», «фашисты» и «враги прогресса». Поэтому здесь я просто с минимальными комментариями приведу несколько его произведений, которые мне кажется удачными.

Вот стихотворение, можно сказать, о нашем времени. Галич писал об эмиграции, но нигде этого прямо не говорит, а тема взята очень мощная – состояние человека в эпоху «перемен» («Старая песня»):

Бились стрелки часов на слепой стене,
Рвался к сумеркам белый свет
Но, как в старой песне,
Спина к спине
Мы стояли – и ваших нет!
Мы доподлинно знали –
В какие дни
Нам – напасти, а им – почет.
Ибо, мы – были мы,
А они – они,
А другие – так те не в счет!

И когда нам на головы шквал атак
(То с похмелья, а то спьяна),
Мы опять-таки знали:
За что и как,
И прикрыта была спина.
Ну, а здесь,
Среди пламенной этой тьмы,
Где и тени живут в тени,
Мы порою теряемся:
Где же Мы?
И с какой стороны Они?

И кому подслащенной пилюли срам,
А кому – поминальный звон?
И стоим мы,
Открытые всем ветрам
С четырех, так сказать, сторон!

Вы скажете, что это неактуально? Я с вами не соглашусь.

Другое стихотворение сейчас вообще могло бы быть опубликовано разве что в «Завтра», к очередной годовщине расстрела «Белого дома». Если предположить, что Галич написал это, скажем, в 1999 г., то окажется, что тут проведена замечательная, «неполиткорректная» аналогия. Для особо разучившихся читать некоторые места выделяю курсивом:

ПАМЯТИ ЖИВАГО

«...Два вола, впряженные в арбу, медленно поднимались на крутой холм. Несколько грузин сопровождали арбу. „Откуда вы?" – спросил я их. – „Из Тегерана". – „Что везете?" – „Грибоеда"».

А. Пушкин. «Путешествие в Эрзерум»

Опять над Москвою пожары,
И грязная наледь в крови.
И это уже не татары,
Похуже Мамая – свои!
В предчувствии гибели низкой
Октябрь разыгрался с утра.
Цепочкой, по Малой Никитской
Прорваться хотят юнкера.

Не надо, оставьте, отставить!
Мы загодя знаем итог!
А снегу придется растаять
И с кровью уплыть в водосток.

Но катится снова и снова
– Ура! – сквозь глухую пальбу.
И челка московского сноба
Под выстрелы пляшет на лбу!

Из окон, ворот, подворотен
Глядит, притаясь, дребедень.
А суть мы потом навороти́м
И тень наведем на плетень!

И станет далекое близким,
И кровь притворится водой,
Когда по Ямским и Грузинским
Покой обернется бедой!

И станет преступное дерзким,
И будет обидно, хоть плачь,
Когда протрусит Камергерским
В испарине страха лихач!

Свернет на Тверскую, к Страстному,
Трясясь, матерясь и дрожа,
И это положат в основу
Рассказа о днях мятежа.

А ты до беспамятства рада,
У Иверской купишь цветы,
Сидельцев Охотного ряда
Поздравишь с победою ты.

Ты скажешь – пахнуло озоном,
Трудящимся дали права!
И город малиновым звоном
Ответит на эти слова.

О, Боже мой, Боже мой, Боже!
Кто выдумал эту игру!
И снова погода, похоже,
Испортиться хочет к утру.
Предвестьем Всевышнего гнева,
Посыплется с неба крупа,
У церкви Бориса и Глеба
Сойдется в молчаньи толпа.

И тут ты заплачешь. И даже
Пригнешься от боли тупой
А кто-то, нахальный и ражий,
Взмахнет картузом над толпой!
Нахальный, воинственый, ражий
Пойдет баламутить народ!..
Повозки с кровавой поклажей
Скрипят у Никитских ворот…

Так вот она, ваша победа!
«Заря долгожданного дня!»
«Кого там везут?» –
«Грибоеда».
Кого отпевают? –
Меня!

Процитирую целиком еще одно неожиданное сочинение, которое, на мой взгляд, вполне верно характеризует нынешнее состояние нашей литературы и культуры вообще. По-моему, очень живо:

ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ

В майский вечер, пронзительно дымный,
Всех побегов герой, всех погонь,
Как он мчал, бесноватый и дивный,
С золотыми копытами конь.

И металась могучая грива,
На ветру языками огня
И звенела цыганская гривна,
Заплетенная в гриву коня.

Воплощенье веселого гнева,
Не крещенный позорным кнутом,
Как он мчал — все налево, налево…
И скрывался из виду потом.

Он, бывало, нам снился ночами,
Как живой – от копыт до седла.
Впрочем, все это было в начале,
А начало прекрасно всегда.

Но приходит с годами прозренье,
И томит наши души оно,
Словно горькое, трезвое зелье
Подливает в хмельное вино.

Постарели мы и полысели,
И погашен волшебный огонь.
Лишь кружит на своей карусели
Сам себе опостылевший конь!

Ни печали не зная, ни гнева,
По-собачьи виляя хвостом,
Он кружит все налево, налево,
И направо, направо потом.

И унылый сморчок-бедолага,
Медяками в кармане звеня,
Карусельщик – майор из ГУЛАГа,
Знай, гоняет по кругу коня!

В круглый мир, намалеванный кругло,
Круглый вход охраняет конвой…
И топочет дурацкая кукла,
И кружит деревянная кукла,
Притворяясь живой.

Я долго думал, почему мне все это нравится. И смог прийти только к такому выводу: Галич не был «советским поэтом». Мне уже не раз приходилось говорить о том, как я вижу историю русской литературы в только что прошедшем веке. Повторюсь: было две совершенно противоположные тенденции – русская национал-имперская поэзия и «поэзия советская», о которой я как-то в 1992 г. прочитал лекцию немногочисленным слушателям.

1900-е гг. и весь «серебряный век» прошли под знаком национал-имперской поэзии. Это были вирши великих предчувствий. Весь «серебряный набор» – Гумилев, Ахматова, Мандельштам (ставший, кстати, популярным лишь после 1917 г.) и т. д. и т. п., в сущности, были поэтами грядущего супергосударства, «Блистающей Империи» («национальной

альтернативы»), которой должна была стать Россия. Это были потенциальные певцы колониальной экспансии, национального превосходства, мировой гегемонии. «Фашисты», одним словом. Но случилась мировая война, рухнуло государство Романовых, и все стало развиваться совсем в другую сторону. Однако поэты остались и кое-как просуществовали до 50-х гг., а потом вымерли, практически не оставив наследников. Вся здоровая литература 20–30-х гг. создана именно этим слоем (я пытался показать это в своей старой статье о Багрицком).

К концу 50-х режим таки смог вырастить «советского человека», с его специфическим мировосприятием, которое и выразилось в «советской поэзии» (Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Высоцкий, Ахмадулина...). Тут совершенно иные настроения. Вместо жизнерадостности, любви к жизни, экспансионизма – упадок, смерть, подчинение чуждым силам, которые «влекут», как кони у Высоцкого, примитивная русофобия, дебилизированный мещанский стиль («возьмемся за руки, друзья»), перескоки от болезненной экзальтации к необоснованному куражу. Эта поэзия и уничтожила «нерушимый советский союз». Она развивалась, как язва, как раковая опухоль, и была поэзией великого разочарования – ведь проект «Блистающей Империи» не состоялся.

Так вот, Галич оказался человеком, который, как адепт тайного учения, получил маленькую долю посвящения от тех, кто готовил Национальную Альтернативу. Вспомним: Гумилев был фактическим учителем Багрицкого, Багрицкий одобрил стихи Саши Галича. Традиция передалась через три звена, естественно, утончаясь и распыляясь. Отсюда и кажущаяся «русофобия» Александра Аркадьевича. Багрицкий уже не был последовательным поэтом Национальной Альтернативы, тем более им не мог стать и Галич. Он оказался «арьергардным бойцом Русской Империи», уже потерявшим все карты местности, забывшим о целях войны, утратившим все связи с командованием, но упорно продолжающим отстаивать какие-то давно утраченные идеалы. «Сова» поняла, что этот безумный партизан слишком бросается в глаза, и выкинула его за границу. Тем временем Окуджава, попивая шартрез и куря кальян, сочинял песенки про веселых барабанщиков и ту единственную гражданскую (а ведь совершенно зверская песня: кем бы ни был ее герой, красным или белым, мечтать погибнуть на братоубийственной войне – это уж слишком. Александр Тиняков, этот русский Лотреамон, которого всегда обвиняют в безнравственности, по сравнению с Окуджавой был просто текстуальным святым). Высоцкий пел про охоту на волков начальничкам из аппарата ЦК. Визбор, как поэт, мне вообще мало понятен: ну, написал с десяток неплохих лирических песенок, а в остальном так – уровень провинциального КСП.

Собственно говоря, почему мы должны отдавать Галича «либералам»? Потому что он еврей? Это слишком смешно, чтобы быть причиной. Владимир Жаботинский, несомненно, гениальный русский поэт и, не менее несомненно, «фашист» – еврей. Есть хорошие стихи у Бродского, которого

в «патриотической» среде принято ругать. Почему, на каких основаниях мы выкидываем из своей культуры огромный пласт из-за каких-то внешних факторов? Почему не сказать себе, что все лучшее принадлежит нам. Это НАШЕ наследство. И гнать пинками следует от него подальше всех этих патентованных «литературоведов». Не отдадим!

Может быть, Галича следует отвергнуть за неоднократные приступы русофобии? Но это ведь именно русская национальная черта, наша особенность, и с ней ничего не поделаешь...

Да, единственное, что могу хоть как-то признать в качестве причины – Галич, конечно, наносил уколы «советской империи», по которой теперь многие плачут (хотя раньше я за ними этого не наблюдал – и это странно). Но он слишком хорошо понимал, что русскому человеку коммунизм всегда стоял поперек горла. И он единственный смог придать приемлемую стихотворную форму тому настроению, которое зрело в бывших русских, украинских, белорусских крестьянах, бывших торговцах и конторщиках, чиновниках и приказчиках, потерявших все в один день, загнанных на окраины монстров индустрии, за колючую проволоку северных бараков, обреченных на вечный голод, унижения и грызню с «окружающей средой», тому желанию, которое неожиданно вырвалось в военном, будто бы «антигитлеровском» плакате – «Не забудем. Не простим». В конечном счете, в этом и был мессадж Александра Аркадьевича, главная тема, которую он так и не смог до конца выразить – то ли из-за происхождения, то ли из-за некоторой трусости, случавшейся с ним до эмиграции. Но для миллионов людей надежда на то, что когда-нибудь все на Руси «перевернется обратно», что игру удастся переиграть и все кончится хорошо, была спасительной (в сущности, все мы до сих пор на это надеемся, часто даже не отдавая себе отчета в таких мыслях; русский человек – подсознательный оптимист):

> Все наладится, образуется,
> Так что нечего зря тревожиться,
> Все безумные образумятся,
> Все итоги непременно подытожатся...

Но главная тема Галича, в сущности, – плач об утраченной Родине, о русской России (пусть даже он сам и не всегда верил в свои слова; с другой стороны, в 60–70-е это был идеальный подпольный товар для распространения вне еврейских диссидентских кругов). И она, эта мелодия глухой надежды, мрачными аккордами звучала сквозь советский вокзально-ресторанный балаган, через весь этот танец на костях, сквозь радостные вопли убийц исторической России (впрочем, что изменилось?). Наступали длинные вечера, светились неоновые вывески «Мясо-рыба», что-то монотонно бубнили дикторы «Времени» – над этим развороченным кладбищем, над кровавым вечным покоем, «над мрачным пиром недострелянных лакеев, над перевалами обглоданных костей». А мы, внуки

русских «кулаков», отрезанные от всего, лишенные всякой надежды, чувствовавшие свое метафизическое «опоздание во времени», через весь этот бедлам слышали одно:

А по вечерам все так же играет музыка.
Музыка, музыка, как ни в чем не бывало:
Сэн-Луи блюз – ты во мне как боль, как ожог,
Сэн-Луи блюз – захлебывается рожок!
На пластинках моно и стерео,
Горячей признанья в любви,
И поет мой рожок про дерево
Там, на родине, в Сэн-Луи.
Над землей моей отчей выстрелы
Пыльной ночью все бах да бах!
Но гоните монету, мистеры,
И за выпивку, и за баб!

А еще – ну прямо комедия,
А еще – за вами должок
Выкладывайте последнее
За то, что поет рожок!

А вы сидите и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
Вы платите деньги и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
Вы жрете, пьете и слушаете,
И с меня не сводите глаз,
И поет мой рожок про дерево,
На котором я вздерну вас!

И добавить мне тут совершенно нечего. Хоть это и печально, и не выставляет меня лично в «позитивном свете». Впрочем, мне на это давно наплевать… И на саму «позитивность» тоже.

А либералам мы Галича не отдадим. И вообще не отдадим им ничего. Так-то, пожалуй, лучше будет.

Опубликовано под псевдонимом Вадим Нифонтов

ПИСАТЕЛЬ, ПОЛИТИК И БЮРОКРАТ

(из материалов круглого стола, состоявшегося 19 сентября 2008 года и посвященного памяти А. И. Солженицына)

В самом начале нашей дискуссии прозвучал резонный вопрос о том, насколько Солженицын остается моральным авторитетом для современного российского общества и до какой степени это состояние может сохраняться в исторической перспективе.

Я должен сразу определиться: Солженицын был и остается одним из моих любимых писателей, я считаю себя в значительной степени сторонником его общественно-политической концепции, его взглядов на будущее развитие России. Тем не менее, то, что я сейчас скажу, может показаться резким диссонансом к этим словам.

Так вот, я считаю, что позиция морального авторитета в нынешней российской литературе не только не существует, но и, по всей видимости, полностью устранена за ненадобностью. Нынешний уровень интеллектуального развития нашего общества в целом не оставляет особых надежд на то, что заслуги подобного рода будут хоть в какой-то степени оценены и поняты. Солженицын принадлежал к уже ушедшей традиции русской литературы, которая стремилась критически отражать реальность и, если можно так выразиться, проповедовать определенные ценности. Сегодня это уже не так. Поэтому у меня создается не лишенное, как мне кажется, оснований, впечатление, что Солженицын (впрочем, как и большинство крупных мастеров литературы XX века) постепенно будет забыт и останется лишь предметом исследования специалистов по русской филологии.

Между тем, на мой взгляд, он до сих пор не был достаточно оценен, хотя в последние годы появились робкие попытки сделать его доступным массовому читателю и создать определенный интерес к нему. Я имею в виду экранизацию романа «В круге первом». Но это лишь один небольшой шаг. «За рамками» остаются такие вещи, как «Красное колесо» (а я, в отличие от многих критиков-эстетов, считаю эту эпопею колоссальной литературной удачей Солженицына) и «Бодался теленок с дубом» (которая, кстати, написана в известном на Западе жанре «success story»).

Проблема состояла в том, что расцвет творчества Солженицына совпал с эпохой окончательного разделения литературы и текущих общественных реалий. Несомненно, в какой-то степени Солженицын пытался следовать образцу Льва Толстого, но в советских условиях (как и в западных) такой «паттерн» уже не воспринимался должным образом.

Очевидно, что Солженицын в первую очередь писатель. Но одновременно в нем сосуществовали два других мощных пласта – очень

талантливого политика и эффективного бюрократа-управленца (в свое время меня поразило, с каким пониманием тонкостей дела он описывает разнообразные канцелярские процедуры в «Красном колесе»). Именно в «Теленке» хорошо видно, насколько трудно было в советских условиях совмещать три эти ипостаси. В иной среде он выбрал бы что-то одно в качестве главного направления – думаю, это, конечно, была бы литература.

Но заявки на политическую значимость в советской среде вызывали неверное восприятие литературных моментов. От Солженицына часто ждали прямой проповеди конкретных политических идеалов, чего он, в силу специфики своего положения, позволить себе не мог. Отсюда, кстати, и столь часто встречающееся неприятие солженицынского литературного языка – читатель ждет в первую очередь понятной публицистики и политических рецептов. При этом никто не предъявляет Велимиру Хлебникову или Даниилу Хармсу языковых претензий – просто потому что эти авторы не обладают внутренним «политическим пластом». Кроме того, советская реальность не настолько на них повлияла.

Вдобавок, литературная эволюция Солженицына тоже наложила на его восприятие свой отпечаток. «Красное колесо», по сути дела, писалось 35 лет и изначально предполагало стать романом «Люби революцию» во славу ленинской гвардии. Наслоения, сохранившиеся с тех пор, по сей день ощущаются – так, прочитав «Красное колесо», я вдруг осознал, что ничего более просоветского, хотя и выдержанного в не столь пафосном духе, никогда не встречал. В сущности, советское Политбюро проявило крайнюю степень тупости, отказавшись публиковать «Колесо» – ведь концепция романа вкратце может быть изложена так: свержение монархии и введение «народоправства» повергли Россию в такой жуткий хаос, что ленинский большевизм оказывается *абсолютно естественной* (хоть, конечно, и чудовищной) реакцией на него. Именно *реакцией*, в полном политическом смысле этого слова – ленинский переворот абсолютно *контрреволюционен*, но, так сказать, «с другой стороны». В своем некрологе Солженицыну небезызвестный Лев Аннинский (журнал «Родина», № 9 за 2008 год) пишет об этом, сожалея, что покойный не смог до конца понять собственных выводов и переступить «Архипелаг Гулаг» ради этого как бы пробольшевистского вердикта «Красного колеса».

Я считаю, впрочем, что Солженицын был совершенно прав – у коммунистического тоталитаризма не может быть оправдания, **мы можем понять его, но не простить.** Во всяком случае, позиция автора «Красного колеса» не расходится с позицией «Архипелага Гулаг», а Лев Аннинский предлагает отказаться от последней в пользу первой.

И тем не менее, позиция морального авторитета у Солженицына, как мне представляется, слаба или отсутствует. Но это вовсе не его вина. Советский период на фоне того, что произошло потом, многим уже представляется раем. В оценках деятельности коммунистов-большевиков царит полный разнобой. Неудивительно, что любая объективная статья

о Солженицыне вызывает нервные реакции у поклонников советского прошлого, которые до сих пор верят в мифы о «литературном власовце».

Короче говоря, советская ситуация, когда политик, писатель и бюрократ были спрессованы в некий единый сгусток, привела к тому, что Солженицын, увы, еще не скоро будет достаточно адекватно понят. Если вообще это когда-нибудь произойдет.

КОРСАР И ПУСТОТА

(«Музыка революции» в судьбе Эдуарда Багрицкого)

…А третий, закрутив усы,
Глядит воинственным героем.
Над ним в базарные часы
Мясные мухи вьются роем.
Он в банке едет на колесах,
Во рту запрятан крепкий руль,
В могилке где-то руки сохнут,
В какой-то речке ноги спят.
На долю этому герою
Осталось брюхо с головою
Да рот, большой, как рукоять,
Рулем веселым управлять.

Н. Заболоцкий. «На рынке»

Тема идеологической и художественной трансформации русской литературы в послереволюционный период (1917–1930 гг.) исследована довольно подробно, однако, как обычно, в ней превалируют две совершенно определенных тенденции – либо взгляд на этот процесс, как на «высвобождение колоссальных сил народного духа» (почти все исследования, относящиеся к советскому периоду, в общем, сводятся к утверждению этой нехитрой идеи – в том числе и вполне оппозиционные, «антибрежневские», принадлежащие так называемым «шестидесятникам»), либо осуждение «деградации» художественной литературы, ее «аморализма», «идеологической зашоренности», «продажности» и т. п. (как правило, такие взгляды господствовали в эмигрантской прессе и в антикоммунистическом самиздате брежневского периода; достаточно вспомнить появившееся в начале семидесятых эссе Анатолия Якобсона «О романтической поэзии 20-х гг. », которое, пожалуй, можно считать в этом отношении наиболее характерным).

В общем-то, принадлежность к той или иной «парадигме» – скорее, вопрос художественного вкуса и, отчасти, социологический. Автор этой статьи, именно по указанным причинам, является сторонником теории «деградации» русской литературы после 1917 г. По-моему, распад художественных форм, перерождение самой ткани литературного творчества,

аморализм (естественно, в сравнении с дореволюционной беллетристикой) «многонациональной советской литературы» полностью очевидны, и только совершенно определенный общественный слой – вероятно, номенклатурные потомки все тех же «комиссаров в пыльных шлемах» – могут позволить себе утверждения о революции и 20-х гг. как, о периоде литературного романтизма, свободы творчества и полета духа. Тем не менее, жизнь сложнее любой голой конструкции, и общая схема «деградации» еще не означает, что в каждой конкретной литературной биографии мы не найдем чего-то совершенно иного. Деградация форм была естественным процессом (В. В. Розанов как-то пророчески заметил, что «совершенство формы есть достоинство падающих эпох»; таким образом, советский период уже был дном, финальной точкой падения русской культуры), но каждый литератор по-разному сопротивлялся этой «буре» – или просто плыл по течению.

А между тем на литературную арену в 20-е гг. неожиданно и стремительно вышел слой, которому жить в этой «буре» оказалось, вроде бы, вполне комфортно. Более того, именно эти люди сформировали характер советской литературы таким, каким он был до середины 70-х гг., до начала *активной публикации на Западе книг из диссидентского подполья. Я говорю* о волне одесских мигрантов, куда входят, прежде всего, «классики» советской литературы И. Ильф (Файнзильберг) и Е. Петров (Катаев), а также любимец хрущево-брежневского интеллектуального бомонда Ю. Олеша, не говоря уж об И. Бабеле. Вообще, Одесса дала крайне большой процент литераторов раннего советского периода. Если же посмотреть, кто делал литературную погоду в Москве и Ленинграде, то окажется, что это, в подавляющем большинстве, выходцы либо из Западного края Российской империи (подобно одному из крупнейших руководителей советских издательств, поэту-виленчанину В. Нарбуту), либо из так называемой Новороссии. В данном случае мы, конечно, касаемся весьма щекотливой темы «евреи в русской литературе», которая опошлена и дебилизирована как нашими «патриотами», так и «борцами с антисемитизмом» всех мастей. На мой взгляд, национальная и религиозная принадлежность здесь сыграли значительно меньшую роль, чем принадлежность географически-социальная, и вот почему. Революция 1917 г. уничтожила старую элиту. Ее место заняли «грядущие гунны» – люди, имевшие соответствующий задачам новой власти уровень образования. Кто это мог быть? По совершенно объективным причинам «контр-элиту», «второй эшелон» многонациональной Российской империи составляли в большинстве своем «образованные инородцы из провинции», как правило, выходцы из семей торговцев и мелких чиновников. Здесь нет и не может быть какого-либо «заговора» – просто так уж сложились обстоятельства. Россия не создала «национальной контр-элиты»; несколько поэтов и писателей вроде Есенина или Клюева не в счет, к тому же большинство из них было скоро списано по счетам «контрреволюции» и низвергнуто во тьму. Говоря циничным

языком современной социологии, народ империи был настолько уверен в незыблемости ее основ, что не разработал никакой культурной альтернативы. «Инородцы», однако, вполне естественно пытались получить образование, занять выгодные посты из числа им доступных, и в момент, когда центр империи был повержен, они начали захватывать ключевые позиции. В многонациональной империи иного и не могло быть. Если уничтожена элита «господствующей» нации, то ее места занимают ранее оттесненные на периферию представители «угнетенных» наций, поскольку их образованный класс пострадал меньше.

Таким образом, литературный процесс 20-х гг. – это приход разночинско-коммерческой и, как правило, не совсем русской «провинции» на место аристократического русского «центра». Этот тезис, на мой взгляд, многое объясняет в общем характере советской литературы.

Конечно, у читателя, закаленного постперестроечной прессой, немедленно возникнут подозрения относительно этого разделения на «русских» и «не совсем русских». На самом деле, речь идет о специфических изменениях именно русской культуры. Ее «марка», название остаются теми же, но сущность, скрывающаяся за ними, полностью меняется. Подобные явления в истории случались: мы называем греками и древних эллинов, и византийцев, и жителей современных Афин, но много ли между ними общего? Кроме того, «приход провинции» совершился случайным образом. Война ослабила культурный центр России, а две революции и последующая гражданская война добили его окончательно. А в 1916 г. никто из представителей культурной контр-элиты даже не догадывался, какие потрясающие перемены ждут страну.

Но что такое «литературная провинция» Российской империи? Каковы были ее тайные мечты, желания, установки? Как они могли бы проявиться в иных обстоятельствах?

Я начал бы свой рассказ с одной, довольно неожиданной с точки зрения обычного читателя, цитаты:

> Ржавеет густо кровь на лезвиях мечей,
> Стекает каплями со стрел, пронзивших спины,
> И трупы бледные сжимают комья глины
> Кривыми пальцами с огрызками ногтей.
>
> Но молча он застыл на выжженной горе,
> Как на воздвигнутом веками пьедестале,
> И профиль сумрачный сияет на заре,
> Как будто выбитый на огненной медали.

Несмотря на некоторую, почти неуловимую пошлость, здесь чувствуется нечто, по праву принадлежащее русской литературе начала XX в. Это вполне второсортный петербургский уровень, ничуть не ниже (а, пожалуй, и значительно выше) какого-нибудь столичного рифмоплета А. Каменского. Тем не менее, стихи принадлежат молодому одесситу Эдуарду Багрицкому

(впрочем, тогда еще Дзюбину). Стихотворение называется «Полководец», оно написано в 1915 г. (автору было 20 лет). Самое удивительное, что в наши дни сие творение используется для книгоиздательской рекламы сборников Багрицкого – очень уж оно нехарактерно для автора, известного массовому читателю разве что набившей оскомину в школьные годы поэмой «Смерть пионерки» и, в некоторых случаях, растиражированным «патриотическими изданиями» отрывком об «иудейской гордости» из поэмы «Февраль».

Между тем судьба Багрицкого как раз весьма показательна. Нет никаких сомнений, что поэт этот был достаточно талантлив. И его своеобразное столкновение с революцией, превратившееся в настоящую любовь-ненависть, может быть неплохой иллюстрацией той самой «точки перелома» русской культуры, анализируя которую, можно, хотя бы приблизительно, понять, что же произошло с нею в 1917–1922 гг. и почему.

В 1973 г. в издательстве «Советский писатель» вышел сборник воспоминаний современников о Багрицком, подготовленный его вдовой, Л. Г. Багрицкой-Суок. Лидии Густавовне удалось собрать рассеянные по разным источникам воспоминания более или менее известных в советской литературе людей. Судя по некоторым текстуальным сопоставлениям, статьи подвергались цензурной правке (в основном, сокращениям), однако это не меняет их основного смысла. Более того, то, что сейчас публикуется по этой тематике в прессе в разделе «из архивов» (скажем, в одесской газете «Порто-Франко»), ровным счетом ничего не добавляет к уже известному нам. Картина, нарисованная современниками, настолько красочна и потрясающа, что заслуживает отдельного рассказа.

Итак, что же происходило на торговой окраине Российской империи – в Одессе, в так называемой Новороссии – перед Русской Катастрофой?

В начале лета 1914 г. бульварная газета «Маленькие одесские новости» поместила объявление, приглашающее молодых поэтов города прочитать свои стихи в помещении Литературно-артистического клуба, или «Литературки», которая имела репутацию «красной» и «радикально левой». В «Литературке» собирались сотрудники так называемых прогрессивных изданий (это в провинции начала XX в.!), полубогемные личности, картежники и, как ехидно добавляет в своих мемуарах В. Катаев, «врачи с хорошей практикой» – видимо, клиентов у них здесь, по известным причинам, хватало. На объявление откликнулось человек тридцать.

«Это были юноши школьного возраста, подобно мне неуклюже скрывающие, что они гимназисты и реалисты. Форменные пуговицы их курточек были обернуты материей, пояса сняты, из фуражек, которые они мяли в крупных руках подростков, выломаны гербы. Впрочем, были и студенты, но совсем молоденькие, первокурсники, хотя уже в белых студенческих кителях, но еще в черных гимназических брюках»*.

* Катаев В. П. Встреча // Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. М., Советский писатель, 1973, с. 53

Среди толпы фрондирующих и одновременно неуверенных в себе юнцов Катаев встречает реалиста из училища Жуковского, некоего Эдю Дзюбина, который произвел на него неизгладимое впечатление.

«Он говорил специальным плебейским, так называемым «жлобским» голосом. Это было небрежное смягчение шипящих, это было «е» вместо «о». Каждое слово произносилось с величайшим отвращением, как бы между двух плевков через плечо. Так говорили уличные мальчишки, заимствующие манеры у биндюжников, матросов и тех великовозрастных бездельников, которыми кипел одесский порт».

Сама процедура отбора поэтов для чтения стихов за деньги на загородных дачах тоже весьма показательна, но не в этом дело. Катаев, который впоследствии многое из произошедшего понял по-иному и полностью переоценил, отмечает:

«Он прочел небольшую поэму в духе «Капитанов». В то время *я еще не имел понятия о Гумилеве, и вся эта экзотическая бутафория, освещенная бенгальскими огнями молодого темперамента и подлинного таланта*, произвела на меня подавляющее впечатление силы и новизны» (курсив всюду мой – С. К.).

Успех! Тем не менее, следуя своей оригинальной литературной манере, Катаев сообщает читателю, чем все это кончилось. Некий «культуртрегер» Петр Пильский, вечно пьяный циник и коммерсант, нанял группу молодых поэтов с целью демонстрировать их скучающим дачникам. Деньги за выступления мосье Пильский, естественно, клал себе в карман. Поэтам было достаточно ощущения, что их слушают. Они пели даром, радуясь самой этой возможности.

История, рассказанная Катаевым, как это принято в поздней советской литературе, претендует на роль философской притчи. Единственный вопрос, который возникает в душе читателя – а не было ли все это прообразом той самой злой шутки, которую сыграла с русской «провинциальной» поэзией революция? Этот вопрос зловеще повисает над всеми остальными очерками современников. И, похоже, Катаеву удалось уловить тот самый смысл изменений, который вскоре «глубоко перепахал» душу русской литературы.

Но если подумать, к чему же на самом деле готовился реалист Эдя Дзюбин, начинаешь понимать, что весьма неожиданными для него оказались все грядущие события. Хоть и смог он как-то повернуть их в свою пользу.

К какому «литературному течению» принадлежал этот поэт? Собственно говоря, ни к какому. В Одессе были клубы, были поэтические объединения – однако он вырос вне них, фактически на пустыре; это уж потом появилась одесская «Зеленая лампа», которая, впрочем, скорее была компанией собутыльников, и там он верховодил. Писать стихи обучился сам, и, судя по многочисленным воспоминаниям, большое значение придавал именно формальной стороне творчества (мог на спор написать сонет, триолет, оду на любую заданную тему; Исай Рахтанов вспоминал, что он

за пятнадцать минут сочинил очень выразительное стихотворение об охоте на медведя). Но что написал к 1917 г. Эдуард Багрицкий, сотрудник Петроградского телеграфного агентства в Одессе – если говорить о вещах, известных не только специалистам-филологам? Напрашивается три названия: шовинистическая, по сути, поэма «Суворов», уже цитированное стихотворение «Полководец» и та самая мини-поэма «Корсар», которую он читал «благодетелю» Петру Пильскому:

Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас поднимали узорчатый флаг,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг...

Катаев считает, что это некое подобие поэзии Гумилева, хотя и бутафорское. На самом деле Багрицкий в этом не особо благодарном занятии не одинок и, пожалуй, просто опережает других. Совсем скоро зазвучат похожие мелодии, только будут они уже вполне реалистичны:

Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов...
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

Автор этих строк – Николай Тихонов (цикл «Орда», 1919–1921 гг.), весьма своеобразный – не то явно революционный, не то тайно белогвардейский, – поэт. Но это прямой ученик Гумилева, в отличие от нашего героя.

Однако, уже к середине 20-х гг. можно говорить не о единственном поэте-романтике, воспевающем деятельную жестокость, а о явлении, настоящем потоке. Появляется сразу добрый десяток поэтов, «поющих» в подобном же мрачном камерно-бутафорском стиле. И, судя по всему, явление не возникло в ходе революции, а готовилось значительно раньше. Формы, в которые влился этот тайный поток, оказались довольно странными.

Дело, как представляется, было отнюдь не в революции. А в чем? Впоследствии Багрицкий в стихах открыто признавался в том, какое влияние оказал на него 1914 г. – та самая «последняя ночь мирной жизни»:

Мне было только семнадцать лет,
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной,
Шагала плечом к плечу.
Я был ее зеркалом, двойником,
Второю вселенной был.
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочится из пор, как пот.

Общеевропейская катастрофа 1914 г. оказалась колоссальной психологической травмой, которая создала всю последующую русскую культуру (в ее советской ипостаси). Эта тема никогда не уходила из поэзии, она встречалась то тут, то там, полунамеками, между строк, а часто и открыто. Даже не склонный к реализму и дешевому романтизму О. Э. Мандельштам так и не смог отделаться от образных впечатлений мировой войны – и они во всей своей сумбурной, злой красоте возникают в поэме «Стихи о неизвестном солдате»:

Весть летит пыльнокрылой дорогою –
Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов – я новое,
От меня будет свету светло!

Навязчивое стремление слиться с милитаризованной массой, с «гурьбой и гуртом», стать «океаном без окна, веществом» (Мандельштам), ярко выражено и у Багрицкого, причем даже в каких-то мелочах, в одежде, в быту. С. Гехт вспоминает, что поэт всегда хотел выглядеть «бравым героем, этаким партизанским командиром, несколько картинным и даже лубочным»*. Любимая одежда – бекеша, папаха, галифе. «Задумчивый пролетарий» Гехт, явно не склонный к военному стилю в одежде (носил он, однако, кожаную куртку), слегка иронически замечает:

«Когда он все это на себя напялил и, вычистив сапоги, вышел в таком виде на улицу, прохожие, глядя на него, на его большую голову и чуб, торчащий из-под папахи, думали: вот идет бывший атаман или батько, который осоветился. А может быть, сам Григорий Котовский?»

Война мобилизовала литературное сознание, заставила его искать новые формы – рационально-авантюристические, экспансионистские, жестокие. Но при этом традиция оставалась прежней, литературоцентризм продолжал царить и в годы войны. В России была невозможна фраза «когда я слышу слово «культура», мне хочется схватиться за револьвер» (отметим, что это довольно печальный факт – уж лучше бы были «антикультурные течения», чем ленинская «монументальная пропаганда»). Отсюда и типичное для представителя культурной богемы той поры стремление совместить несовместимое: любой ценой не попасть на передовую, но одновременно носить форму и быть «при деле», быть «героем», быть со всеми, хоть и в середине лагеря. Так поступали многие, а не один только Багрицкий, ставший перед самой революцией «земгусаром» (интендантом «Союза земств и городов», организации, занимающейся снабжением фронта) и съездивший в связи с этим в Персию. Впоследствии в поэме «Февраль» он писал о таком совмещении несовместимого: с одной стороны, ее лирический герой постоянно откупался от «ротных», не желая сгнить

* Гехт С. Вечера в железнодорожном клубе // Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. М., Советский писатель, 1973, с. 42

на передовой, а с другой, при попытке знакомства с девушкой он тут же приписывает себе мнимые военные заслуги, одна из которых – сидение в мазурских болотах. Д. Е. Галковский отметил в «Бесконечном тупике» (фрагмент № 321) именно этот момент, как иллюстрацию своей мысли о специфическом поведении «восточного человека», в частности, еврея. На самом деле так поступали и самые что ни есть «истинные арийцы» – например, Есенин (впрочем, общую концепцию Галковского этот факт не опровергает, а скорее подтверждает).

Стиль войны на долгое время стал для поэта определяющим. Более того, Багрицкий, видимо, интуитивно осознавал, что именно с войной и имперской армией связаны его шансы на поэтический успех и определенную известность в России. Отсюда и проистекает стихийная «гумилевщина» в его ранних произведениях. Ниша «русского Киплинга», певца экспансии и колониальных войн, рапсода «бремени белого человека» все еще не была занята – Николай Гумилев был слишком широк для нее. По всей видимости, Эдуард Дзюбин рассчитывал на эту поэтическую «должность», и, в принципе, имел все шансы ее впоследствии получить. Его интерес к таким поэтам, как Киплинг и Бернс, отмечавшийся и до революции, не ослабевал почти все 20-е гг. (Хотя переводы этих поэтов Багрицким трудно назвать выдающимися; достаточно вспомнить чисто одесское, ломаное: «Три короля из трех сторон «решили заодно…». Такое начало сильно проигрывает переводу, который сделан С. Маршаком: «Трех королей прогневал он «и было решено…»).

Однако события неожиданно потекли совершенно по-иному. Большевицкий переворот и последующая бойня вдруг «открыли вакансии». Основной «конкурент» Багрицкого – Николай Гумилев – также погиб в ходе всероссийского погрома, обвиненный в мифическом «фашистском заговоре» (сейчас это, по-моему, уже звучит, как комплимент). Неожиданно «провинция» увидела перед собой огромные перспективы и не замедлила ими воспользоваться.

К чести Багрицкого, он далеко не сразу ринулся в Москву, чтобы занимать новые позиции. Более того, из числа «одесских мигрантов» он прибыл в столицу последним, когда уже стало ясно, что провинциальная культура полностью уничтожена путем превращения в центральную и господствующую.

Зинаида Шишова в своих воспоминаниях высказала метафору, которую многие впоследствии пытались «пришивать к делу» Багрицкого (прежде всего, И. Р. Шафаревич в «Русофобии»): «… Багрицкий пришел в революцию, как в родной дом. Бездомный бродяга и романтик, он пришел, сел, бросил кепку и спросил хлеба и сала». Отметим, однако, что Шишова писала это в 1935 г., когда иных слов на данную тему в советском культурном пространстве просто не существовало. Тем не менее эта «расхожая» фраза многое объясняет, особенно, если рассматривать ее в контексте всего творчества поэта.

Багрицкий действительно куда-то шел. У него была определенная цель. Скажем так: *он вышел из пункта А в пункт Б.* В походе выяснилось, что пункт Б давно уничтожен, на его месте вырыта яма, а в окрестностях бушует эпидемия чумы. Поэтому надо идти в пункт В. Деваться некуда, наш путник, полностью поменял маршрут, но стремления и настроения остались те же. Их следовало к чему-то приложить. Отсюда полный аморализм вперемешку с романтизмом, которые зачастую специально нагнетаются в его стихах (привожу самое известное):

Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме,
Да видеть звезду
Над бушпритом склоненным,
Да голос ломать
Черноморским жаргоном,
Да слушать сквозь ветер,
Холодный и горький,
Мотора дозорного
Скороговорки!
Иль правильней, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман…
Да ветер почуять,
Скользящий по жилам,
Вослед парусам,
Что летят по светилам…
И вдруг неожиданно
Встретить во тьме
Усатого грека
На черной корме…

Лирическому герою Багрицкого, как правило, совершенно все равно, на чьей стороне стоять, что делать, какие идеалы защищать. У него есть «кипящая молодость», а все остальное – случайная, ничего не значащая бутафория исторического времени. Ну, в крайнем случае, можно ошибиться в выборе, как Опанас из «Думы про Опанаса». Однако при этом поэт ему явно сочувствует, несмотря на воспевание холодного карателя Иосифа Когана. (Комиссару Когану он при этом тоже сочувствует, да и нельзя ему по-другому; и все же сцена с черепом Когана в заключительной части «Думы про Опанаса» всегда вызывала у меня какое-то подозрение в стремлении автора поиздеваться над своим любимым героем – сразу напрашивается аллюзия на «бедного Йорика, шута», которую Багрицкий не мог не видеть). В поэзии Багрицкого, как и у Киплинга, важна «борьба борьбы с борьбой» (как говорил по совершенно другому поводу Ю. Коваль), а не какие-то там запредельные, далекие от жизни идеалы и временные,

преходящие исторические истины. «Ну как, скажи, поверит в эту прочность еврейское неверие мое?» («Происхождение»).

Нетрудно увидеть во всем этом параллель с настроениями А. Гайдара, который как-то заявил: «Больше всего на свете я люблю Красную Армию». Точно также Багрицкий, писавший о корсарах и полководцах, не имел более иного пути и иного объекта для восхищения. Воевать за «белое дело», а уж тем более за весьма сомнительное «дело» февральской революции ему, еврею из провинции, очевидно, не пристало. Сначала он ориентировался на сильное милитаризованное государство. Естественное желание «меньшинства» в империи. Но эта ставка была неожиданно бита. Поскольку прежние структуры власти и культуры были уничтожены, он, как всякий талантливый поэт, вытащенный «из глубины» войной, потянулся к законченным политическим формам, к новым идеям, к режиму, поражающему своей превосходящей все известные образцы жестокостью, к «революционной целесообразности», к новой милитаристской рациональности. К сожалению, у людей этого типа в тот момент не было выбора – точнее, сам момент выбора был давно и бездарно упущен их предшественниками.

Тем не менее в стихах Багрицкого практически не встречается марксистко-ленинский пропагандистский бред, вроде того, что любили и взращивали кумир комсомольцев А. Безыменский или вечно недовольный «мягкостью большевиков» Джек Алтаузен. Нигде Багрицкий не нападает на свои прежние, в сущности, военно-государственнические, колониально-экспансионистские, завоевательские, бродяжьи, «киплинговские» идеалы, не отрекается от них. Он, «богемец, пришедший к революции» (С. Гехт), рассудил просто: выбора нет, и, возможно, происходящее в стране имеет какой-то великий скрытый смысл. Подобный же вывод сделал и М. А. Булгаков. Большевики не могли не импонировать провинциальной культуре – в них потрясающим образом совмещалась откровенно уголовная психология и некая «книжность», стремление организовать мир в согласии со своими внутренними представлениям. Это ли не мечта всех дореволюционных эпигонов-ницшеанцев? Та же Зинаида Шишова вспоминает, как она разыскивала агитпоезд Багрицкого, по пути встретив красный бронепоезд Мишки Япончика, бывшего налетчика и «медвежатника», а потом – организатора отрядов еврейской самообороны в Одессе и даже красного командира. Эта мимолетная встреча поразила ее едва ли не больше, чем все свидания с Багрицким, она описана намного ярче, нежели все остальное. Мишка Япончик, несомненно, и есть человеческий идеал провинциального писателя из Новороссии. Только в этом контексте можно понять популярность написанных на редкость корявым языком, бессюжетных и абсурдных «Одесских рассказов» Бабеля, особенно в 50–60-е гг., когда внутри советской интеллигенции начались процессы культурного брожения. Только в этом контексте понятен и Остап Бендер. В одном из культовых фильмов 60-х гг. – «Доживем до понедельника» – «плохой» по сценарию мальчик пропагандирует Бендера и «его кунаков», как настоящих героев; но именно

в тот момент популярность вновь открытых романов Ильфа и Петрова превзошла все границы, и старые партийные ворчуны-фундаменталисты кое-как отбивались от этого, вяло объясняя «политическую вредность» историй о похождениях Остапа. Между тем, каких либо мер пресечения не последовало. А ведь Бендер – в общем-то, несостоявшийся Мишка Япончик, его иная ипостась. Но советский режим после «волюнтаристского» периода терпел и ернические «Двенадцать стульев», и откровенного «белогвардейца» Булгакова. По каким странным причинам это произошло? Видимо, объединяло общее культурное происхождение. Киевлянин, бывший доктор Булгаков, одесситы Ильф и Петров были психологически и стилистически ближе коммунистам, нежели какие-нибудь Шукшин с Распутиным, люди из глубинной, «темной» России. Таким образом, культура СССР в значительной степени создана торговцами, крестьянами и интеллигентами Южной и Западной России, то есть людьми совершенно определенной психологической ориентации. Границы этого ареала новой культуры не совсем совпадают с «чертой оседлости», и далеко не все новые культурные творцы – евреи. Это было бы слишком банально и просто. Еще раз повторяю, дело не в национальности, а в социально-географической принадлежности.

Вернемся к Багрицкому. Послереволюционная история жизни поэта, если говорить откровенно, не наполнена очень уж существенными внешними событиями. Не тянет на геройскую биографию. Киплинг писал: «Расспрашивайте обо мне лишь у моих же книг...». Это полностью относится и к нашему герою. Какие-то неопределенные попытки служить в Красной Армии в качестве политработника, затем долгая мучительная болезнь и жизнь на газетные гонорары, пресловутая идеологическая работа в ЮгРОСТА и прочих учреждениях победившего большевизма, воспитание рабочих поэтов в кружках (и при этом, однако, самое презрительное отношение к тем, кто «родился между молотом и наковальней»). В личной жизни – довольно бледные богемные похождения, какие-то мелкие романы там и тут, в том числе при живой жене. И при этом – надежды на славное будущее в своей роли, которую он собирался сыграть с самого начала.

«...был у него в Кунцеве разговор с Иваном Катаевым о несвершенных биографиях. Эдуард говорил в том духе, что, если *грянет новая война, и мы опять окажемся под ударом*, надо будет направить прямее линию своей жизни:

– Мы будем с вами комбатами или комбригами!..»*.

Одновременно с грезами о будущих великих войнах и покорении Индии, об СССР «от Японии до Англии», у новых «господ литераторов» пробивалась и совершенно другая, весьма показательная мечта.

«Но самыми желанными для всех были теплый пшеничный хлеб и густая похлебка. Любимой книгой стала книга Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», не только как пиршество ума и сарказма, которые не всем нам

* Гехт С. Указ. соч., с. 42.

по молодости лет были понятны, но главным образом как гимн обжорству и изобилию… Багрицкий весело и щедро писал о розовой ветчине… »*.

Эта тема, тема еды, обжорства, «грубого пантагрюэлевского юмора», розовой ветчины, мириадов чайников с чаем, которые ждут умершего поэта в раю, с одесских времен и почти до конца 20-х гг. не сходит с уст Багрицкого. Он безуспешно пытается бороться с этой своей «неромантичной» склонностью, пытаясь врасти в роль Тиля Уленшпигеля, любящего жизнь и презирающего быт. «Меня еда арканом окружила…» Тема столкновения поэта и окружающего мещанского изобилия, особенно шокирующего после военно-коммунистических экспериментов, становится навязчивой, болезненной (в этом есть нечто мифическое и смешное – «схватка Поэта с Едой»). Военный стиль, такой милый и привычный, вдруг оборачивается «новой экономической политикой». Но Тиль Уленшпигель на это не рассчитывал, хотя, в общем-то, новая жизнь ему внутренне очень нравится. Пепел красного Клааса, тем не менее, стучит в сердце. Однако! Как? После стольких жертв, после Перекопа и «кронштадтского льда»? Это омертвение, этот уход в хозяйство, попытка вновь устроить свои жалкие мещанские делишки под небом голубым с красными звездами… За что мы проливали нашу кровь? С этого момента сквозь пантагрюэлевщину, сквозь богемную маску обжоры и пьяницы пробивается нарастающая истерика человека, окончательно сбившегося с пути. Он был «мобилизован» на великую войну за торжество третьего Рима, ждал взятия Берлина – но война обернулась революцией и препозорным «чудом на Висле». Пришел в революцию, спросил сала, поел, осмотрелся и понял, что пришел-то, собственно говоря, не туда. Но других путей уже нет. Значит, нужно что-то делать… Истерика эта впервые четко появляется в «Человеке предместья», который, собственно, и есть ответ литературной провинции на вопрос подпольного человека Достоевского: всему свету провалиться или мне чаю не пить? Ответ парадоксален – и свету провалиться, и чая никому не пить… Все разнести к чертям, все это зловредное, врастающее в душу пригородно-дачное бытие!

> Чекисты, механики, рыбоводы,
> Взойдите на струганое крыльцо.
> Настала пора – и мы снова вместе!
> Опять горизонт в боевом дыму!
> Смотри же сюда, человек предместий:
> – Мы здесь! Мы пируем в твоем дому!
>
> А время идет по навозной жиже.
> Сквозь бурю листвы не видать ни зги.
> Уже на крыльце оно. Ближе. Ближе.
> Оно вытирает в сенях сапоги.

* Лишина Т. Встреча с поэзией // Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. М., Советский писатель, 1973, с. 86.

> Такое ж, как я, презревшее отдых,
> И вдохновеньем потрясено,
> Глаза, промытые в сорока водах,
> Медленно поднимает оно.
>
> От глаз его не найти спасенья,
> Не отмахнуться никак сплеча…

Собственно, главное здесь чекисты, а остальные подвернулись как-то случайно… Рыбоводы – от увлечения поэта аквариумными рыбами. Механики – ну, наверное, от вчерашнего общения с рабочими поэтами в клубе. Стихи написаны в 1932 г., но мысль довольно законченная и явно появилась не сразу, несмотря на всю ее истеричность. Патетически-мрачная декламация, своего рода ритуальный танец на костях (коллективизация уже в целом завершена).

Этот душевный перелом не был пропущен скромными «исследователями русского языка» с Лубянки. Общий рефрен газетных статей уже в 1929 г. – «Багрицкий – романтик, начавший линять». РАПП основательно им позанимался.

На тему «линьки» поэт сочинил целую рифмованную речь, которая не может не наводить на разного рода мысли:

> …Я вижу, как взволнованные воды
> Зажаты в тесные водопроводы,
> Как захлестнула молнию струна.
> Механики, чекисты, рыбоводы,
> Я ваш товарищ, мы одной породы,
> Побоями нас нянчила страна!..

И далее в том же духе. Все те же персонажи, лишь в иной роли – побитых. А что было раньше, до этого результата милого благородного воспитания? Сергей Бондарин, который как-то очень скептически вспоминает о Багрицком, пишет о сюжете потерянной поэмы «Харчевня»:

«Вечер в придорожной харчевне. Имена действующих лиц английские. Проездом останавливаются в харчевне двое веселых молодых людей, они пьют вино и читают друг другу стихи.

– «Ода бифштексу», – возглашает один из них и читает оду.

Но вдруг из-за прилавка раздается голос содержателя харчевни, седого человека в фартуке.

– Стихи нехороши, – говорит престарелый трактирщик»*.

Выясняется, что это прославленный поэт, ушедший в конце жизни в трактирщики.

Багрицкий почему-то долго был зачарован этой идеей. «Уйти в трактирщики», в мясники – то ли очередная маска, то ли действительно тайный

* Бондарин С. Мой старший друг – Багрицкий // Бондарин С. На берегах и в море. М., Советский писатель, 1981, с. 359

комплекс верного сына из «еврейской торговой семьи». Однако вскоре оказывается, что пути назад нет, и следует жалкий вздох (в поэме «Трактир»):

Но ни один из мясников не сменит
Свой нож и фартук на судьбу певца…

Добавим – и ни один поэт уже не сможет уйти в мясники без разрешения критиков из ГПУ.

В самое ближайшее время после идеологической «линьки» настает момент обрубить концы, оборвать все нити, связывающие с прошлым (1930 г.). В этом же году Багрицкий вступает в пресловутый РАПП.

Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

– Отверженный! Возьми свой скарб
Убогий,
Проклятье и презренье! —
Уходи!
Я покидаю старую кровать:
– Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

Вся поэзия Багрицкого до конца 20-х гг. пронизана тоскливым ожиданием чего-то… Но чего? Скорее всего, это можно охарактеризовать словами М. Элиаде: «Ритуальный повтор космогонии, следующий за символическим уничтожением старого мира, регенерирует время во всей его полноте. Целью ритуала является начало новой жизни среди вновь созданного мира»*. Это одна из главных составляющих советской литературы, она сильно выражена, например, у Маяковского. Мария Васильевна Розанова отмечает, что у этого поэта «…параллельно навязчивой идее смерти звучит не менее навязчивая тема воскрешения. Воскрешения не метафорического, не мистического, а буквального, телесного, федоровского, с отталкивающими порою подробностями, когда Маяковский рассказывает, как встают из братских могил и «мясом обрастают хороненные кости». Или: «Со дна морей оживших утопших выплыли залежи…» Представляете, какое при этом амбрэ? Почти как на знаменитой фреске в Кампо-Санто, где не только прохожие дамы, но даже апокалиптические всадники затыкают нос. Но странно сказать, а на тему воскресения в русской литературе

* Элиаде М. Космическое обновление и эсхатология // Элиаде М. Мефистофель и андрогин. СПб., Алетейя, 1998, с. 249

XX века никто не писал так глубоко и так ярко, как воинствующий богоборец – Маяковский»*.

В этом своем пафосе материального воскресения Маяковский был не одинок. Точно также «отметился» здесь и Багрицкий, вообще-то по своему характеру склонный больше к описанию простреленных черепов, «нежных костей» и прочего антуража «пляски смерти» (один из его знакомых вспоминает, что роман Толстого «Воскресение» поэт ненавидел уже из-за самого названия). Однако у него можно прочитать и такое:

Но сила в костяках жила,
Сухое сердце в ребрах билось,
И кровь, что по земле текла,
В тайник подземный просочилась.

И финская разверзлась гать,
И дрогнула земля от гула,
Когда мужичья встала рать
И прах болотный отряхнула!

И остовы, в пластах земли
Исполнившись гудящей дрожи,
Горячим мясом обросли
И тонкой обтянулись кожей.

Это – из поэмы «Ленинград», и речь идет, естественно, о тысячах русских крестьян, загубленных Петром при прорубании «окна в Европу», которые вот теперь, наконец, в ритуальном возрождении восстают из праха. Однако в мозгу современного читателя напрашивается продолжение, совершенно иного свойства, впрочем, тоже напрямую связанное с Багрицким – когда-то он дал весьма хвалебный отзыв в «Комсомольской правде» о молодом поэте Саше Галиче.

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках…
Вот мы и встали в крестах да в нашивках
В снежном дыму…
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка…
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы – ни к чему!

Великое восстановление утраченного, ритуальный акт создания нового мира не состоялись. Билеты на представление были розданы зазря. Космогоническое разрушение бытия закончилось затвердением вулканической лавы, заменой одних «отрицательных» персонажей истории на другие. Что касается русской литературы, то здесь этот процесс был выражен ярче

* Розанова М. Маяковский и Ленин // День литературы, 1999, №8 (26)

всего. Вся литература СССР (естественно, настоящая, а не «президиумная») есть литература несостоявшегося «великого восстановления». Она начала выстраиваться вокруг «урезанного», покрывшегося «хрестоматийным глянцем» Пушкина, как образца «золотого века». (Олеша, захлебываясь от верноподданости, писал: «...у Багрицкого...Пушкин стал «поэтом походного политотдела», отдыхающим у костра вместе с красноармейцами»). Все остальное признано медленной деградацией, хотя для виду советские писатели время от времени похваливают великую революцию. И тут уже появились свои официальные классики – амбивалентный Горький, певец железных заповедей и красный талмудист Фадеев, не говоря уж о разного рода гладковых и панферовых, разносящих по литературному базару свои цемент и бруски. Тем не менее в душе любой мало-мальски приличный советский поэт носит великую тоску. Он знает, что восстание против постылой современности обернулось тем серым миром, который теперь вокруг него, и знает еще, что дальше будет только хуже. Он играет на понижение, как «медведь» с нью-йоркской биржи – и неизменно оказывается прав.

Михаил Зощенко как-то заметил, что революция пробудила к литературной жизни слой совершенно невероятных людей. И теперь они стали делать русскую литературу, по той простой причине, что никакого другого пристойного занятия им не предложили.

Пожирающая, жуткая суть русской литературы состояла в том, что она еще в XIX в. стала в умах миллионов единственным делом, достойным человека. Культ литературы постепенно нарастал – особенно быстро со времен крестьянской реформы. Мир слов и фантазий все более и более перевешивал реальность. В забытой реальности, однако, тем временем происходили странные процессы. И кончилось это печально. Никто из литераторов не заметил приближения великой европейской бойни, никто не ожидал явления февральских «свобод», а Владимир Набоков откровенно гордился тем, что октябрьский переворот провел в путешествиях по кабакам с очередной пассией, из-за чего потом был сильно удивлен «переменой власти».

Немецкая общественная жизнь прошла «от Канта к Круппу» (В. Ф. Эрн), а русская – от Карамзина с «Бедной Лизой» к Ленину и «Приказу № 1». Таковы итоги...

Между тем всюду, в более или менее талантливых произведениях, написанных после 1917 г., проскальзывает одна мысль – этот путь был не единственным! Но другие возможности упущены, и что же дальше? Дальше – бюрократический мир Союза Писателей и подпольный тоскливый вой бывших романтиков в ожидании полного разгрома. Багрицкий был одним из первых, кто ясно понял, что попал совсем не туда, куда направлялся.

Мы – ржавых дубов облетевший уют...
Бездомною стужей уют раздуваем...
Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем!

Как спелые звезды, летим наугад...
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...

Именно по поводу этого стихотворения одним представителем современной российской культуры было сказано: «Фашист, конечно, – но какой поэт!». И эта фраза может быть эпиграфом ко всему творчеству Багрицкого.

Это ощущение отсутствия истинной цели пронизывает стихи, разъедает их, как некая внутренняя болезнь. Вот вполне, казалось бы, романтический «Арбуз» 1924 г. (правда, к этой теме поэт возвращался и позже – стихи трудно датировать однозначно), но однако ж!:

Сквозь волны – навылет!
Сквозь дождь – наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем на ощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.

Мы втянуты в дикую карусель,
И море топочет, как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель
Последняя наша путина!

Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
А море приносит награду, –
Мне жизни веселой теперь не сберечь:
И руль оторвало, и в кузове течь!

Конечно, можно сказать, что это нечто наигранное, ненастоящее, попытка понравиться меланхоличному советскому читателю. Но и исторические обстоятельства 1924 года, и сам характер русской литературы располагают только к серьезности. Это и есть тот самый сдавленный крик солдата (или лучше – корсара), заблудившегося в пустоте.

Можно сказать, что тайный лозунг Багрицкого все 20-е гг. – это лозунг франкистского Иностранного легиона: «Да здравствует смерть!» Тема смерти в самых неожиданных ракурсах и есть его главная поэтическая тема. Она возникает даже в его переводах английских пролетарских песен. Честное слово, авторский стиль, ни с кем не спутаешь:

Мы повесим Макдональда
На поломанной сосне,
Мы подтянем Макдональда
И повыше и сильней,
Чтоб молитвы Макдональда
Бог услышал поскорей...

Смерть, сладкая смерть, настоящее вожделение смерти! Одесситка Аделина Адалис, автор мемуаров под впечатляющим названием «Нас вел Эдуард», эта местечковая валькирия революции, не хуже Шишовой склонна была разбрасываться метафорами. Она сказала, что винтовку Багрицкий любил больше, чем перо, и закончила свою эпитафию многозначительной фразой, которая, можно сказать, предвосхитила будущее многих ее соратников: «У нас по старой, доисторической памяти еще заклинают мертвых: «Спи с миром». Это – злые, дикарские слова, рабочей дружбы в них нет. Нам не пристало спать с миром, даже когда мы умираем». Это ли не иллюстрация стремления новых литераторов к жесткому, рациональному действию, к мобильности, к выходу вовне, взрыву – и, в конечном счете, к героической смерти? Это уже какой-то другой, «запредельный», красно-коричневый большевизм, совсем не тот, который мы знаем…

Однако вожделенное сало в большевицком кабаке было уже давно съедено, кабак закрыт, и Багрицкий, изо всех сил перемалывая и переламывая себя, со своим демонстративно военным стилем, с мечтами о бесконечной экспансии, о романтических походах и битвах, оказался в стране побеждающего социализма, в славном краю свинцовых прелестей, домкомов и парткомов, чисток, товарищеских судов, удостоверений членов профсоюза, проработок Комакадемии, учений по гражданской обороне, лаковых бот и советской любви. Следовало перековаться. То ли в шутку, то ли всерьез Олеша назвал его впоследствии «поэтом жизнерадостности большевизма». Это, мягко говоря, не совсем так. Трудно найти в литературе СССР более мрачного «пиита», чем Багрицкий, и эта мрачность, судя по всему – следствие внутреннего неприятия действительности. При этом нет и не может быть никаких сомнений, что он был истинно революционным поэтом. Вот только складывается впечатление, что революция-то случилась совсем не та, на которую он рассчитывал. Ему нужно было не так уж и много – совместить экспансию с пантагрюэлевщиной, с веселым балаганом, может, и с новой религиозной войной («Узловали епископы в алтарном мраке / Новый завет для храбрых бродяг / В переплетах прекрасного цвета хаки / Где рядом Христос и военный флаг...» – если вспомнить все того же Николая Тихонова). А получилось нечто жуткое, скучное, желчное, да еще при этом с кусками кровавой кожи и волос в грязных лапах мясника. Вместо разукрашенного историками Оливера Кромвеля пришли пошлые жестокие паяцы Ленин и Троцкий.

Сергей Бондарин, писавший свои воспоминания уже в годы так называемого «застоя», не мог не удержаться от того, чтобы не подложить свинью официальному вкусу брежневского Главлита. Он обширно цитирует записки Петра Сторицына, друга Багрицкого еще с Одессы:

«Багрицкий умер 16 февраля 1934 г., но характер и манеру его умирания я увидел раньше. Вот об этом я сегодня расскажу…»*.

* Цит. по: Бондарин С. Указ. соч., с. 380

Этот весьма многозначительный, с точки зрения тогдашней шестидесятнической интеллигенции, цитатный намек, сейчас обретает несколько иной, но не менее зловещий смысл. Бондарин, естественно, по законам советской литературы немедленно вступает в схоластический спор с этой своей «обмолвкой», указывая: «Но в главном Сторицын ошибался: подмеченное им у Багрицкого чувство страха перед неизбежностью не восторжествовало, не обессилило оно человека…»*. Естественно, спор этот тоже показной, деланный, он лишь углубляет подозрение советского интеллигента, привыкшего читать между строк. Какой страх? Перед какой неизбежностью? Интеллигент, естественно, подставлял сюда «страшного диктатора Сталина», рисовал картину «прекрасных романтических двадцатых», озаренных гением Ильича, и последующего «сталинского термидора» (кстати, это схема незабвенного Льва Троцкого). И ошибался. По всей видимости, для Багрицкого все было совсем наоборот. Или значительно более сложно…

Но вот «романтические двадцатые» заканчиваются. Все чаще поэт срывается на крик. В стихах появляется специфическая тоскливая безнадежность, которую трудно понять не-провинциалу, не-еврею и не-поэту. Тем не менее, это так. Где-то там, уже за холмом – старые связи, былые надежды, прежние идеи о покорении литературы. Отречение от всего, что когда-то было дорого, что казалось существенным. Нет больше «летучих голландцев», нет «корсаров», лишь нарастающая истерика (кстати, именно на эту особенность стихов Багрицкого начала 30-х гг. впервые обратил внимание современный российский публицист и филолог К. Акундинов**). Как ни странно, стихи, которые советское литературоведение считало образцом, последней и высшей точкой развития поэта, сейчас попросту смешны, беспомощны. Та же поэма «ТВС», напоминающая предсмертные вопли молодого людоеда, совершенно не впечатляет. «Он пугает, а мне не страшно…». Сразу вспоминается что-то в том же духе, но менее *погруженное в мрачную серьезность:*

Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки-клеш,
Соломенную шляпу
И острый финский нож.

Я мать свою зарезал,
Отца свово убил,
А младшую сестренку
В колодце утопил.

Или еще пуще:

Я срок мотал,
Я зону нюхал,
Я кровь ручьями проливал…

* Там же, с. 383
** Анкудинов К. Каприз против истерики. Опыт аналитического исследования стихотворения // Октябрь, 1997, № 12.

Кстати, один исполнитель блатных песен ради смеха пел «я кровь мешками проливал». По-моему, в этом в тысячу раз больше глубины и, главное, самоиронии, нежели в «ТВС». То, что проявления истерики у Багрицкого так похожи по накалу картонных страстей на блатную песню, тоже весьма симптоматично. Всплывает тот самый внутренний образ, архетип, тот самый «Мишка Япончик»...

А пресловутый «Февраль», обошедший, кажется, все «антисемитские» издания и вовсе, в сущности, следует понимать аллегорически. Это поэма о том, как развивался роман провинциального еврея-стихотворца с «сине-зеленоглазой» русской литературой. Вольного согласия между ними не вышло, пришлось прибегнуть к насилию. А результат все тот же – жуткая, гнетущая пустота.

Я беру тебя как мщенье миру,
Из которого не мог я выйти!
Принимай меня в пустые недра,
Где трава не может завязаться,–
Может быть, мое ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.

В общем-то, этим все и заканчивается с точки зрения сюжета (поэма обрывается неумелыми аккордами на тему «грядущего возрождения»). Столкнувшись с русской литературой, точнее, с тем, что от нее осталось, Багрицкий потрясен не меньше, чем солдат императора Веспасиана, сорвавший в иерусалимском храме завесу с алтаря этих ненавистных евреев. Что ж, посмотрим, какой жуткий бог там скрывается? Но за завесой – священная пустота, «кедеш кедешим», и страшный, леденящий душу вопрос рождается в солдатском мозгу... Этот-то вопрос и погубил впоследствии Римскую империю.

Поскольку же русская литература была своего рода религиозным движением, то, добравшись до его главных алтарей и сорвав покровы, провинциальный солдат Багрицкий точно так же задается разрушительным вопросом. Если все так банально, так примитивно, если на вершинах мысли царит такая пустота, и весь мир русского классика сводится к «жареной картошке», клюквенной настойке из графина, к розановскому «чаю с вареньем» вместо Чернышевского, то стоит ли ради этой литературы жить? Как все великолепно виделось из провинции и каким позором и бессмыслицей все обернулось в «центре»!

Но логика солдатского вопроса продолжает тащить нашего героя дальше. Если бог русской литературы не обнаружен, то остается два пути: либо поверить, что он куда-то ушел, оставив разрушенное святилище (и тогда следует признать потрясающую неудачу всего своего дела), либо сделать сугубо научный и гносеологический вывод – да и не было тут никаких богов! Значит, литература проста, ее легко разложить по полочкам, разъять, как труп, описать ее популярную механику и обучить литературному делу кого угодно, хоть бы и ту самую философскую обезьяну, печатающую сонеты Шекспира. И, естественно, как психически вполне здоровый

человек, наш поэт выбирает именно второй путь, ведь это оправдывает его борьбу. А вместе с ним и вся советская литература делает тот же выбор... Литература окончательно превращается в учреждение. Все, что происходило потом – лишь вялые попытки литераторов и всего общества выйти из накатанной колеи. Первым человеком, кому это удалось, был Владимир Высоцкий (но это уже другая история).

Однако при всем желании мы не можем назвать Багрицкого творцом советского «мифа о литературе», того странного, крайне противоречивого отношения к знанию и культуре, которое царило в общественной атмосфере СССР. Этого дела поэту не припишешь. Странная убежденность советского человека в двух совершенно противоположных вещах – что писатель превосходит обывателя, а должность эта почетна, но при этом в реальной жизни писателя надо бить по морде, чтобы не выпендривался – происходит, понятно, не от Багрицкого. Но такая идея могла родиться только в 20-е гг. Более того, это очень напоминает бытовое отношение русского крестьянина к «жиду» и к горожанину вообще (что многое объясняет на уровне чистых инстинктов). Вот так было задано все дальнейшее советское бытие.

Опять же, посмотрим на этот процесс с «социологической» точки зрения. «Титульная нация» России своей контр-культуры (и контр-элиты) не имела. Ее национальная культура была «страшно далека от народа» и погибла под ударами войн и революций. Культура «пришельцев» для титульной нации была откровенно чужда, и она отгородилась от нее «советским мифом», который так подробно и всесторонне проанализировал, сам того не желая, Д. Е. Галковский в «Бесконечном тупике». А «пришельцы» были удивлены не менее. Они рассчитывали встретить культурную среду, читателей и почитателей, радостно приветствующую новых творцов (если бы у них были танки, то они потребовали бы цветов на броню). Но если старая «элита» была далека от народа, то новая поначалу оказалась еще дальше. Единственным реальным и положительным отличием новых хозяев русской культуры было то, что они всерьез «пошли в народ». Им удалось добиться того, что давно требовалось стране: всеобщей относительной грамотности, превращения ее в индустриально-аграрную (болото «русской деревни» удалось частично осушить, хотя методы не могут у нас вызывать даже малейшего сочувствия). И результат таков: именно «новороссийской» и «западнорусской» культурой сформирован нынешний постсоветский человек, тот самый активный деятель РФ после 1991 г. Да, это, как правило, вор и мошенник, прямой потомок Бендера... Но это все же лучше, чем кровопийца.

Однако в начале 30-х гг. все это не могло присниться никому даже в страшном сне. А истерика Багрицкого, меж тем, все нарастает. И вот – мы уже приплыли! – описывается явление Феликса Дзержинского с его максимой: «Солги и убей»... Издевательский, по сути, комментарий Сергея Бондарина об этом этапе жизни поэта:

«В этот поздний период Багрицкому стало доступно то, чего так не хватало ему в молодости,– ощущение значительности своей судьбы,

понимание того, что его биография – это и есть одна из важных тем современности».

Действительно, куда уж важнее – тема многообещающего начала и последующей гибели в пустоте и полной духовной изоляции. Однако Бондарин продолжает свои жестокие записки:

«Молодой человек двадцатых годов почувствовал себя в Багрицком. Тут была выражена духовная работа целого поколения. Поэтому-то лирика Багрицкого и стала лирикой на грани эпоса».

Вот и весь секрет будущего «сталинизма». Я думаю, поколение, которое в 1914 г. мобилизовали на «вторую отечественную войну», а потом шестнадцать лет выламывали за это руки и пинали сапогами, с превеликой радостью должно было встретить «милитариста» Сталина, откровенно поставившего на «покорение Европы». С выбитыми мозгами, забыв обо всем, что вело их когда-то в бой, эти люди, изобразив подобие улыбки на лицах, спешили стать комбатами и комбригами.

А что же Багрицкий? Он заболевает воспалением легких, которого, впрочем, все его окружение прямо-таки садистски дожидалось. Вскоре, 16 февраля 1934 г., наступает и долгожданная смерть. В последний путь поэта провожает эскадрон любимой красной кавалерии.

Честно говоря, Багрицкий просто «поспешил» и «недотянул», если такие выражения здесь допустимы. 1934-й как раз был переломным в советской истории. Не исключено, что вскоре из архивов вытащили бы его «Суворова» и «Полководца», а самого поэта назначили бы основным соловьем Главного штаба РККА. Другое дело, что непрекращающаяся истерика последних 3–4 лет жизни обрекала его на репрессии 1937-го и последующих лет (эту чашу пришлось впоследствии испить его вдове) – могли приписать и троцкизм, и бухаринщину, и шпионаж в пользу Британии. Но, скажем прямо, совсем скоро он пришелся бы к месту, и ему уже не нужно было бы ломаться, признавая распроклятые «чужие знамена» своими. В сорок первом, может, и его юношеские «Славяне» появились бы на первой странице «Красной звезды» или какого-нибудь «идеологически неподцензурного» фронтового листка:

И желчью сырой опоенный,
Трепещет Перун на столбе.
Безумное сердце тевтона,
Громовник, бросаю тебе...
Пылают холмы и овраги,
Зарделись на башнях зубцы,
Проносят червонные стяги
В плащах белоснежных жрецы.
Рычат исступленные трубы,
Рокочут рыдания струн,
Оскалив кровавые зубы,
Хохочет безумный Перун!..

Но он не дожил до этого момента и остался в истории советской литературы стукнутым пыльным мешком «революционным романтиком», чуть ли не стукачом и другом всех чекистов – был у него и свой ангел-хранитель, литературовед от ОГПУ («...а на самом деле он шпик и следователь Чека!»; впрочем, это совсем по другому поводу и не о нем). Какая злая ирония судьбы!

Однако, если Гумилев был слишком широк для русского Киплинга, то Багрицкий тоже был слишком широк для шутовской роли «рапсода пролетарской революции». Именно это его добило. Начиная с момента «идеологической линьки» его литературный путь был попыткой втиснуться в узкие рамки советской поэтической тематики, и он в них, в общем, не пролез, даже сломав себя окончательно, став поэтическим инвалидом. И – удивительное дело! В школьной литературе Багрицкий оказался автором пошлой антирелигиозной агитки о жертвах скарлатины, в мире «патриотов» – русофобом, насильником и карателем, в еврейской культурной среде – «язычником» и «бардом красных комиссаров», а также, как обычно, заодно и «явным антисемитом». Дальше – больше. В конце 40-х гг. ему даже приписали «глумление над украинским народом». И много чего еще можно было услышать. Иными словами, перед нами резюме врага всякой позитивности, «прочности», любых твердых устоев. А был ли он таков? Нет, судя по всему – нет. Но все вокруг было слишком эфемерно, слишком абсурдно и непонятно. С самого детства.

И сразу – все не так,
Все – как не надо:
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево,
И детство шло...

Наоборот, вся поэзия раннего Багрицкого, «доРАППовского» – это попытка обрести то самое «спокойствие сердец», которое каждый раз возвращалось к нему в мечтах. Добиться твердой почвы под ногами, вернуть здоровье... Его участие в революции было возможно только постольку, поскольку он ждал от нее «великого восстановления жизненной полноты». Но этого не произошло, и поэт был тихо растерт жерновами новейшей истории.

Кстати, следующим кандидатом в русские Киплинги стал Константин Симонов, потом – может быть, Станислав Куняев (а в прозе, как известно, Проханов). Вот такова линия, идущая, как ни странно, от «русофоба» и «жида» Багрицкого. Деградация, однако, налицо.

Между тем, упомянутый мной не раз Бондарин умудрился в другом месте, в воспоминаниях об Олеше, наконец совершенно открыто, прямым текстом (!! – книга издана в 1981 г.) высказать, даже «вывалить» все, что он думал по этому поводу:

«Олеша выстроен из мечтаний своего поколения. В детстве он был потрясен зрелищем восковых фигур в паноптикуме, олицетворяющих доблесть, страдания и красоту. И мальчик сам хотел стать героем, красавцем, умирающим с раной в груди, президентом в счастливом государстве… *Но сокрушительно переместилась ось*…

…Те предметы, по которым мальчик, потом студент, привык узнавать мир, перестали быть признаками действительности. *Действительность другая сложилась за пятнадцать лет социальной революции.* Другие вещи явились на смену куклам паноптикума, ветке жасмина, чашке утреннего чая – вещи, в создании которых Олеша, видимо, не участвовал. И вот, смотрите, *связи распались, день начинается и заканчивается, ничего не отложив в душе. Человек нищает.* Олеша, еще желая стать писателем восходящего класса, пишет о чем? *О черном человеке. Мозг занят мыслью о смерти и распаде*»*.

Все это, причем в значительно большей степени, относится и к Багрицкому, который раньше всех «одесситов» сообразил, что он, помогая уничтожить опостылевшую реальность, попал в звенящую пустоту. К которой, однако, следовало привыкнуть. Результаты нам ясны.

Мы не знаем, являлся ли поэту в предсмертном бреду предшественник большевиков, великий пропагандист и организатор, поэт Петр Пильский. Почему бы и нет? Чем эта фигура стилистически ниже Дзержинского? Тем более, что все повернулось именно так, как завещал этот «вечно пьяный циник». Поэты сыграли свою роль и в массовом порядке переквалифицировались в управдомы СП СССР. Поделив хлеб, мясо и чечевичную похлебку, сели в президиумы, в комитеты, в многочисленные кресла всевозможных органов. В СССР начался *литературный процесс*… Дачники поаплодировали, встали и собрались расходиться.

«Но ни шуб, ни домов не оказалось…» (В. Розанов).

Этот случай из истории, частная биография поэта – не просто сказка о великом мошенничестве. Это, если хотите, экзистенциальная притча о прорыве за границы враждебной реальности. Желание вырваться из старого мира, из условностей, уйти от заранее заданных путей – это же рефрен 19 века. Ницше, Маркс, Фрейд… Чем-то следовало закончить затянувшуюся «скучную историю».

Подвернулась война. На нее возлагали все надежды. Вокруг шумела скучная жизнь маленьких человечков, шпаков несчастных. Вспомним:

«Мы вышли вдвоем из Литературки. На соборной колокольне било одиннадцать. В небе вспыхивала и гасла рубиновая реклама «какао Кадбури». Под наркотической луной висела гигантская калоша акционерного общества «Треугольник». Одесса горела крашеными разноцветными лампочками «иллюзионов»… *и вся напоминала большой шикарный иллюзион*»**.

---

* Бондарин С. Указ. соч., с. 357.

** Там же, с. 386.

Все это, конечно, следовало уничтожить ради грядущего возрождения и обновления. Балаган был слишком пошл, а нашим поэтам места в нем вроде бы и не было. Впрочем, их дело было нехитрое – петь песни. Настоящие дела под шумок сделали совсем другие люди. Это уже потом оказалось, что за стенами балагана был лишь сухой горячий ветер, и, собственно, ничего больше… Это потом вулканическая лава «подземной России» затвердела и покрыла землю русской культуры слабопроницаемой коркой… А пока – они шли «громить эстетов» (как выразилась Зинаида Шишова), и этим все было сказано. Выбор у них был: устроиться в пароходную контору приказчиком, помощником к адвокату, редактором в «провинциальную прессу», да мало ли еще кем. Но после Толстого, Герцена и Ченышевского это казалось слишком пошлым. Это не позволяло *выйти за рамки.* Мир литературных иллюзий готовился к последнему броску на царство реальности. Тем более, что там, за стенами балагана, по слухам, ждала иная, в тысячи раз более реальная и полная жизнь. Они были – «дети Марии», если вспомнить того же Киплинга, – вдобавок, было их слишком уж много. И хлынула лава…

Теперь мы, воспитанные такой литературой, читаем многозначительное предисловие Д. Галковского к его «Антологии советской поэзии»:

«Сознательно я не ставил перед собой цели составления подобной антологии. Это произошло само собой. Мой отец на протяжении 15 лет (с конца 40-х по начало 60-х) собирал библиотеку советской поэзии. Потом он это дело забросил, стал сильно пить и умер от рака, прожив всего 50 лет. Психологически мне было очень трудно выбросить 500–600 книг, книг никому не нужных, никчемных, загромождавших полки, но как-то мистически связанных с отцовской жизнью, такой же, в общем, никчемной и всем мешавшей. И я решил, по крайней мере, оставить книги с дарственными надписями авторов и с многочисленными отцовскими пометками. Вот здесь, выуживая их из общей массы, я стал все более внимательно вчитываться и даже вырывать для смеха наиболее понравившееся. Постепенно на столе накопилась целая кипа вырванных листков. Прочитав ее подряд, *я понял, что тут просто и в то же время полно и ярко дана суть советского мира, и, что самое страшное, я вдруг впервые ощутил тот слепящий ветер, который дул отцу в глаза всю жизнь и во многом и свел его в могилу*».

Суть смены русской культурной парадигмы оказалась проста. Сначала на поверхность вылетают наиболее горячие и светящиеся пласты подземной лавы (вот он, пресловутый миф о «романтических двадцатых»!). Они немедленно «задыхаются», охладевают, на них наползают те, что были в самом низу. Потом вся эта масса становится твердокаменной, и лишь через много лет сквозь нее начинают пробиваться первые зеленые ростки. Оказавшись на поверхности, ростки попадают в мир, где давно нет ничего живого, а неумолимый ветер вечной пустыни пытается сжечь и их. Кое-как выживает разве что перекати-поле. Отсюда полная

беззащитность, закомплексованность и потенциальный «номадизм» советской литературы после 1956 г. Отсюда ее основные изобразительные элементы: своеобразная политическая ангажированность (если поэт пишет про слякотную осень, это значит, что ему надоело жить в СССР), независимость течения жизни от человеческих усилий («чуть помедленнее, кони…»), неверие в хороший конец истории, пессимизм и мрачный эсхатологизм («вдоль дороги лес густой с бабами-ягами, а в конце дороги той – плаха с топорами… »), желание слиться с природой, с окружающим пейзажем… А потом – и полное молчание.

Однако в этом культурном мире нам выпало жить. Он не будет изменен уже никогда. Атака на реальность кончилась гибелью реальности. Ее давно нет. Вывод прост и банален: русская литература много лет назад совершила самоубийство. Будучи убеждена, что правильно отражает жизнь, она поставила под ружье своих волонтеров, которые бросились в бой – и оказались совсем не там, где следовало. Их карты не отражали характер местности. Где-то там, наверху, Бог решил наказать русскую литературу за пагубную самонадеянность. Вдруг, как бы невзначай, щелчок переключателя – и вместо Великой Колониальной Империи корсаров и капитанов возникает мутное царство заградотрядов, комсомольцев на картошке и серой тоски. Будем честными, даже все наши герои-одесситы, или почти все, рассчитывали на совсем другую Россию. Но она, как Китеж, в который раз опустилась на дно, исчезла. Да и была ли она? Была и есть, ведь мы-то с вами в ней живем, лишь иногда выплывая на поверхность, чтобы ритуально ужаснуться.

Если же теперь говорить о предполагаемой русской литературной контрэлите, то ей следует формироваться на отрицании этих идеалов разрушения «мифической» реальности и превосходства фантазий над действительностью. Для нас Розанов и его «чай с вареньем» должны стать выше Багрицкого, и, страшно сказать, всех хваленых советских классиков. Новая русская литература, если только она возможна, обязана научиться этому стилю превосходства над собой, над «чувством собственной важности».

Что ж, сегодня истинный мир русской культуры, преображенный взрывом революционного вулкана, стал таким, каким мы его видим. На наше счастье, опыт культурной жизни в полной пустоте оказался весьма полезен. Мы научились этому. У благополучного Запада все, по-видимому, еще впереди. Мы почему-то мечтаем о том, чтобы хоть на миллиметр приблизиться к ним. Но все уже совершилось и завершилось. Следует принять нашу пустыню и не думать о чужих. Как сказал тот самый, так и не повторенный нашими поэтами Редьярд Киплинг:

> Но миру конец, и богатству конец, и земли под ногами нет.
> И ты не найдешь ни кола, ни двора, когда наступит рассвет…

ИСТОРИЯ

ПРИЗРАК ИМПЕРИИ

Слово «империя» в интеллектуальных кругах России неожиданно стало популярным примерно в конце 80-х гг., в разгар так называемой перестройки. Причем популярность эта не менялась в зависимости от политической ориентации публицистов – лишь их оценки были разными. «Демократы» неожиданно установили, что СССР – это «последняя колониальная империя», которая подавляет несчастные завоеванные народы. «Патриоты», наоборот, начали придавать этому слову позитивный оттенок: империя, по их мнению, это великое и прогрессивное образование, объединяющее нации, дающее им общую основу для развития, государство культурного универсализма. В 1991 г., однако, советская «империя» перестала существовать, и для многих превратилась в своего рода ностальгическое воспоминание.

До сих пор этот образ постоянно воспроизводится на страницах прессы, и, судя по всему, общественное мнение склоняется теперь к позитивным, «патриотическим» оценкам. Автора этой статьи, как сторонника «правоконсервативного» направления в политологии (хотя оно в нашей стране представлено крайне слабо), такой подход не может не радовать, однако, к сожалению, сюда примешивается немалая доля тревоги. Дело в том, что, жонглируя понятием «империя», мы оказываемся в опасной сфере, к которой на Западе относятся совершенно определенным образом. Ведь, к примеру, называя себя «фашистом», любой человек в России заранее навлекает на себя гнев даже собственных соотечественников, среди которых еще живы те, кто сражался с германским фашизмом (хотя, если подходить объективно, в муссолиниевском, классическом фашизме, нет ничего особо ужасного, кроме того, что он отвергает идею современной парламентской демократии). То же самое происходит с понятием «империя». К сожалению, на эту тему в нашей публицистике почти нет серьезных *разъяснительных* работ, исключая, пожалуй, некоторые статьи С.Г. Кара-Мурзы в «Нашем современнике», которые, впрочем, многие не будут читать из-за известной «одиозности» этого журнала.

Поэтому я считаю необходимым посвятить эту статью изложению ряда банальных вещей, которые в России почему-то упускаются из виду и, похоже, даже рискуют стать «новостью» для читателя.

Начать придется очень издалека.

I. «Римский архетип»: классическое понятие империи

Империя – латинское слово, означающее, в сущности, просто «власть, господство» или «правление». Реально же под ним понималась власть назначенных центром чиновников, а также консулов и проконсулов, которая осуществляется вне civitas, т.е. вне Рима и его областей, в покоренных провинциях. Imperium Romanum – это сфера, в которой осуществляется каким-либо способом власть римских чиновников. Постепенно этот термин стал означать не только механизм осуществления власти, но и территории, на которых он действовал. А в самом Риме под словом империя в эпоху цезаризма стали понимать все государство, как монолитный организм.

До нашего дня дожил так называемый «римский архетип», то, что в западной политологии считается исчерпывающим определением империи. В него входит несколько основных характеристик власти такого рода (прошу читателя обратить на них особое внимание):

1. Империя – это *власть одного народа над другими*. Вопреки убежденности российских «патриотов» в том, что империя подразумевает культурное и национальное равенство, классические западные политологи в массе своей убеждены, что речь идет о власти **одной и только одной нации**. Приводимый в качестве опровергающего аргумента пример империи Македонского немедленно отбрасывается, поскольку она западными авторами считается «не совсем» империей, своего рода персональной унией, когда царь Македонии, глава греческих полисов, царь Египта и царь царей Персии объединены в одном лице. При этом там нет одной правящей нации, но есть господствующая эллинистическая культура, что, в принципе, приближает восточную деспотию Македонского к имперскому типу, но все же не делает империей.

2. Империя – область, где царит **единая правовая система** (в том числе на территориях покоренных народов).

3. Империя изначально создается с единственной целью – **поддержания мира путем вооруженной силы** (Pax Romana), то есть мир в регионе есть следствие концентрации власти в руках властителей империи.

4. Империя ставит своей целью, в конечном счете, **полное покорение мира.**

5. Империя базируется на некоей мистической идее – весь **политический порядок в ней есть просто отражение божественного, небесного порядка (или некоторой философской системы).**

6. Империя порождает **абсолютизм**, то есть территориальное расширение страны приводит к усилению власти правителей, а это, в свою очередь, в конечном счете приводит к **тирании** *.

Таким образом, произнеся слово «империя», мы принимаем на себя все прочие, зачастую совершенно не соответствующие нашему видению, характеристики, и выглядим, в понятиях европейской политологии, националистами, закосневшими в собственной исключительности, сторонниками решения всех вопросов путем вооруженного вмешательства, нацеленными на покорение мира, мистиками-фундаменталистами, убежденными в правоте своей религиозной системы, абсолютистами и тиранами. В сущности, еще несколько небольших шагов – и хорошо отлаженная машина либеральной мысли вешает на нашего «сторонника империи» стандартный ярлык «фашиста».

Между прочим, указанное понимание империи сложилось под сильным влиянием марксистского анализа и марксистской пропагандистской риторики; так нас опять настигает уже отвергнутый подход к анализу общественных явлений.

А что же США, спросят российские читатели? Разве это не империя в классическом понимании этого слова? Разве политика Штатов – не империалистическая?

Нет. Я вынужден их разочаровать. В хитросплетениях западной политологии нет места для определения американской деятельности на мировой арене, как империалистической. Как бы ни был печален этот факт для нашей международной политики и для наших публицистов.

Чтобы понять, как понимается либералами политика неимпериалистических государств, следует сказать несколько слов о том, как западная, прежде всего леволиберальная, мысль трактует происхождение империи вообще.

II. Греческий «талассократический режим» и возникновение «империи» Александра.

В 1947 г. в Париже вышла классическая работа Ж. де Ромилли «Фукидид», которая до сих пор оказывает определенное влияние на западную политическую мысль*. Хотя многие понятия из этой монографии современной политологией отвергнуты (в частности, политику греческих полисов теперь не принято определять как «империалистическую»), в целом взгляд на эту проблему больших изменений не претерпел. Фукидид, которого у нас до сих пор считают лишь одним из «отцов истории», предстает на страницах этой книги тонким политическим мыслителем и даже трагическим философом уровня Ницше. Именно автору «Пелопонесской войны», по мнению Жаклин де Ромилли, принадлежит подробная разработка всех терминов афинской политики.

Оговорюсь, что ниже нарисованная картина носит чисто политологический характер – историк может ее критиковать, поскольку ряд фактов здесь опущен для создания завершенности картины. Итак…

Фукидид (чем-то напоминая Гераклита) выстраивает подробную философскую систему с совершенно определенными четкими терминами.

---

* Ziolek P. Idea Imperium. Warszawa, PWN, 1997, s. 15–16

* de Romilly J. Thucydide et l'imperialisme athenien. Paris, 1947

В основе человеческой натуры, как он считает, лежит так называемая pleonexia, то есть «желание обладать и постоянно расширять сферу своего обладания». Это важнейшая черта любого человека, наряду со страхом и желанием славы. Однако pleonexia оказывается, по мнению Фукидида, проявлением более глубокой склонности человека – стремления к деятельности (polypragmosyne). Все остальное – это лишь следствия. Человек желает действовать, и этим все сказано. Деятельность есть единственная ценность жизни (в XX веке М. Вебер, не обратив внимания на Фукидида, назвал такую позицию «протестантской этикой»). Цель деятельности, считает Фукидид – подавление и покорение соперника, победа над ним. Ценность в жизни имеет лишь борьба, лишь победоносное соперничество. И в этом состоит свобода человека, достижение которой путем деятельности и составляет смысл жизни. Если человек не побеждает, он подчиняется, и третьего здесь не дано. Ограничивает же человеческую свободу всеобщая для греческого мироощущения идея судьбы, ananke. Высшая цель борьбы человека – победа над судьбой, которая достижима крайне редко, почти никогда.

Так, весьма трагично, Фукидид описывает человеческую жизнь. Здесь нет ничего, кроме борьбы и подчинения, в конечном же счете всегда побеждает смерть. Поэтому деяния человека, даже самые победоносные, представляют собой лишь небольшой эпизод в истории. Человек может впасть в гордость, hybris, поддаться иллюзии собственной славы, но это будет величайшая ошибка. Ибо после этого смерть подводит всему окончательную черту. Задача человека – просто до конца противостоять судьбе и действовать, чтобы не быть сметенным могучим потоком ananke.

Аналогичным же образом Фукидид мыслит о греческих государствах-полисах (как известно читателю из популярных работ А.Ф. Лосева, для греческого мышления весьма часто был характерен антропоморфизм). Таким образом, государство-полис точно так же борется за свою власть над другими, за достижение иллюзорной свободы. Цель полиса – безграничная экспансия и доминация. Однако при этом весьма важной ценностью является полисная организация, то есть демократия. Поэтому полисы не расширяются территориально, иначе демократия становится пустым звуком. Платон, например, даже вычислил идеальное количество жителей полиса – их не должно быть больше 5040.

Итак, империи в греческом мире не получалось по совершенно определенным политическим и психологическим причинам. Зато сложился своего рода «талассократический режим». Афины обладали мощнейшим флотом и, пользуясь этим, установили морскую гегемонию. Афинские колонии (apoikai), в сущности, представляли собой совершенно отдельные, суверенные города-государства, считавшие себя своего рода «вассалами» Афин. Победа в борьбе с остальными полисами была обеспечена именно господством на морях. Однако это была не настолько жестокая доминация – афиняне не уничтожали своих соперников, а навязывали им разного

рода договоры, согласно которым они признавали определенную власть Афин. Так возник Делийский морской союз, призванный оборонять полисы от персидской угрозы. Возник целый ряд специальных институтов и политических понятий.

Участники морского союза, не выставлявшие на войну флот и войско, платили определенную дань (phoros) Афинам. Тем самым афинский флот еще более укреплялся (помимо Афин, флот имели только Лесбос и Хиос). На территории союзных полисов афиняне создавали так называемые «клерухии», то есть своего рода небольшие колонии из своих граждан, существовавшие за счет местного населения. В бунтующие полисы, в случае необходимости, вводились афинские войска. При этом в каждом полисе существовала и группа местных жителей (proxenia), проводившая в жизнь афинские интересы. Назначались также episkopoi, то есть прямые представители Афин, которые обеспечивали протекторат центральной власти и собирали phoros.

Сразу задам наивный вопрос читателю: вам это ничего не напоминает? Отвечать я на него не буду. Скажу только, что такой вот талассократический режим не считается имперским по нескольким причинам. Прежде всего, нет речи о господствующей нации – все участники союза принадлежат к числу эллинов. Нет задач покорения мира – все, что находится за границами полисов, считается хаосом, которому следует противостоять, но не более того. Нет и мистической основы для империи, хотя возникает общий (чисто формальный) культ Аполлона Делийского. Тем более нет речи о стремлении к абсолютизму и тирании. Значит, перед нами не империя. Это режим иного рода, основанный на экспансии ради сохранения демократических порядков в полисах.

Основы этого режима таковы: 1) понятие о человеческой природе, подразумевающее присущее любому индивиду понятие обязательной агрессии; 2) понятие справедливости, как власти более сильного над слабыми; 3) управление в рамках так понятой справедливости и в согласии с правилами рассудка.

Однако именно Пелопонесская война оказалась «началом конца» талассократического режима. После нее все войны между греками были запрещены, как преступные. Так возник и начал набирать силу «панэллинизм». Теперь эллины противостояли варварам, не имевшим государства, и азиатам, не имевшим свободы. Греки становились «избранным народом», у которых было и государство, и свобода. Опять же – это вам ничего не напоминает?

А на окраинах афинского мира появилось совершенно новое образование – Македония царя Филиппа. Это было этническое монархическое государство. Демосфен, главный противник Филиппа, считал македонцев полуварварами, которые угрожают греческим свободам своим тираническим режимом. В противоположность ему, Исократ считал Македонию великим арбитром, способным положить конец соперничеству полисов.

Возникло и продолжение этого «промакедонского» настроения. Как думал Исократ, Филиппу следовало стать «соработником» греков, царем македонцев и господином варваров. Поскольку варвары и азиаты от природы являются рабами, их следует покорить и править ими. Но это правление должно быть особой формой власти.

Аристотель, который воспитывал Александра Македонского, считал, что для эллинов и для варваров формы правления должны быть разными. Неограниченную власть над прирожденными рабами (варварскими народами) он считал совершенно нормальной, но осуществлять ее должны были эллины, как избранные дети свободы. Рабов он считал живыми вещами. Эврипид в трагедии «Ифигения в Авлиде» выражает эту мысль прямо: «И грекам варварами править надлежит,/Они рабы, а мы свободны от рожденья». Аристотель, в интерпретации де Ромилли, оказывается идеологом своеобразного греческого национализма и империализма (подобно тому, как Платона в последние 100–150 лет принято считать отцом тоталитаризма). Персы-азиаты были провозглашены прирожденными рабами эллинов, и поэтому их следовало покорить.

На основе этих политических идей греческий талассократический режим переродился в «как бы» империалистический (это весьма условное понятие).

Чтобы проиллюстрировать способ мышления «талассократов», процитирую Раймона Арона:

«Клемансо желал достичь безопасности и в 1918 г. стремился лишь к тому, чтобы уберечь Францию от повторения столь же жестокой войны… Наполеон, по крайней мере, с определенного момента, мечтал править Европой: его уже не устраивало повсеместное признание в качестве великого вождя… Его амбиции касаются реальности, а не мечтаний; он понимал, что ни одно государство не сможет долго царить над иными, если у него нет возможностей для обеспечения первенства. Людовик XIV хотел быть признанным наипервейшим правителем и пользовался силой, покоряя города; после этого он строил в них фортификационные сооружения, и это полусимволическое действие было лишь одним из способов демонстрации силы. Он не видел Францию государством, которое чрезмерно разрослось бы [в результате войн]. Он мечтал лишь о том, чтобы его имя и имя Франции вызывали восхищение…» *

Таким образом, талассократический подход никогда не подразумевает захват территорий, только установление гегемонии в международных, торговых, экономических отношениях. Государство-гегемон должно обладать чем-то, чего нет у других: флотом, военной силой, идеальной экономикой… Это и обеспечивает мир в сфере влияния гегемона.

Талассократия, насколько можно понять, вовсе не обязательно связана с «конкретным» морем. Речь идет попросту о связях между демократическими «полисами», расположенными далеко друг от друга. «Море» – вообще

* Aron R. Paix et guerre enter les nations, Paris, 1975, p. 84

любое пространство и даже «среда», «сфера», в которой и осуществляется господство полиса-гегемона (например, сфера экономических отношений, сфера потребления и т. п.). Афинская гегемония не создавала имперских институций и не могла их создать – но целью ее деятельности была сеть юридических и иных связей между нею и более слабыми полисами, дабы сохранить безопасность и власть. Это эгоистическая и эгоцентристская политика, направленная на приведение мира в соответствие с «внутренней человеческой природой».

Но по ряду причин подобная система может переродиться в империалистическую. Что и произошло в эпоху Александра. Македонский царь возглавил Коринфский союз, руководствуясь идеями панэллинизма. Возникла, помимо идеи о рабской натуре варваров, еще одна очень хорошо известная нам идея – идея «потенциального владения», dorykteta chora, то, что можно назвать «жизненным пространством». Это – земли Малой Азии и вообще вся Азия, как страна потенциальных рабов Греции.

Новое государство, которое создал Александр Македонский, базировалось на территориальной структуре, что очень важно (раньше основой государства были гражданство, как в полисах, или этническая принадлежность, как в Македонии). Это была явно империалистическая черта.

Но, однако, единственным объединяющим элементом монархии Александра была его персона. Сама же «империя» казалась хаотической мозаикой. *Над этим «лоскутным одеялом»* возвышалась фигура Завоевателя, царя Македонии, гегемона и бога Эллады, абсолютного правителя Персии, правителя и бога Египта. Между тем сам Александр не пошел по пути «национализма», к которому его призывал Аристотель – он не сделал завоеванные земли собственностью греков и македонцев. Завоеванные народы не очень-то и понимали, что теперь они объединены в некую общую структуру (собственно говоря, такой структуры и не было): у них был общий царь и не более того. Э. Баркер вообще был убежден, что государство Александра не обладало ни одним из признаков империи и было обычной персональной унией*, только очень большой по охвату территорий, но ничего принципиально в древнем мире не менявшей.

Однако результат этой «унии» был достаточно эффективен. Произошла эллинизация высших слоев завоеванных стран, что и привело ко всем последующим событиям европейской истории, породило основные принципы западного мышления.

Тем не менее «программа Аристотеля», как я уже сказал, выполнена не была – и господствующего народа в царстве Александра не было. Поэтому западная политология трактует государство Македонского как некую разновидность восточной деспотии, где царь был единым источником права и власти. Не было здесь и никакой сложной иерархии.

* Barker E. From Alexander to Constantine. Passages and Documents Illustrating the History of Social and Political Ideas 336 B.C – A. D.337. Cambridge, 1956, p.17

Результатом такого подхода стал стремительный распад царства Македонского – после так называемых войн диадохов Македония стала отдельной страной, государства Селевкидов и Птолемеев сохранили азиатские формы власти, а греки, расселившиеся по всей огромной территории, вновь вернулись к полисной структуре, создав мелкие автономии (! – обратим на это особое внимание).

Тем не менее, нечто «имперское» Александр Македонский все же создал. Именно его политический опыт обусловил то последующее колоссальное напряжение, с которым действовали «объединители мира» во всей европейской истории. Выражая это настроение, Плутарх писал:

«Если бы божество, пославшее Александра, не столь быстро забрало бы его душу, то у всех людей были бы единые законы, над всеми царило бы единое правосудие, а теперь та часть земли, которая не видела Александра, осталась без солнца» (Сравнительные жизнеописания, I, 6, 329 А-С)

Между прочим, под частью земли, «оставшейся без солнца», Плутарх подразумевал Западную Европу.

Именно царство Александра породило само понятие «ойкумена» («вселенная»; правда, в последние десятилетия этот термин стал скорее «космическим»), ныне вполне понятное любому школьнику. И «экуменическое мышление», в отличие от «талассократического», не ограничивается простым навязыванием гегемонии своим соперникам. Теперь речь идет о том, чтобы владеть побежденными, вводить на их территориях собственные законы. «Экуменическое» мышление предполагает создание географической целостности мира (в отличие от более поздней идеи «универсализма», как установления на всей Земле единого духовного порядка; эта идея наиболее присуща традиционному католицизму).

И вдобавок, Александр, не будучи классическим императором, оказался прародителем идеи политического объединения человечества. «Национализм» Аристотеля не был реализован, победила этническая, культурная и религиозная терпимость, отчасти свойственная афинским «талассократам».

Итак, царство Александра было компромиссом между рождающейся идеей империи и традиционной «талассократией», сочетало в себе черты полисной организации и восточной деспотии. Тем самым, Александр Македонский не воспринимается в качестве настоящего императора. В дальнейшем мы поймем, почему это происходит и с какой целью делается.

III. Римский опыт империи и последующие политические проекты.

а) Римская империя

Понятие imperium в Риме первоначально применялось для обозначения права отдавать приказы, но впоследствии потеряло широкий смысл и стало относиться только к возможностям осуществления высшей власти

государства. В сущности, это было просто-напросто право отдавать высшие указания, и приписывать ему какой-либо мистический смысл не стоит. Этот термин применялся как к власти этрусских царей, так и к высшим чиновникам республики, а затем и собственно к императорской власти. Власть царей делегировалась разновидностям народных собраний – comitia curiata. Царь имел право полной власти в делах религии, международной политики, ведения войн и в судебной сфере.

Республика отдала право imperium в руки двух консулов. В исключительных случаях это право получали диктаторы, трибуны, руководители всадничества, а иногда и обычные граждане, получавшие от республики специальные полномочия. В поздней республике право сие получили проконсулы и пропреторы. Тут-то и началась серьезная эволюция термина.

Иными словами, слово «империя» стало означать власть римских чиновников в провинциях и, впоследствии, всю территориальную сферу Рима. Таким образом, возникло два смысла понятия «империя» в европейской культуре: 1) верховная власть чиновников в провинции; 2) огромная территория, заселенная многими народами, но подчиняющаяся единому центру. Второй смысл, скорее, характерен для мыслителей-универсалистов из среды покоренных народов. Иными словами, оправдание империи, как предполагается, исходит из среды наций, не являющихся в империи господствующими.

Сделаем небольшое отступление. В XVIII веке французский языковед Г. Жерар описывал империю, как «огромное государство, состоящее из множества народов», в отличие от королевской власти, опирающейся на единый народ*. Отсюда идет ложное противопоставление многонациональной империи и национального («буржуазного») государства. На самом деле, как совершенно справедливо отметил российский публицист К. Крылов, Империя всегда противостоит только талассократической Диаспоре. Национальное государство представляет собой промежуточную форму, своего рода компромисс между Империей и Талассократией. Не желая распасться на диаспоры, нация проводит имперскую политику. Национальное же государство не является стойким образованием, каким бы парадоксальным ни казалось это утверждение. Дело в том, что для устойчивости национальное государство должно стремиться к самоизоляции, но этот метод сегодня в мире осужден. Национальное государство в мире, где господствуют принципы свободного товарообмена и перемещения экономических факторов, быстро становится чистой фикцией. Достаточно посмотреть на показатели экономической миграции, на роль «гастарбайтерства» и нелегальной рабочей силы в современной западной экономике, чтобы понять, что национальные государства превращаются в центры национальных диаспор. За исключением стран, где царит «фундаментализм», «великоханьский шовинизм» (впрочем, это весьма сомнительное

* Le concept d'Empire, red. M. Duverger, Paris, 1975, p.4

исключение, имеющее ценность лишь для закоснелых читателей газеты «Дуэль») и прочие антилиберальные идеи.

Так вот, римская империя была, в сущности, «взбесившейся диаспорой». Она делилась на две сферы: domi и militiae, или, как говорили в других случаях, urbs и ager. Urbs имело священное значение, в отличие от ager, что выражалось в специфических религиозных законах – в городе нельзя было хоронить мертвых, нельзя впускать в город воюющую, «кровоточащую» армию (за исключением триумфальных шествий). Внутри Римской империи эти две сферы ограничивались особой чертой – pomerium. Империя содержала две части, священную и профаническую. Профаническая часть делилась на ager peregrinus, т. е. земли, завоеванные Римом, и ager hosticus, земли, лежащие за границами империи.

Над всем этим царил иной философский принцип, нежели у греков. Римляне не считали войну «матерью всего сущего», и нормальным состоянием признавали мир. Чтобы объявить войну, требовался формальный повод, и то лишь после того, когда все средства решить дело миром были исчерпаны. Таким образом, любая война римлян делалась в результате справедливой и даже «священной». Понятие справедливой войны стало одним из важнейших понятий, которое было внесено римлянами в арсенал интеллектуальных оправданий империализма.

Народ, ведущий справедливую войну, имел право на введение абсолютной власти над побежденным противником; таким образом, уничтожение вражеского хозяйства, обращение побежденных в рабство были естественными следствиями ведения справедливой войны. Однако в этом «праве войны» были существеннейшие ограничения. Нельзя было уничтожать святыни противника, изображения богов, места погребений, всего, что относится к сакральной сфере, осуждались насилие и изуверство, а также многократное разграбление одного и того же города.

«Право войны» позволяло вести войну только с теми, кто обладает равными силами и желает войны. В противном случае понятие «священной войны» не действует – это простое насилие. Победа в священной войне есть дар богов. Боги посылают победу тому, кто прав. В конечном счете, война есть проявление деятельности богов с целью восстановления мировой справедливости. И, продолжая эту логику, становится ясно, почему почти все военно-стратегические вопросы оказываются в ведении жрецов.

Мы видим, что римляне, если они руководствуются собственными законами, не являются агрессивным народом. Всех их войны – это оборона от агрессора. Расширение империи происходит с единственной целью: чтобы укрепить мир, уничтожив источники, откуда исходит агрессия, распространив на них римскую цивилизацию.

Поначалу разница между жителями различных территорий Рима состояла в полноте их гражданских и публичных прав. Жители Рима и латинских колоний имели право голоса в римских трибах (таких триб было создано 35, и после 241 г. до н. э. всех новых граждан приписывали к уже

существующим трибам). Имели они и право исполнения функций в римской магистратуре. При этом они были обязаны платить налоги и выставлять солдат в случае войны. Однако при этом колонии сохраняли внутреннюю автономию (избранную на местах власть, валюту, местные культы, местный язык). В колонии время от времени наезжали чиновники из Рима (квесторы и префекты), которые следили за исполнением городами обязанностей в «общем деле», республике.

Были и города, где сохранялись только гражданские права, но отсутствовали публичные (прежде всего, право власти в Риме). Помимо этих категорий, имелись союзники Рима, связанные с ним договорами, которые не платили налогов, но помогали формировать армию. Рим ограничивал их право на торговлю и внешнюю политику.

В принципе, римское право и в этой области является разработанным до самых невероятных тонкостей. Вдобавок это право менялось с расширением империи. Поэтому полное изложение эволюции его понятий в этой сфере заняло бы немало страниц.

Скажем только, что Рим, в отличие от империи Александра, опирался на правящую нацию, на так называемый populus Romanus. Этот народ и обладал правом imperium в провинциях, назначая туда своих наместников. Тем не менее, надо понимать, что римский народ – не этническая группа, а просто люди, имеющие одинаковые гражданские права, что особенно важно (политологи этот факт часто стараются не акцентировать). В populus Romanus в конечном счете вошли представители элит завоеванных народов. Так возникала новая цивилизация.

Для этой цивилизации, прежде всего, было характерно определенное *единообразие жизненных форм*. Главная цель расширения римской империи – достижение состояния, которое называется homonoia, т. е. братство всех людей и единство мира под одной властью, одинаково трактующей всех подданых. При этом резкое разделение на «свое» и «чужое», характерное для греческой талассократии, стирается. «Свое» – это лишь то, что обладает формально-юридическими признаками «своего» (например, в современном мире понятие «национальность» в целом отмерло, и немцами считаются все, кто имеет немецкие паспорта, независимо от их языковой, культурной и религиозной принадлежности; это одно из ценнейших достижений именно римского взгляда на мир).

С точки зрения Рима, единство мира под его властью есть естественная черта, все *остальное – от лукавого, все остальное – болезнь, аберрация*, извращение. Но Рим не захватывает мир насильно, он расширяется путем самооообороны, неся народам новую, более совершенную цивилизацию, просвещая их и превращая в своих друзей (clementia).

Все, что делал Рим, имело в понимании его элиты глубоко мистический характер. Погружение вселенной в вечный мир, и, даже, если вспомнить Вергилия, достижение утраченного идеала первоначального райского существования – вот цель римской экспансии. Полибий развил теорию

расширения римского государства, как естественного процесса превращения мира в вечное царство справедливости. Все идеи вроде «несения благ цивилизации непросвещенным народам» родились именно в римскую эпоху.

Итак, *ограниченный, формально-юридически обоснованный экспансионизм в качестве цели исторического развития.* Такова главная римская идея. Правление одной нации, в нашем понимании, сводится к тому, что во главе империи, в конечном счете, оказывается интернациональная элита (прежде всего, военная). Национальность определяется гражданством. Тем самым рушится старая греческая идея «избранности».

Рим перестраивает мировой пейзаж, делает его единообразным и понятным. Но!.. Обратим особое внимание на то, что, в конечном счете, римская форма власти в чем-то все же остается замаскированной талассократией. Как будто существует некий тайный план обороны – в случае бунта провинций римские органы власти на местах, римские гарнизоны оказываются не чем иным, как *полисами* в бушующем море варварства, превращаются в окруженные огнем острова. Вся история Римской империи, в сущности, – борьба узконациональной имперской идеи, талассократии, с интернационально-элитарной, кастовой, теллурократической идеей «одухотворенных пространств». И в конечном счете победила талассократия. Рим развалился. Единственное, что осталось – христианство, появившееся именно как обоснование интернационал-элитарности (в данном случае меня интересует только политический смысл учения христиан), как преодоление и сведение к ничто «национальной избранности». Противостояние языческого национализма и универсализма было главной интеллектуальной болезнью империи, и только этим объясним колоссальный успех «маленькой еврейской секты», которая вдруг дала простой, но идеальный ответ на все тайные римские вопросы. Так рождается концепция «удерживающего», империи универсализма, не дающей народам погрузиться в хтонические глубины крови и почвы, в рев и топот языческих зверей, отдаляющей конец света. То, что эта концепция носит двойственный характер, вряд ли надо специально упоминать.

б) христианский универсализм

По мнению западных политологов, христианство не внесло чего-либо принципиально нового в интеллектуальные обоснования имперского строя, за исключением разве что тотального универсализма. Точно так же Августин и Фома Аквинский обосновывают справедливую войну в целях обороны от язычников и еретиков. Отсюда вырастает концепция крестовых походов – уже в 629 г. император Ираклий совершает подобный поход против персов, захвативших Иерусалим*.

В отличие от имперской идеи ислама (захват земель язычников – высказанная прямым текстом заповедь пророка), христианство считает войну

* Runciman S. The History of Crusades. New York, 1981

несомненным *злом. Существование исламского или языческого царства,* как считали христиане, не является само по себе чем-то «плохим». Главное, чтобы оно соблюдало правила мирной жизни. Таким образом, для христианства характерен лишь весьма умеренный экспансионизм, вполне римский по духу.

Помимо того, что империя, с точки зрения христиан – главная основа мира между народами, важным моментом является ставшая очень популярной в последние годы концепция «удерживающего». Империя, по мнению христианских мыслителей, продлевает существование мира. Покуда она стоит, будет жить и человечество. По мнению, например, Тертуллиана («Апология»), возможно только два состояния – империя либо «война всех против всех», чуждая самому духу христианства.

В 380 г. император Феодосий сделал христианство государственной религией Римской империи. Евсевий Кесарийский в это время прямо связывает миссию Христа и создание империи Августа, как два явления одного плана. Этот мыслитель считал, что главным несчастьем мира было его «разделение», так называемая полиархия, религиозно проявлявшаяся в политеизме, а политически – в бесконечных войнах. Империя впервые создает формы для торжества единой истинной религии, не разделяющей, а объединяющей народы. Таким образом, империя становится не только формально-юридическим, но и религиозным объединением. Люди империи не только обладают некоторыми общими правовыми характеристиками, но и составляют одну религиозную общину, то есть исповедуют единую истинную веру, и тем самым еще сильнее противопоставляются «внешнему миру» – теперь не просто «варварскому», а еще и «языческому», антихристианскому. Политеизм, по Евсевию, в конечном счете сводится к атеизму (поскольку Бог един, то поклонение любым иным богам есть Его прямое отрицание). Итак, религиозная империя противостоит атеистическому внешнему миру.

Если до возникновения христианства Рим в религиозном смысле объединяло общее поклонение всех граждан личности императора, то теперь оказалось, что империя есть просто отражение верховного, божественного миропорядка. Император – властитель по милости Бога, он должен править империей так, как правит всем видимым миром сам Бог. Император – наивысший представитель Бога на земле, который возглавляет церковь и государство («цезаропапизм»). Впоследствии эта идея была полностью усвоена православием, а на Западе, как известно, произошли существенные изменения.

в) средневековые имперские тенденции

В отличие от Евсевия, Августин в своем понимании ситуации выразил *колоссальную трагедию, связанную с падением Западной Римской империи.* Трактат «О граде Божием», суть которого я здесь пересказывать не буду, поскольку, думаю, читатель с ним знаком хотя бы в кратком изложении,

навсегда сформулировал главную тенденцию западного мышления: политические формы универсализма не имеют значения, главное – духовное единство. Августин пришел к совершенно иным выводам, нежели Евсевий; он считал, что империя не уменьшала числа войн, ни в коей мере не способствовала евангелизации мира и вообщее ее опыт был скорее неудачным. По мнению Августина, для христианства было бы намного лучше, если бы в мире существовало много мелких национальных государств, над которыми возвышалась бы единая религиозная структура – церковь. Конечно, идеология Августина имела совершенно четкие задачи, связанные с оправданием дальнейшего существования римской апостольской кафедры перед лицом распада империи, но дело не в этом. Данная тенденция стала одной из главных в западном мышлении.

И действительно, главным следствием идей Августина стал отказ от идей цезаропапизма. Когда в IX в. папство и Каролинги попытались осуществить так называемое renovatio imperii romanorum (восстановление римской империи), уже не шло речи о совмещении ролей императора и главы церкви. Империя рассматривалась только как очередное, пусть очень большое и многонациональное, однако совершенно обыкновенное государство, *над* которым простирается еще более высокая духовная власть римских пап.

Итак, разница между западным и восточным пониманием империи состояла, в сущности, в очень простой вещи. Запад заранее предусматривал возможность гибели любых политических образований под папской эгидой. При этом всегда можно было сказать, что ничего существенного не произошло – просто одна форма сменила другую, а суть дела осталась прежней, так как духовная власть продолжает существовать. Тем самым достигалась, если можно так выразиться, иллюзия вечности. Западный мир стоит до тех пор, пока существует его духовная основа, а это вещь чрезвычайно трудноуловимая и гибкая. Отметим, кстати, что впоследствии создание такой классической колониальной империи, как Британская, произошло на основе некоторого рода возврата к «цезаропапизму».

Восток же связал себя политическими формами, и поэтому падение империи здесь всегда воспринималось, как всеобщая гибель, поскольку одновременно ниспровергался и высший духовный авторитет, происходило своего рода «поругание Бога». Политическая и духовная власть в нашем сознании практически не отделены друг от друга, поэтому так болезненно переживается возникновение в России в 90-е гг. XX века некоего «псевдозападного» государства, где эти сферы полностью разделены. Тем не менее опыт жизни в такой системе кажется мне весьма полезным – почти ежедневно мы получаем мощнейшие уроки относительно своего отличия от Запада, который для советского человека долгие годы был «путеводной звездóй», и эти уроки запомнятся на столетия.

Падение СССР точно так же было болезненным, поскольку эта империя претендовала на высшую духовную власть, пусть и крайне извращенную

(«партия» как духовный лидер). Постсоветскому человеку трудно привыкнуть к тому, что, согласно западным стандартам, политические формы не имеют отношения к духовной жизни, что ее следует искать в многочисленных религиозных организациях, философских и литературных клубах, масонских ложах и т. п. общественных образованиях.

Однако вернемся к средневековым империям. Торжествовали четыре совершенно различные концепции: папская, восточноримская, франко-германская и итало-римская. По сути, все это совершенно разные подходы, которые многие наши горе-теоретики имперского подхода любят смешивать, валить в одну кучу и отождествлять.

Папская концепция империи базировалась на двух идеях: духовного первенства пап и «трансляции» ими духа светской Римской империи на западные страны. Папы – первые среди епископов, впоследствии, с появлением Священной римской империи, изо всех сил добиваются власти и над ее императором. Императорская власть в данном случае – не суверенная власть, а лишь титул, который дан папой христианскому королю, которого сам папа и выбрал из числа прочих.

Конечно, имелась и попытка возродить империю в ее классическом, римском духе. Император Оттон III перевез свой двор в Рим, пытаясь подорвать власть пап над Италией. Он провозгласил себя «слугой Христа», что устраняло право пап на посредничество между Богом и людьми и сводило их роль к чему-то похожему на роль константинопольских патриархов. Возродились и старые имперские традиции войны за безопасность, что привело к крестовым походам. Однако о мировом владычестве нигде не было и речи.

Франко-германская традиция утверждает, что императорская власть происходит непосредственно от Бога (императора выбирали) и что монополию на такую власть имеют лишь германские короли. При этом создается определенная проблема – император оказывается королем конкретного небольшого государства, и соотношение между императорской и королевской властью постоянно приводит к сложным ситуациям. Как ответ на такое положение, развивается своего рода всегерманский «протонационализм».

Итало-римская концепция предполагала выборы императоров сенатом Рима без участия пап и германских королей. Таким образом, протест против папской доминации и национализм здесь развились особенно сильно, что отразилось, в частности, в сочинениях Маккиавели.

Концептуальным итогом Средневековья на Западе стало то, что появилась принципиальная возможность осуществления универсализма без империи (через духовную власть). Империя, конечно, допускалась, как явление, но вовсе не пользовалась безусловной поддержкой духовной власти.

На Востоке, в связи с гибелью Византии в 1453 г., имперская идея застыла на уже сложившемся уровне и дальнейшего развития не получила (хотя и могла).

Итак, конец средних веков привел к *полному различию восточных и западных понятий об империях*. Если в западную традицию мощным потоком вливались национализм и светскость, то на Востоке, наоборот, культивировалась идея абсолютного универсализма на ортодоксально-религиозной основе. Восточная традиция вычеркивала из понятия империи и светскость, и национализм, что впоследствии почти автоматически привело к появлению советской «империи» (претендовавшей на абсолютный универсализм, построенный на идеологической основе; главной же причиной такого развития стал упадок христианской ортодоксальности к концу XIX в. – и поэтому светские тенденции получили в результате в России характер «новой религиозности»).

г) колониальный империализм

На исходе Средневековья на основе совмещения универсально-христианских и национал-экспансионистских тенденций стали возникать мощные образования – колониальные империи, такие, как испанская, португальская, французская и британская. При некоторых допущениях сюда можно отнести и Российскую империю. Распадаясь, эти империи породили гигантские государства – США, Канаду, Австралию, Бразилию, Мексику.

В создании таких империй светско-националистические тенденции проявились в полной мере. Колонии, в отличие от римской традиции, не становились частью метрополии – они были ее «собственностью». Жители метрополии и колоний имели разные права, были людьми «разного сорта». Правда, постепенно метрополии начинали проводить совершенно «римскую» политику – направленную на ассимиляцию завоеванных народов (Франция); правда, был и вариант «греческой» политики – предоставление колониальным народам самоуправления внутри империи (Британия).

Однако и в данном случае не было стремления к созданию всемирных империй. Никто не стремился завоевать всю «ойкумену». Тем не менее столкновение европейцев с жителями других континентов породило к началу XIX в. понятие о *расах*. А это полностью возрождало идеи полисных времен о превосходстве эллина над варваром, и националистические тенденции в европейском имперском строительстве начали преобладать. Главным же итогом колониальных империй стало такое понятие, как глобальная (мировая) *политика*.

д) неоуниверсализм

Французская революция породила дух неоуниверсализма, который стал последним идеологическим обоснованием строительства империй. После 1789 г. в этом смысле последовательно возникло три образования такого рода: империя Наполеона, советская псевдоимперия и «новый мировой порядок». Важно, что все эти образования ставили во главу

угла распространение некоей универсальной доктрины – «прав человека и гражданина», социализма, либеральной экономической модели вкупе с демократическим устройством.

Империя Наполеона была уничтожена извне путем военного вмешательства государств, не желающих изменять свои архаичные политические системы. СССР, который был, по сути дела, всего лишь оболочкой для экспорта мировой революции, пережил полное банкротство уже в ту самую минуту, когда его вожди от этого экспорта отказались. Совмещение чисто национальной политики с социалистическими доктринами, к которым перешел правящий класс СССР после смерти Сталина, мог привести только к краху этого государства, так как оно теряло идеологическую легитимность и превращалось в империю иного типа, в чем-то подобную фашистской Германии.

Говоря о неоуниверсализме, нужно обязательно написать о США, но мы это сделаем в отдельном разделе. Отметим также, что помимо указанных опытов, был еще один – опыт фашистских государств.

е) абортивные имперские проекты: фашизм и национал-социализм

В последние годы неуемная апология фашистских Германии и Италии стала общим местом в книгах наших продвинутых «патриотов» – их называют чуть ли не идеальными империями. Не говоря о чисто «дискурсивной» опасности таких упражнений для психики авторов, следует указать и на полную провальность, абортивность всех имперских проектов фашистского типа. Это была попытка совмещения неоуниверсализма с колониализмом, противоречивая в самой своей основе. Именно поэтому фашизм потерпел идеологическом поражение (мы в данном случае не рассматриваем геополитические и иные ошибки фашистов: нападение на СССР, исход которого был, в целом, предопределен с самого начала, конфликт с США, военный потенциал которых был неизмеримо выше, и т. п. Ограничившись центральной Европой и Балканами, фашистский режим продержался бы существенно дольше). В любом случае, расизм и агрессивный национализм не могли не вызвать неприятие у других народов – даже при всей привлекательности гитлеровских идей «социального мира» для населения. Просто колониальной империей Германия быть не могла, а проводить в жизнь исключительно неоуниверсалистскую политику не желала. Все это вместе стало залогом ее поражения и великим уроком для всех тех, кто в нашу эпоху пытается еще возрождать национал-социалистские проекты. Национализм и социализм классического типа потерпели историческое поражение. Это отнюдь не означает, что либерализму нет экономических альтернатив – но мы можем, однако, твердо говорить, что национал-социализм такой альтернативой не является, поскольку он заранее обрекает своих сторонников на поражение.

ж) «новый мировой порядок»

Пройдя через целый ряд имперских форм, современный мир вернулся к исходной точке своего развития – *талассократической системе демократических государств-полисов*. Нынешняя мировая политическая система почти до мелочей воспроизводит эту картину. Существует доминирующее государство – Соединенные Штаты, существует союз демократических государств, разделяющих общие ценности и действующий сообща, существуют «варвары», то есть страны с нелиберальной экономикой и недемократическими режимами, которые представляют собой периферию демократического мира и поле для военных и иных акций демократий. Говорить о США, как об империи, мы можем с очень большой натяжкой – эта страна не воспроизводит черт «римского архетипа», не ведет колониальной политики и не присоединяет территории. Речь идет лишь о распространении неоуниверсалистской доктрины, то есть о превращении всего мира в либерально-демократическое «торговое пространство». Штаты апеллируют к экономическим инстинктам человека, и это оказывается намного сильнее любых имперских идеалов. Как известно, на информационном поле любая примитивная массовая доктрина всегда оказывается сильнее сложной, но доступной лишь немногим концепции. Поэтому противостояние американскому идеологическому влиянию в настоящее время мы должны признать непосильной задачей (каким бы пораженческим не казался этот вывод). Невозможно даже на «партизанском» уровне противостоять стране, располагающей мощнейшей сетью СМИ, лучшей в мире научной базой и концентрирующей львиную долю мировых денежных и финансовых ресурсов.

Несомненно, системе, построенной в демократических «полисах», грозит финансовый крах. Но это еще не значит, что он произойдет прямо завтра – и рассчитывать на него крайне глупо. Вдобавок, история нам показывает, что талассократия может со временем переродиться в империю. Более того, этот вариант развития современной демократической системы НМП более, чем вероятен. И Россия может найти свое место, лишь осторожно следуя в фарватере так называемых «демократии и либерализма». Естественно, решая свои национальные проблемы – прагматично, продуманно и, желательно, очень быстро.

IV. Между «восточной империей» и «новой Македонией». Русская дилемма

Тем не менее вопрос об «империи» в России в последние годы стал популярен. Отчасти это следствие ностальгии по СССР, отчасти – некая новая тенденция, которую нам пытаются навязать извне. Кто, почему и зачем? На этот вопрос мы попытаемся ответить.

а) «империя» как проект восточного неоколониализма

К сожалению, после грандиозного краха советского неоуниверсалистского проекта Россия не смогла получить даже нескольких лет на отдых и «сосредоточение». И война за вовлечение ее в сферу влияния той или иной банды мировых политических игроков развернулась с полной силой.

Сразу скажем, что как «союзник» и как «ядерная держава» нынешняя Россия никому особо не нужна. Страна, большую часть экспорта которой составляет необработанное сырье, имеющая долю в мировой торговле менее 2 % (имея территорию, занимающую свыше 10 % мировой суши!), великой называться не может (разве что в каком-то неуловимом духовном смысле – мол, несмотря на жуткую бедность, мы еще живы и даже веселы; однако подвиги юродства и пустынничества на мировой арене сегодня ценятся крайне невысоко). Однако Россия представляет собой неплохую сырьевую базу для тех, кто нуждается в ресурсах. Кроме того, огромные территории страны вызывают интерес у перенаселенных государств.

Плачевное состояние экономики и политической системы порождает в стране соответствующую идеологию, которую, на наш взгляд, можно назвать «колониальной». То, что Запад не оказал России существенной помощи, бросает часть ее интеллектуальной элиты в угар разработки разного рода проектов превращения страны в колонию восточных государств – Китая, Кавказа или исламского мира. Этими людьми всячески обсасываются *идеи «великой восточной империи»*, противостоящей Западу. Естественно, в таких проектах рисуется светлое будущее русских под имперскими знаменами ислама или в китайском социалистическом раю («китайский путь», идти которым нас время от времени призывают, понятное дело, рассчитан на максимальное сближение экономических систем России и Китая – тогда и сработает эффект «пылесоса», как и в случае с либерализмом), в наилучшем варианте русским предлагается послужить в административных органах великой империи кавказцев или среднеазиатов. Но очевидно, что победа «нового советизма», «китайского пути» или исламского фундаментализма в России просто приведет к ее полной гибели, как национального государства.

На самом деле всем окружающим нас восточным цивилизациям нужны российские ресурсы и территории, судьба же ее жителей их абсолютно не волнует. Превращение страны в колонию поднимающегося Востока быстро приведет к деградации России и к тому, что ее ресурсы будут брошены «евразийской империей» на уничтожение Запада. Русским в данном случае грозит роль пушечного мяса (в лучшем случае).

Тем не менее проект «большой восточной империи» хорошо оплачивается – думается, именно с этим связана даже «раскрутка» бредовых построений Фоменко–Носовского. Более того, такой поворот выгоден и недоброжелателям России на Западе – их вполне устроило бы появление на Востоке Европы неопределенной «Тартарии» вместо независимой России с более-менее прагматичной внешней политикой национальных

интересов. Да и стремление финансовых магнатов втянуть мир в большую войну реализуется в этом случае значительно быстрее.

Издавна больные неизлечимой русофобией политические элиты европейских стран настроены именно на то, чтобы скормить Россию Китаю и исламу в качестве уступки за еще несколько десятилетий сомнительного европейского процветания. Именно поэтому Европа упорно отказывает России в поддержке по чеченскому вопросу и во многих других вещах. Европейские элиты таким образом решают сразу несколько задач: пытаются задобрить исламские страны, свалив всю вину в грядущем противостоянии на Россию; призывая к российско-чеченским переговорам, они толкают Россию на соглашение с исламизмом против Запада, что чревато гибелью прежде всего самой русской нации и других народов, населяющих нашу страну.

Итак, в создании «восточной империи» заинтересованы и Запад, и Восток. Россия же, похоже, в этой системе координат вынуждена будет сыграть роль Чехословакии эпохи Мюнхенского сговора 1938 г.

Таким образом, возможных путей у России сейчас три: вхождение в «восточную империю» с последующим великим поражением от тех же «атлантистов»; сохранение относительно независимой и прагматической внешней политики с учетом всех мировых реалий; полное присоединение к западному блоку со значительными потерями и на правах третьесортного государства, которое сдадут при первом же удобном случае. Меня лично, как, думается, и большинство, устраивает только второе.

б) принципиальная возможность «пути Македонского»

Если вспомнить вышеописанный процесс превращения системы соперничающих полисов в своеобразную протоимперию, связанную личной унией (что произошло в Греции при Македонском), то можно, в принципе, рассчитывать на повторение чего-то подобного в случае с нашей либерально-демократической мировой системой. В принципе, попытка создания подобной «империи» уже делается – это Европейский Союз. Система формируется без России, которой архитекторами ЕС, видимо, отведена роль буфера между «цивилизацией» и «варварством». С другой стороны, пока что деятельность ЕС не дает причин верить в осмысленность его политики. Учитывая рост противоречий между США и Европой, а также усиление восточного экспансионизма (хотя бы в форме нелегальной миграции в европейские страны), можно надеяться на принципиальную возможность добиться для России некоторого улучшения политического положения. Конечно, шансы такого поворота не очень велики, но упускать его из виду нельзя. Аккуратное лавирование между американскими и европейскими интересами, а также подчеркнутое противостояние неоколониалистской политике восточных государств (всячески пропагандируемое в СМИ и на международной арене), на фоне постоянного подчеркивания культурного превосходства России над остальным миром, прежде всего над

миром так называемых «восточных цивилизаций» – вот что может сделать страну своего рода молодым арбитром западной цивилизации (учитывая и то, что скорый тяжелый кризис этой цивилизации неминуем, а по его итогам многие роли будут распределены по-иному). Опять же на сегодняшний день нам нечем хвастаться: коллапсирующая и полностью провинциальная культура, гибель науки и техносферы, эклектизм политической системы, совмещающей псевдомонархизм с парламентской демократией по немецкому образцу – все это требует немедленных и жестких действий по предотвращению дальнейшего распада страны.

в) «имперское самоубийство» или «империя будущего». Выбор России.

Итак, перед вождями России стоит дилемма: слиться с Востоком в едином порыве к смерти и уйти в небытие под красивые заклинания о «новой евразийской империи» либо попытаться выиграть свою игру даже в сложившемся тяжелейшем положении. Что лучше? Ответ зависит от настроения наших интеллектуалов, которые, похоже, в последнее время склоняются к «имперскому самоубийству». Превращение страны в сырьевую колонию Востока существенно страшнее нынешнего положения сырьевой полуколонии Запада. К сожалению, нашим «теоретикам» не дано этого понять.

Однако тот факт, что мы являемся полуколонией Запада – исключительно наша вина, в том числе вина каждого конкретного жителя России. Не следует сваливать вину на Горбачева, Ельцина, «жидомасонов» или кого-либо еще. Нынешний порядок есть не что иное, как отражение глубинной психологии среднего россиянина и соответствующей этому типу политической элиты.

Какие же шаги, на наш взгляд, будут в этой ситуации разумными?

Я постараюсь сформулировать свое видение ситуации и необходимых действий. Итак:

1. Консолидация политической элиты и проведение жесткой внутренней политики, направленной на возрождение российской экономики и культуры.

Отчасти в этой сфере уже что-то делается. Российский режим при Путине приступил к консолидации своих рядов. Однако пока четких целей развития не просматривается (охотно допускаю, что они есть). Поэтому такие цели должны быть, наконец, явно сформулированы и представлены обществу – хотя бы для того, чтобы заставить его не мешать преобразованиям. Важно также поставить СМИ под полный контроль консолидирующейся политической элиты.

2. Обеспечение на постсоветском пространстве политики московской доминации. Строительство талассократической полисной системы.

Сегодня Россия представляет собой архипелаг территорий, слабо связанных между собой, однако претендующих при этом на полную

независимость при сохранении снабжения из центрального бюджета (!). С другой стороны, Москва концентрирует в своих руках, по разным оценкам, контроль над 60–80 % национального богатства, что автоматически должно привести к ее первенству в «союзе русских полисов». На это и должна быть направлена политика центрального правительства. Важно то, что талассократия является основой для создания в последующем империи и является первым и неизбежным шагом к ней. К счастью, видимо, нынешняя политическая элита прекрасно это осознает – и выстраивание так называемой властной вертикали в субъектах федерации вполне соответствует обеспечению доминации Москвы («Афин» постсоветского мира).

3. Использование и адаптация западных политических форм.

Следует отвергнуть всяческий дешевый романтизм в идеологии политического строительства и просто заимствовать западную демократическую модель (лучше всего – американскую), адаптируя ее к местным обстоятельствам. Формально российская политическая система не должна отличаться от западных. Фактически же политическая жизнь должна осуществляться через параллельные «метаполитические» структуры, стоящие вне партий и организаций гражданского общества – то есть демократия должны быть «органической» и контролируемой. Идеи вроде «введения каст», «корпоративного государства», «социализма советского типа», «евразийской империи», «фашизма» и т. п. должны быть переведены в разряд маргинальных и использоваться только для достижения ограниченного практического эффекта (в частности, под «евразийской империей» в новом политическом языке следует понимать не более, чем «русское национальное государство»). Не следует также опираться на устаревшие идеи в различных сферах государственной политики; в частности, курс на создание боеспособной наемной армии должен быть взят как можно скорее, при этом не стоит опасаться, что такая армия в России станет отдельной политической силой – даже если это и произойдет, это скорее будет плюсом.

4. Стремление к глобальному миру и ведение локальных конфликтов.

В сущности, дело так и обстоит сейчас. Россия действительно заинтересована в том, чтобы ее как можно дольше не трогали и дали возможность выждать. Однако положение страны на границе цивилизаций вынуждает ее вести локальные конфликты, и такое положение должно преподноситься, как *нормальное, не представляющее собой ничего из ряда вон выходящего* («мы испытываем оружие, обучаем армию и противостоим выходкам колониалистов»).

5. Формирование новой политической элиты для последующих шагов после установления режима «московской талассократии».

С этим связан уже упомянутый контроль над СМИ, уничтожение условий для воспроизводства так называемой «русской интеллигенции» (по сути дела, агентов чуждых цивилизаций) – тут, прежде всего, нужна максимальная открытость страны в интеллектуальных отношениях с западной цивилизацией. Будущая элита (приход которой к власти должен произойти примерно в 2025–2030 гг.) должна сделать следующий шаг – создание на базе укрепившейся полисной системы реального государства.

Все вышесказанное было лишь робкой попыткой напомнить, что есть «империи» и Империи. «Римский архетип» предписывает одному из народов Империи быть ведущим (неважно, будет ли это народ в нынешнем смысле слова, или мы перейдем к пониманию нации, как группы людей, принявшей определенную парадигму в поведении). Но на пути к империи по «римскому типу» (если такое возможно) Россия должна пройти сложный путь через систему полисной доминации к «личной унии» территорий и лишь потом – к тому, что действительно можно будет назвать имперским образованием.

Вдобавок, очень часто, рассуждая об империях, наши «теоретики» мыслят категориями XIX века. Сегодня техническая основа таких структур – прежде всего, превосходство над другими в сфере организации информационных потоков (а не организация транспорта и почтовых «ям»). Но Россия по уровню компьютеризации и телефонизации не догнала даже развивающиеся страны. И такая техническая база говорит лишь о том, что всякие поползновения создать приличную имперскую структуру следует отложить, как минимум, на несколько десятилетий.

Но, к сожалению, интеллектуальная контр-элита России, в которой, кстати, весьма велика роль представителей бывших национальных республик СССР, не очень хорошо понимает, на каком историческом этапе находится ныне страна. «Советский опыт» у этих людей сливается с тоской по ушедшей молодости и стабильному положению внутри советской «культуры» – и они готовы на любые хулиганские выходки, лишь бы вернуть прежнюю ситуацию.

Несомненно, низкая стоимость авиабилетов на маршруты Москва–Ереван и Душанбе–Кишинев в советское время является важной и достойной причиной для немедленного совершения «новой советской революции» или чего-либо подобного. Мы можем понять настроение этих людей. Но только в том случае, если интересы русской элиты (в широком смысле этого слова) будут хотя бы в какой-то мере учтены. Однако «националы», как нам представляется, на это не пойдут – именно поэтому они стараются любым способом дискредитировать даже те незначительные разумные шаги, которые делает ельцинско-путинский режим. Поэтому в качестве идеологических обоснований «империи» в понимании этих, будем надеяться, искренне заблуждающихся людей, приводятся неопределенное «евразийство» (в котором, конечно, есть рациональное зерно, но вовсе не оно у нас пропагандируется), «советский опыт» (при ближайшем рассмотрении, в основном отрицательный) и даже «исламский фундаментализм». И, собственно, все. Иначе, как путем к самоубийству и уничтожению окружающего мира это мы назвать не можем.

На наш взгляд, сегодня всяческие попытки, хлеща уставших лошадей, «ностальгировать по великому СССР» следует расценивать, как

предательство национальных интересов России. Песни «псевдоимперских» сирен сейчас могут привести лишь к тому, что ветхий российский корабль разобьется об одну из скал. После чего всем нам будет уже совершенно безразлично, была эта скала восточной или западной…

Опубликовано под псевдонимом Валентин Эскизов

КОРНИ ТРАВЫ

К первому юбилею независимости России

Конечно, писать на такую пошлую тему, как 10-летие независимости РФ, совершенно не хочется. Но, видимо, надо. В принципе, мы могли бы это событие не заметить. Однако мне кажется, что так поступать нельзя.

Потому как в прессе, понятное дело, начнется свистопляска: «патриоты» будут петь про гибель всего и вся, про грядущий Каюк и «трагическое величие преданного Советского Союза». Либералы начнут орать, что через десять лет страна опять идет не туда – в «советское болото». Что, несомненно, лишний раз заставляет меня сделать реверанс в сторону путинского режима. Если его критикуют и «красные», и «голубые» – очень даже не исключено, что это более правильный режим.

Я думаю, что через десять лет существования страны под названием РФ она наконец-то стала нащупывать какие-то пути. Если сейчас ее не сделают «большим европейским козлом отпущения» типа Югославии (что очень вероятно), то вообще все будет хорошо. В конечном счете…

Я не буду ни восхищаться «достижениями демократии», ни потрясать кулаками в адрес «разрушителей империи».

Я просто скажу несколько вещей, за которые, конечно, на меня опять начнут наезжать с разных сторон. Но, как мне кажется, они ближе к мнению так называемого обывателя – которому давным-давно заткнули рот.

Так вот.

Во-первых. Мне совершенно не жалко коммунизм. Да, система управления в СССР была лучше, чем нынешняя. Но ею владели красные гиббоны, которым было наплевать на достижения «сталинского административного гения», и они добились лишь того, что все развалилось и рухнуло. Я не считаю, что коммунизм «скреплял российскую империю» или что «целили в коммунизм, а попали в Россию». Целили именно в Россию, а коммунизм подвернулся совершенно случайно (по крайней мере, основной тезис «западнического» диссидентства был таков: Россия породила коммунизм в силу внутренней к нему предрасположенности. Так писал дедушка Гроссман). Да и не пострадал он особенно, коммунизм. Все его носители расселись по парламентам и мэриям.

Во-вторых. Независимость от кровавого каганата СССР России была просто необходима. В этом смысле то, что произошло – совершенно объективное и исторически, в дальней перспективе, прогрессивное явление. Оно лишь сильно осложнено тем, что революцию сделало не гражданское общество, а второй эшелон коммунистической бюрократии, поэтому, естественно, ни о каких национальных интересах в новом государстве речи идти не могло. Выполнялись желания оголтелой красной банды, которая решила стать «буржуазией».

В-третьих. Развалить СССР было необходимо. Однако это нужно было сделать грамотно, оставив «урюков» под протекторатом России. Украина (без Галиции) и Белоруссия вполне добровольно остались бы в составе новой России. Удерживать прибалтов, конечно, тоже было совершенно бессмысленным занятием, но они должны были остаться в «сфере влияния». Другое дело, что развестись надо было так, чтобы интересы России были учтены всюду и везде. Более того, все это было ясно уже в 50-е гг., и только бессмысленность и кретинизм наших дорогих «коммунистов» не позволила им, имея в руках все рычаги, учесть русские интересы в сложном процессе отсечения национальных окраин. Отсюда следует лишь то, что коммунистический режим никогда по доброй воле не преследовал русских, российских интересов, и в его гроб я бы с удовольствием забил гвоздь и сейчас.

В-четвертых. Поскольку общественный протест перехватили «верные, но хитрые партийцы», то и вся «независимость» вышла в их интересах. И все их разборки были страшно далеки от народа. Потому мне было совершенно наплевать на то, что они отстреливали друг друга – сначала из пушек, а потом просто во время своих «стрелок».

Впрочем, теперь я все более осознаю одну простую вещь. Которая раньше была для меня совершенно закрыта. Я говорю о противостоянии двух направлений в русской жизни последнего столетия.

Когда в 1917 г. пало государство Романовых, проявились две совершенно четко выраженные тенденции: с одной стороны, так называемая «народная власть», советы всех уровней, так сказать, своего рода grassroots, управление страной на коллегиальной основе снизу доверху, и чисто доктринерская, насильническая, волюнтаристская, выраженная в правительственной власти сначала Керенского, потом большевиков (в сущности, просто сменили друг друга две разные дощечки во рту одного и того же большого Голема). Мои нынешние симпатии всецело на стороне «советов» (естественно, я стою за «советы без коммунистов»). В принципе, у каждой линии была своя правда: советы выражали идею общественного компромисса, соглашения и учета всех мнений, а «волюнтадоры» с их пушками в качестве обязательного (и далеко не последнего) довода – идею мощной мобилизационной программы для общества. Так возник советский строй, вполне подходящий для управления Россией. Если бы не коммунизм, случайно вложенный историей в уста новой русской административной системы, все было бы совсем неплохо.

Практически же советы и партия долго противостояли (Сталин смог кое-как сплавить все это в единое целое, и противостояние кончилось), а потом, на исходе «перестройки», когда стало ясно, что grass-roots уже способны победить, коммунистическая верхушка поступила подло, что, впрочем, для нее всегда было характерно. Она попросту заявила о смене взглядов, принятии новой мобилизационной программы, а с советами разобралась по-своему: один из них показательно «расстреляли», а остальным, выставив танковые орудия, повелели немедленно разойтись. Мол, они неэффективны.

Десять лет коммуна, переименовавшаяся в «либеральную демократию» (в принципе, для меня это «две дороги к одному обрыву»), отплясывала антраша, кидалась стульями, била стаканы и все вокруг разламывала. Но это была агония, сопровождающаяся выстрелами на «разборках». Место советов заняли «крыши» и «братки».

Все, на что мог надеяться обыватель – это то, что «холодная гражданская война» когда-нибудь кончится. Что обе стороны окончательно обескровят друг друга. И вот тогда можно будет выйти из подвалов и заняться, наконец, делом.

Вот на это и ушло десять лет. Гражданская война постепенно заканчивается, начинается стабилизация. Вот и весь итог получения независимости.

Как и всякая гражданская война, наша полностью разорила экономику, привела ко всеобщему упадку и деградации, и восстанавливать все придется еще лет десять. Но главное в другом. О реальной независимости можно только начинать говорить. К счастью, «элита» постепенно начинает понимать, что пора отучиться зависеть от кого попало: от Запада, от бывших имперских окраин (которые были, по сути, метрополиями) и от всяческой чуши, наполняющей головы «вторых секретарей обкомов партии».

На это ушло десять лет. Во многих отношениях – провальных.

И все же ситуация не столь безнадежна. Общество здорово поумнело. Сложились какие-то вполне приемлемые традиции. Режим стал помаленьку поддаваться социальным импульсам. Как ни верти, а из дерьма Россия начала, похоже, потихоньку вылезать. Сам факт, что президентом стал не председатель обкома и не бывший член ЦК, а все-таки какой-никакой «нормальный бюрократ», обнадеживает.

И придет день, когда раздастся последний выстрел «холодной гражданской войны». Бабки поделят окончательно. Оставшиеся в живых участники будут людьми, более близкими к народу.

Что же требуется от нынешней власти? Да очень простая вещь: восстановление, в модернизированной и улучшенной форме, сложной советской административной системы «сдержек и противовесов»: «советы – партии – профсоюзы – общественные организации – пресса» и отказ от перекоса в сторону «диктата идеологизированной исполнительной власти» (что, естественно, немедленно обращается во власть очередного Клана).

То есть, скажем так, нужна срочная «контрперестройка». Ее звонок еще не прозвенел, но, думается, самое время занимать места в первых рядах зрительного зала: спектакль начнется с минуты на минуту.

Десять лет прошло. Итогов «постперестройки» нет как нет, кроме полного распада всего и вся. Теперь на поверхность должен выйти организованный общественный протест, тихое, но неуклонное давление травы, пробивающей асфальт. У нас гражданское общество сложилось только в 70-е гг., и, в сущности, коммунисты устроили весь финт с перестройкой-демократией, в основном, ради того, чтобы временно подавить гражданское общество, оглушить его – пушечными выстрелами, водкой, телепропагандой, – а на этом фоне украсть все, что еще было можно.

Естественно, проснувшийся социум будет долго возмущаться таким наглым обманом, но не стоит концентрировать внимание на исторических мелочах. Нам нужна большая картина, с широким размахом кисти. Мы начинаем чувствовать, что история вскоре будет совершаться с нашим участием.

Коммуна, занявшись мародерством, случайно задела старые, забытые, покрытые пылью часы, и, как сказал когда-то Галковский, «маятник русской истории качнулся в другую сторону. И он их всех сметет».

Для того, чтобы все это стало ясно, и потребовалось десять лет.

Нет, мы их не потеряли. Мы потеряли многое, ту же *собственность*, но внутренне мы многое приобрели. Из амебообразного «советского человека», любителя тапочек, пива и футбола, должен вырасти человек действия, в сердце которого прорастут те самые «семена спасительной ненависти», которые не были свойственны русской культуре. Но будут!

И если мобилизационные программы в России всегда осуществлялись сверху, то будем надеяться, что впервые в ее истории такое движение начнется снизу, от корней. От тех самых свай, которые забивали в «болото».

Русского болота больше нет. Оно высохло и превратилось в **почву**. В этом и состоит главный итог двадцатого века.

Вслушаемся же в шорохи прорастающей травы...

ЧТО ТАКОЕ ЕВРОПА?

Входит Россия в Европу или нет? Это тот самый довольно-таки дурацкий вопрос, над которым сломало себе головы не одно поколение думающих русских. К сожалению, как правило, все эти размышления заканчивались банальнейшими выводами. Мы – Европа. Или: мы – не Европа. В соответствии с выводами принимались *решения*. То Россия изо всех сил начинала в Европу стремиться, встраиваться туда, бороться за присутствие там. То поворачивалась к стране святых чудес задом, как завещал еще

бесноватый царь Питер. Такими рывками и развивалась наша история с самого момента окончания татарского ига.

Однако – что же мы называем и считаем Европой? Как ни странно, общий «архетип» Запада у нас, точнее, у наших «западников», совершенно детский. В Европе чисто, там есть прогресс и права человека. Там вообще хорошо. Там царят покой и благодать. Совсем не то на Руси – дураки, дороги, чиновники, скалозубы. Азия-с…

Однако если мы будем судить о духе страны по чистоте уборных, то Европой следует признать и Австралию, и значительную часть Южной Америки, так что придется констатировать, что европейский дух, не сделав эти страны «западными», проявляется, отчасти, и в том, что в уборных полы моют довольно часто, а уборщица получает приемлемую зарплату.

И все же это совсем не главное. Что такое Европа? Нужна ли она нам? Стоит ли туда стремиться? И зачем это делать?

Постараюсь здесь высказать исключительно собственное мнение. Возможно – да, и почти уверен в этом – оно кому-то не понравится. И все же мне кажется, что вопрос о соотношении России с Европой требует своего Окончательного Решения. Раз и навсегда. В данном случае я уверен в том, что «знаю, как надо», и никакой критики принимать не намерен. Скорее, действуя в стиле некоторых популярных *тартуских профессоров*, скажу: **всякий, кто с этим моим мнением не согласен, хотя бы и частично, – недоразвитый ублюдок, дурак, бездарь, враг России и всего человечества, олигофрен, с трудом освоивший алфавит, животное в образе человеческом, хам и грязная свинья, которой место в скотомогильнике.** Надеюсь, что заранее несогласные и просто обиженные дальше этот текст читать не будут. Чему я несказанно рад.

Итак, я считаю, что главная европейская идея – культурно-религиозный универсализм. Что имеется в виду? Речь идет о наборе ценностей, которые дают возможность разрозненным племенам говорить как бы на одном языке, точнее, следовать единому стереотипу в поведении. В этом смысле для нас очень полезен был советский опыт. В смешении языков, которые организовали коммунисты, нам быстро стало ясно, что среди народов есть «свои» и «чужие». Своими были украинцы, белорусы, народы Поволжья, башкиры, часть евреев, даже казахи. Чужими – кавказцы, прибалты, молдаване, значительная часть среднеазиатов. Точно так же и они относились к нам. При этом религиозно-этнические моменты играли второстепенную роль. Православные грузины и православные русские с превеликим трудом находят общий язык. Значительно проще договориться с армянами, исповедующими совершенно оригинальную версию христианства. Проще договориться с католиком, чем с протестантом (наши ментальности все-таки ближе, несмотря ни на что). Но и это – не общий закон. Судя по всему, речь должна идти о чем-то более глубоком, о каких-то внутренних структурах души. Лев Гумилев называл это страшным словом «комплиментарность», и, похоже, в этом все и дело.

Так вот, европейская идея издавна состояла в том, чтобы создать союз комплиментарных народов. Это главное, все остальное – ерунда. Именно из этой идеи в Европе выросло все, вплоть до чистых сортиров. В дальнейшем я попытаюсь пояснить эту мысль.

Начиная с эпохи Александра Македонского европейская идея пыталась покорить мир. Царь-завоеватель создал огромное лоскутное одеяло, которое было объединено исключительно его властью. Однако суть дела была *именно в попытке выработать* общие ценности. *И они появились.* Длительное существование эллинистических государств превратило европейскую идею в реальность.

Общие ценности могли быть выработаны на двух основных «базисах». И, естественно, это произошло. С одной стороны, общими идеями были чисто правовые. Устроиться здесь, в этом мире, выработать некий общественный договор, за нарушение которого будет караться каждый его участник. *Так возник Рим с его правовой идеей.* Так развивалась Римская империя. Всем народам, которые присоединялись к ней, предлагалось признать некоторые внешние формальности и римскую юрисдикцию в ряде вопросов. И все.

Однако тут чего-то не хватало. Понятно, чего, впрочем. Не хватало некоей «общей души», если можно так выразиться. С определенного момента, еще до возникновения христианства, стало считаться, что жизнь земная – лишь подготовка к жизни загробной, а посему учреждения земные должны учитывать это. В определенный момент в формальной структуре римской империи стало появляться место для порыва «за горизонты видимого мира». Ее выражали разные религиозные течения, из которых наиболее сильным оказалось христианство. Кстати, победило оно первоначально именно в восточной части Римской империи, когда столицей был уже Константинополь, а не Рим. Обратим на это особое внимание.

Итак, в европейском сознании всегда сосуществуют две идеи. Первая: об обустройстве земной жизни на общих, всем понятных основаниях. Вторая: о том, что после земной жизни будет еще что-то, к чему надо готовиться уже сегодня и помогать в этом друг другу.

Абсолютный порядок на земле и, не менее упорядоченный, порыв за границы видимого мира. Своего рода мистический полусоциализм, если хотите. Это, и только это делает человека европейцем. Все остальные качества – лишь производные. Да и по отдельности эти две идеи – лишь элементы, которые сами по себе не создают европейского человека. Скажем, житель чистенькой Швейцарии, по инерции моющий мостовую шваброй, может быть убежден, что он произошел от обезьяны, а его жизнь закончится лопухом на могиле. Это означает, что он перестал быть европейцем и пребывает в стадии деградации. Индус, думающий исключительно о вечном, но живущий по горло в коровьем дерьме, тоже не является европейцем.

Европа в чистом виде была царством «Christentum», что бы в данном случае не понимали под христианством. Поэтому славянского купца, забредшего в Париж, прекрасно воспринимали, независимо от его языка и отношения к чему бы то ни было. Ценности были общими. Бог был общим.

Реально кризис Европы начался с раскола церквей на восточную и западную. На Западе институты «иного мира» успешно подчинили себе институты «мира видимого». На Востоке они попытались существовать параллельно, в виде так называемой «симфонии», как, впрочем, было и раньше. Так возникло две версии Европы, два наследника римского мира.

В результате на Западе государство (и общество) на протяжении веков боролось за то, чтобы уйти из под влияния церкви. А на Востоке, оглядываясь на Запад, то одно, то другое учреждение пыталось установить тотальный контроль.

Диктат церкви, характерный для западной Европы, породил европейскую секулярность. Последняя, в конечном счете, решила взять власть. Поэтому реально европейскость на Западе кончилась в 1789 г. Дальнейшая история Европы – деградация, редукция, превращение в «нечто», которое мы имеем несчастье наблюдать сейчас. История восточной версии европеизма – бесконечная борьба двух ветвей «симфонии» под влиянием западных процессов. Эта борьба порождала однобокие «существа» – либо секулярного квазичеловека, тип которого представлен у нас «патологическими западниками», либо мрачного фундаменталиста, считавшего, что мир впал в окончательный грех и ничего уже не исправишь. «Симфонии» хронически не получалось. Но потребность в ней оставалась. Империя царей, в частности, разрослась до таких колоссальных размеров только потому, что устанавливала общие формальные правила и с уважением относилась к религиозным взглядам присоединяемых народов, постепенно, впрочем, ассимилируя их. Где-то этот опыт оказался удачным, где-то – нет. Но причиной гибели царской империи стала именно утрата ею «духовного измерения». Большевизм попытался это измерение вернуть, предложив свои универсальные ценности. К сожалению, они были слишком приземленными. Кроме того, коммунисты надолго отказались от ассимиляции народов. Потом они вернулись к этой идее, попытавшись создать «советского человека». Но было уже поздно, а, кроме того, ценности «советского человека» тоже были слишком земными, поэтому опыт не удался.

Европеизм – это ассимилирующая империя единых ценностей. Там, где от этой формулы происходят отступления, Европа вырождается либо в «языческое племенное государство», либо в бессмысленное «открытое общество независимых индивидов». Обе структуры одинаково опасны: первая ведет к быстрому вырождению и гибели, вторая – к замещению иным, более сплоченным этническим элементом. Германский фашизм, максимально выразивший первый тип деградации, был безжалостно сметен

«обиженными народами». Европейский Союз, деградирующий по второму пути, *съедят изнутри африканцы и мусульмане.*

Нынешнее вырождение европейской идеи потрясает. Европейцы последовательно отказались от «иного измерения» и от ассимиляторского «бремени белого человека». Поэтому в глазах других, неевропейских народов, Европа выглядит пристанищем безбожных недалеких гедонистов, не видящих дальше своего носа. Очевидно, что такую Европу ждет только смерть. Поэтому формальные европейские ценности не имеют никакой перспективы в мире. Что ж, говорят «дикари», у них чистые сортиры. У них есть международное право и межконтинентальные ракеты. Но ради чего живут эти люди? В сущности, *их жизнь совершенно бессмысленна.* И «дикари» действительно рассуждают мудро. Они знают, что такой способ существования обречен. Хотя бы потому, что он чреват глобальной техногенной катастрофой.

В этом смысле, как ни смешно, наша, москальская цивилизация, имеет больше перспектив. Да, мы не меньшие гедонисты, чем «они», но у нас не хватает сил на достижение соответствующего уровня «мирских наслаждений», и это объективно *делает нас более восприимчивыми к влиянию «иных сфер»* (неважно, низших или высших – думаю, в нашу эпоху *лучше быть даже «холодным», чем теплохладным).* Кроме того, русские не утратили способности к ассимиляции других народов. Сравните грузина из Тбилиси и грузина, который происходит из третьего поколения московских жителей. Это просто небо и земля.

Единственный путь, который может спасти умирающую Европу – умирающую, именно как культурный феномен, как цивилизация – это своего рода консервативная революция, восстановление во всей полноте связи *с «иным измерением» и, на этой основе, «бремени белого человека»,* связанного с постоянной ассимиляцией и усвоением, перевариванием *иных* культур, созданием единой психической основы. И, несомненно, с примерным наказанием строптивых. В противном случае иные народы будут видеть в европейцах лишь самонадеянных дураков без малейшего проблеска человеческого. И будут ожесточенно сопротивляться. И будут колонизировать глупую Европу изнутри.

Следует помнить, что противостояние «иному» – главный признак любой живой культуры. Если эта культура некритично принимает все извне, *это значит, что ее не существует или она находится при смерти.* Полное неприятие «чужого» также свидетельствует о культурной бесперспективности. Необходимо, чтобы ценности живой культуры превосходили «иное». Но при этом «иное» должно быть поглощено и адаптировано.

Поэтому на вопрос о том, что такое Европа, можно ответить абсолютно однозначно. Европа сегодня – чисто виртуальное понятие. С одной стороны, это огромный мертвый музей из мечей, имперских корон, ликторских связок, крестов, алхимических трактатов, шутовских колпаков и папских тиар. Нам дорого это колоссальное хранилище умерших знаков, мы не

можем окончательно вычеркнуть свое прошлое из памяти. И мы не можем не отдать ему *последних почестей, этому кладбищу великих смыслов*, колумбарию фантастических, но сбывшихся снов.

И есть другая Европа, которой нет, но которая должна быть, если только она хочет продолжать существовать в качестве отдельного – и ведущего! – культурного мира. В противном случае будущее Европы – Франкистан, германская провинция Османской империи, данник Срединного государства, дальняя колония очередной «ордуси». В этом нет ничего плохого, поделом вору и мука, как говорится. Но ни я, ни десятки и сотни миллионов жителей современной Европы в таком мире жить не намерены. И им (нам) остается одно – победить или умереть.

Сегодня Европы нет. Она может возникнуть в любой момент. Есть лишь какие-то зачатки нового европейского мира. Я думаю, что сегодня любой наследник римско-византийского мира имеет равные права на потерянное европейское знамя.

Поэтому сегодняшняя Европа – это Россия. Это мы с вами. Как бы ни был парадоксален и неприемлем этот вывод.

Потому что только мы изо всех сил стремимся навести хоть какой-то внутренний порядок. Мы не утратили способности к ассимиляции. Мы ведем традиционную пограничную войну с «сарацинами». Мы сохранили интерес к «иной жизни», хоть и сильно извращенный. Мы не националисты, нам лишь достаточно, чтобы партнер вел себя «по-русски».

Нам предстоит сформулировать новые общие ценности и, думаю, мы это право заслужили.

У нас есть шансы. Мы моложе европейских наций, и это обнадеживает. Другое дело, что шансы могут и не реализоваться. Но сейчас это зависит только от нас.

Опубликовано под псевдонимом Вадим Нифонтов.

ВЕЛИКИЙ НЕДОНОСОК

(чему учит история СССР?)

«Ностальгия по СССР» в последние два-три года стала общим местом нашей публицистики. Плач о «потерянной империи» слышен отовсюду. Было бы вполне понятно, если бы этот плач раздавался лишь из коммунистического лагеря. Однако сегодня по родине слонов и царству гордых покорителей космоса ностальгируют все, кому не лень, и, как ни странно, даже совсем неплохо пристроившиеся в новой посткоммунистической жизни «сынки» бывшей советской элиты. Лично у меня это настроение

вызывало и вызывает болезненное неприятие. Но, уж коли ностальгия существует, то, видимо, следует ее понять и объяснить. Для этого нужно разобраться в том, как вообще развивался Советский Союз и что это такое, собственно говоря, было. Думаю, после этого читатель лучше поймет, как воспринимать «советскую ностальгию».

Предпосылки: куда шла Россия?

Коммунисты, которые некогда очень любили сравнивать все на свете с уровнем 1913 г. (что позволяло беззастенчиво хвастаться небывалыми советскими успехами), все же страдали неким тайным комплексом неполноценности по поводу собственного октябрьского переворота. В идеологических брошюрах то тут, то там встречалась фраза о том, что прежний строй царской России к 1917 г. прогнил окончательно, и революция была неизбежна. Страна готовилась к этой революции, выстрадала ее. Страна якобы требовала модернизации по западному, но еще более прогрессивному, социалистическому типу. И большевики с Лениным гениальным образом эту модернизацию осуществили.

Казалось бы, большевики совершенно правы. Стоит взять любую мало-мальски оппозиционную газету периода между 1905 и 1914 гг., как это настроение бросается в глаза… «Царь – позорное пятно на теле России». «Мы живем в стране взяточников и рабов». «Чиновники не умеют управлять». «Придворная камарилья сосет кровь народа». Чего только не встретишь на газетных страницах. С другой стороны – было и постоянное недовольство общества всем и вся, уже подспудное, тихое, таинственное, замкнутое в рамки приличий. Любой чиновник был умеренным, а то и радикальным оппозиционером.

Понятно, что в такой стране обязательно должно было что-то произойти.

Так что же, большевики правы? Революция и последующие события были неизбежны?

Отчасти да. В смысле констатации общественного напряжения – большевики правы. Но, если говорить честно, во всем остальном большевики ошибаются.

Потому как 1907–1914 гг. были именно что временем *постепенного затухания* общественных страстей. Революция 1905–1907 гг. решила практически *все* насущные русские вопросы. Практически были ликвидированы все прежние тормоза и препятствия на пути развития России. Экономика страны росла довольно быстрыми темпами. Жизненные условия основной массы населения медленно, но неуклонно улучшались. Постепенно начинала вымирать та, прежняя, интеллигенция – бесплодно критиканствующая, революционно настроенная, предельно русофобская. Перспективы страны становились все более ясными.

Главной задачей России теперь было *постепенное изменение* системы государственного управления, отказ от многих архаичных форм,

«демократизация» бюрократического аппарата, прилив в него свежих сил. Речь *вовсе не шла о свержении монархии* – думаю, *получи страна* пресловутые 20 мирных лет, «престарелое самодержавие» обрело бы новое дыхание, и образовался бы совершенно новый тип государства, – снизу доверху пронизанный структурами национального самоуправления, модернизированный, прагматический национальный режим. Никаких революций в прямом смысле этого слова не предвиделось.

На мой взгляд, Россия, преодолевая петровское «западническое» наследие, шла к истинно национальному русскому государству, мощной державе, которая вполне могла бы владеть половиной мира. Посмотрим в те же довоенные газеты – ведь основная часть нации была недовольна именно тем, что «не победили японцев», что «русские товары не завоевали пока весь свет» и что «чиновники берут взятки», а «государство неэффективно». То есть большинство населения хотело не гибели России, а улучшения жизненных условий и повышения роли страны в мире. Александр Янов, несомненно, сказал бы, что предреволюционное русское общество страдало великодержавным имперским шовинизмом.

Но все было перечеркнуто 1 августа 1914 г. Началась война, предельно ослабившая страну и поставившая ее в зависимость от западных держав. Самым печальным было то, что патриотически настроенная интеллигенция гибла в окопах, а те, кто желал России немедленной смерти, постепенно все шире рассаживались в прессе и в парламенте.

Однако даже и в начале 1917 г. никому не казалось, что революция близка. Всем известны «Письма издалека» Ленина, в которых он жаловался на то, что никогда не увидит битв грядущей революции. Эта жалоба, по иронии судьбы, прозвучала буквально за несколько дней до начала февральского балагана.

«Демократическая революция» февраля 1917 г. была, по сути, верхушечным переворотом, происходящим на фоне народных волнений в Петрограде. Но именно она спровоцировала «выкидыш» – нация неожиданно решила, что «время пришло», и вместо нормального государства, к которому двигалась на всех парах Россия, получилась «советская цивилизация». Как говорил один публицист: русская тройка опрокинулась на крутом повороте истории.

Стихийный поток

Еще М. Агурский в знаменитой книге «Идеология национал-большевизма» обращал внимание на идейную неоднозначность русской революции 1917 г. В ней обычно видели только торжество ленинской версии марксизма. Но ни одна революция не смогла бы победить, опираясь на такой дремучий и бессмысленный «марксизм». К триумфу ее привели совершенно другие идеи, в частности, глухой крестьянский социальный протест, отчасти даже черносотенные лозунги, а также национал-прагматизм (настроение

тогдашней технической интеллигенции). Кстати, большевики активно заимствовали и лозунги эсеров, а ведь «власть – Советам» и «земля – крестьянам» были изначально чисто эсеровскими призывами. И партия социалистов-революционеров в значительно большей степени выражала настроения русского общества, чем большевики (которых даже в начале 1917 г. царская полиция не воспринимала всерьез). Именно эсеры получили большинство на выборах в Учредительное собрание.

Итак, стихийный национальный поток, во главе которого стояла, прежде всего, партия эсеров, был узурпирован большевиками. На этой волне они пришли к власти. В общем-то, ничего удивительного в победе партии Ленина–Троцкого не было. Общество было настроено на модернизацию и не желало продолжения войны. Большевики были убеждены в своей правоте, обещали резкий скачок в развитии, а также мировую революцию, которая должна была положить конец вообще всей «эксплуататорской» истории. Большевики ссылались на «научность» своей идеологии, а авторитет науки был тогда весьма высок.

В октябрьских событиях 1917 г. сливаются два потока – псевдонаучное доктринерство большевиков с обещаниями радикальных перемен и общенародное стремление к модернизации страны. В какой-то момент векторы совпали. Случилось то, что случилось. Национальное выступление было спровоцировано преждевременно, и «низы» революции оказались к ней не готовы. Во главе национального потока оказались большевики с их совершенно вздорной идеологией строительства «воздушных замков».

Советская конспирология

Вся последующая история РСФСР–СССР определялась подспудной борьбой «национального потока» с «догматическим интернационализмом».

Уже к началу 20-х гг. стало ясно, что большевистский проект не только не решает дореволюционых проблем, а даже отбрасывает страну назад на целые столетия (имеется в виду, прежде всего, организация управления государством). Однако военная сила была в руках ленинской гвардии, признавать свое поражение они не желали и властью делиться не собирались.

Победив русскую нацию в гражданской войне, большевики достаточно окрепли, чтобы не бояться вооруженных выступлений населения. А само население удовлетворилось некоторой стабилизацией, начавшейся в стране примерно с 1922 г., и перешло к пассивному прагматическому сопротивлению. Теперь с властью приходилось «сотрудничать», проводя в жизнь хотя бы часть жизнеспособных проектов. Это была тяжелая и сложная игра.

Выигрывали в ней, как правило, «догматики», но время от времени русское общество отвоевывало у большевизма отдельные плацдармы. «Национальный поток» вел дело к восстановлению пространства единой

империи и заново создал ее – большевики смирились с этим нарушением принципа «права наций на самоопределение», но в ответ поделили страну на национальные республики, заложив мину под собственное здание. «Национальный поток» требовал допустить ограниченную частную инициативу – большевики временно сдались и пошли на «нэп», но потом, испугавшись за свою власть, вновь вернулись к стопроцентно национализированной экономике. «Национальный поток» требовал усиления роли Советов – большевики, на словах восхваляя «народовластие», подчинили их власти компартии. Вообще, противостояние «людей из народа» и «большевистской аристократии» стало главным конфликтом всей советской империи.

Сталин, в отличие от своих предшественников, умудрился занять бонапартистскую позицию и все время качался между «пламенными революционерами» и «бонзами военно-промышленного комплекса», представлявшими как раз «национальный поток» (почитайте мемуары полководцев времен Великой Отечественной – в них и не пахнет «марксизмом»; восхваления Сталина и партии – да, но марксистский революционный дух отсутствует напрочь). Марксистская догма, которую свято охраняли разнообразные спецслужбы, неизменно оказывалась сильнее и губила все здоровые начинания, возникавшие в СССР.

Итак, в СССР не было партий, традиционной демократии, институций «западного мира». Это было общество, чем-то неуловимо напоминавшее Византийскую империю, только очень извращенную. Борьба кланов и торговля интересами велись через стихийно сложившиеся органы – партию, советы, общественные организации. Все это переплеталось, создавая сложнейшую нервную систему, которая эволюционировала, развивалась и к началу 50-х гг. уже позволяла, в общем, относительно эффективно управлять государством. К сожалению, именно «мозг», центральная часть системы – КПСС – была поражена параличом догматического социализма и создавала препятствия в развитии страны.

Поэтому СССР вовсе не был никакой «империей» или «великой державой». Это был слабый, делающий первые шаги, недоношенный русский проект, к тому же пораженный врожденной болезнью коммунистической идеологии, этаким подростком, страдающим ДЦП.

Не хочу сказать, что советские властные структуры были идеальны (отнюдь нет), но они более соответствовали национальному менталитету, чем нынешние «демократические институты», и благодаря им любой человек потенциально был ближе к успешному влиянию на режим, чем сейчас. Если бы коммунистические догмы удалось аккуратно изъять из «мозга» советской системы, допустить, пусть и ограниченную, свободу частной инициативы, постепенно отказаться от подавления инакомыслия, думаю, история СССР пошла бы иным путем.

Таким образом, СССР удивительным образом соединял «национальные интересы» (диктуемые обществом) с тупым коммунистическим

догматизмом. Иногда эта смесь давала положительный эффект, но чаще коммунисты просто уничтожали ростки нормальности. Такова советская конспирология, постоянная борьба двух начал в этой системе.

Поэтому, изучая советский опыт, было бы разумно отделять институции коммунистического догматизма и их влияния от «национального потока» и его воздействий на режим. Естественно, для нас полезным может быть исключительно второе направление, второе начало.

Уроки «перестройки»

К концу 1950-х гг. общество и коммунистическая верхушка вроде бы достигли определенного «консенсуса». Выросло первое поколение «истинно советских людей», т. е. тех, кто был от начала и до конца воспитан в советском духе. СССР набрал темп и довольно успешно развивался – особенно это касается военно-промышленных отраслей, с чем связан и выход в космос, которым так привыкли бахвалиться коммунисты. Но уже к началу 1970-х этот темп сошел на нет, импульс был исчерпан, Советский Союз начал отставать от остальных развитых стран *почти по всем* параметрам. Общество уже не могло удовлетвориться той системой хозяйства, которая сложилась в стране. Страна, в которой покупка качественного лезвия для бритья или туалетной бумаги превращалась в неразрешимую проблему, не могла вызывать слишком уж сильных патриотических чувств. Общество было настроено на серьезные перемены.

Однако каких на самом деле перемен оно хотело? Это стало ясно в начале 1980-х гг., когда общественное мнение поддержало Андропова. История повторилась – как и в 1917 г., обыватель был в массе своей настроен шовинистически и прагматически. Ему была нужна победоносная война, укрепление дисциплины, некоторое повышение качества жизни, частичная демократизация политических институтов. И не более того. Если бы в тот момент партийному руководству хватило ума прислушаться к мнению патриотической части инакомыслящих, хоть бы и того же Солженицына, достичь компромисса с обществом, уверен, что СССР продолжал бы существовать и сегодня, а мировая история шла бы совершенно по другому пути.

Но коммунистическая верхушка решила все «разрулить» сама и начала с возрождения мертвящих марксистско-ленинских догм, попыталась завернуть гайки в соответствии со старыми помоечными рецептами. Естественно, ржавые гайки сорвались, и КПСС, как мне кажется, уже в 1987 г. потеряла какой-либо контроль за общественными процессами. Власть развивалась сама по себе, социум – сам по себе.

Поняв, что власть уходит из рук, часть коммунистической верхушки сделала «финт» – объявила себя «либералами» и возглавила общественное движение за реформы. В результате «национальный поток» был дискредитирован, патриотически настроенная часть интеллигенции изгнана из рядов

тогдашнего «демократического движения», коммунисты-либералы взяли курс на тупое подражание западным моделям (лично им это было выгодно).

Фактически, почти полностью повторилась ситуация 1917 г. «Национальный поток» оттеснили от власти, захватив ее, люди, обещавшие стремительную модернизацию. Уже через полтора года стало ясно, что никакой модернизации «ельцинисты» осуществить не смогут – наоборот, страна опять проваливается на десятилетия назад. Общество попыталось протестовать, но октябрь 1993 г. положил конец надеждам. Самое печальное, что в 1993 г. по обе стороны баррикад были коммунисты: с одной стороны те, кто проявил твердолобость и все проиграл, с другой – те, кто «перекрасился» и фактически предал страну. Именно поэтому общественная поддержка октябрьского выступления была столь слабой. Народ, особенно в провинции, видел в этом лишь «разборки начальников».

Как обычно, общество выбрало привычный путь пассивно-прагматического сопротивления, начало сотрудничать с властью и пытаться постепенно изменить режим. В общем, нормальность начала побеждать. В этом смысле симптоматичны и победа Путина на президентских выборах, и постепенная маргинализация либеральных сил, и некоторый культурный подъем в стране, и многие другие вещи.

Как правило, история никого ничему не учит. Однако, вспоминая уроки XX в., мы должны, наконец, понять, что «национальному потоку» требуется свое политическое выражение, свои институты, партии, клубы, пресса, иначе в самый последний момент власть вновь будет перехвачена краснобаями, обещающими все и сразу. Это единственный урок, который русское общество так и не усвоило. Ему требуется сегодня преодолеть раздробленность и врожденный индивидуализм, быть более рационально-консервативным, действовать настойчиво и прагматично, но без «ррреволюционных» вывертов. Если национальная элита сможет этому научиться, у нее появятся шансы, наконец, когда-нибудь победить.

Опубликовано под псевдонимом Вадим Нифонтов

ПО КОМ ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА ПРАГИ

Подумалось – надо бы сказать тут несколько слов о пресловутой «Пражской весне». В развитие некоторых побочных сюжетов. Помню, ранней весной 1994 г., в один из свободных дней, сидел я в РГБ и читал какую-то, как мне тогда казалось, очень важную для диссертации фигню. Одну нужную книжку мне долго не выдавали, я периодически ругался с теткой из читального зала, которая каждый раз сообщала, что «книгу ищут». Искали

ее долго, да так и не нашли. Зато за время ее ожидания я прочитал другую книгу – «60-е. Мир советского человека» П. Вайля и А. Гениса.

Сочинение этих сиамских близнецов мне понравилось, но дело сейчас не в этом. А в том, как эта книга заканчивалась. Оказалось (и тогда это меня весьма удивило), что «мир советского человека» кончился в августе 1968-го, вторжением советских войск в Чехословакию. Поразительно, как эти люди восприняли сей факт! До того несчастного августовского дня им казалось, будто они живут в великом демократическом прогрессивном государстве, которое одинаково успешно штурмует просторы космоса и глубины атома, и на которое с замиранием сердца смотрят все народы мира. Но вот танки вкатились в Прагу, и, как сообщили мне Вайль с Генисом, рухнул целый мир. Оказалось, что место проживания наших героев совсем другое – унылая, примитивная, тупая и скучная КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. Наподобие империалистических Штатов, только еще хуже.

И с этого момента все настоящие советские люди навсегда разочаровались в советской власти. Сквозь маску Социального Прогресса проступили старые, знакомые черты – «кондовая, избяная, толстозадая» русская авторитарная орда, которая всегда «резала и грабила всех своих соседей, расширялась», «подавляла восстания» и «на штыках несла реакцию народам Европы».

Какой ужас!

По мнению советских людей (в том смысле, какой придавали этому термину Вайль и Генис), нужно было срочно перенять опыт чешских товарищей, построить в Москве социализм с человеческим лицом. Или, по крайней мере, найти какой-то прогрессивный компромисс. Но вышло совсем по-другому: глупая нация-с вдруг покорила более умную-с, и даже хуже – страна с сильно недоразвитым социализмом жестоко подавила Новый Социалистический Эксперимент.

После этого оставалось только застрелиться или уйти в оппозицию. Что советские люди с успехом и сделали.

Высоцкий потом пел, что «...Прага сердце мне не разорвала». Более того, из каких-то мемуаров я почерпнул информацию, что он в этот самый несчастный день что-то отмечал с друзьями, и на мрачное сообщение автора мемуаров (увы, забыл кого) заметил нечто вроде: «Надо было заодно еще и в Варшаву танки ввести, да и в Бухарест не помешало бы».

Убежден, что советский народ в 1968 г. примерно так и мыслил (советские люди Вайля и Гениса, кстати, к советскому народу не принадлежали – такой вот этнографический парадокс). Более того, тогда даже националистам из кругов «Веча» или какого-нибудь ВСХСОНа казалось, что путь выбран верный.

Мало того, что чехословакам насовали люлей за их странную позицию в гражданскую войну. Это уж, как говорится, в порядке торжества исторической справедливости (а она торжествует всегда, только медленно). Так ведь и сама по себе операция была логичной во всех отношениях.

Какие были запасные варианты у Кремля? По сути, один-единственный: миром договориться с пражскими «экономическими романтиками» и лично Дубчеком. То есть они, «пражане», пускают процесс в некое допустимое русло. Но при этом кремлевцам тоже придется проводить какие-то косметические реформы, как ни крути. Что, конечно, может вызвать обвал политической системы. Причем обвал этот будет понятно каким – под лозунгами «больше Ленина!», с разными социалистическими экспериментами типа народных коммун. И понятно, в чьих руках опять окажутся вожжи. Плавали, знаем. «Уже написан Вертер», хе-хе. Думается, в Москве сидели реалисты, уже наевшиеся «коммунизма с всечеловеческим лицом» по самое не хочу. Они считали, что «только что все устаканилось», и надо сохранять достигнутый статус-кво, а там, глядишь, все само собой образуется.

Короче говоря, ставя подпись под документом о начале силовой операции, Брежнев и компания делали это с чистой совестью, и никто бы из простых людей их тогда не осудил. Леонид Ильич выбрал одно из двух: либо новая «ррреволюция», либо «имперский консерватизм». Сами понимаете, к концу 60-х измордованному донельзя русскому обществу в массе своей хотелось покоя. Большинство стояло за «имперский консерватизм» (помню, когда в 1982 г. умер Брежнев, моя ныне уже покойная бабка плакала навзрыд: «После 14-го года при нем первый раз, как люди, пожили! А уж новые-то такого не дадут!»). Ну, Политбюро за это самое и расписалось.

«Пражскую весну» быстро задавили (да что там было давить-то?), и начался …ха-ха… ЗАСТОЙ. Результатом коего стала «перестройка» и все прочие радости современной жизни. Не могу сказать, что реализовался самый наихудший сценарий. Так, «тройка с минусом». Но ведь могло быть и получше.

Между тем, оценивая теперь всю русскую историю после 1968 г., начинаешь понимать, какая национальная черта сыграла в ней главную отрицательную роль.

Черта эта – отсутствие методичности и неумение просчитывать ходы. Русский человек живет импульсами. Как правило, он находится в состоянии некоторой расслабленности, и это ему нравится – сие богоугодно. Он часто совершает колоссальные усилия ради того, чтобы это самое состояния легкого расслабона поддерживать максимально долго. Но периодически из внешнего мира приходят «вызовы», и тогда русский вскакивает и начинает совершать всякие подвиги. Победив «вызов» неимоверной ценой и нечеловеческим напряжением, он снова залезает на родную печь, спать.

Между прочим, это особенно чувствуется в российской офисной среде, да и в бюрократических конторах тоже. Никто не умеет ничего толком планировать хотя бы на месяц. Вдруг (!) выясняется, что через три дня Новый год, а то-то и то-то не сделано… Ну и далее в том же духе. Отсюда обратная сторона медали – попытки реагировать уже на дальние знаки

«вызовов», чтобы их предупредить. «Вызов» пока даже не вырисовывается, а его пытаются подавить. Типа, из дому еще не вышли, но соломку на дорогу пытаются подстелить. Отсюда странная манера русского управления, которая характеризуется хорошим немецким словом Hektik. Или, как говорил Аверченко, «все хлопочут». Бегают, машут руками, орут, гогочут. КПД всех усилий равен 3 %.

Вот и в случае с Прагой брежневцы расписались за поворотный пункт русской истории, а что делать дальше – даже не задумались. «Кривая вывезет».

Между тем «А», которое сказало Политбюро, требовало последующих «Б», «В» и, не побоюсь этого слова, «Г». Но мы НИЧЕГО НЕ УСЛЫШАЛИ.

Выбрали «имперский консерватизм»? Хорошо, очень хорошо. Вас поймут. Продолжайте в том же духе. Сверните шеи «советским людям» – аккуратно, без шума. Имейте в виду, что всякий авторитет в левых движениях Запада вы после этого потеряли окончательно – ищите другой способ влияния на международной арене, другой идеологический товар (он, кстати, всегда рядом лежал). Развивайте все необходимые черты «законсервированной империи». Тихо-мирно откажитесь от марксизма, сделайте из него неопределенный «национальный ленинизм». Между прочим, не мешало бы и Солженицына послушать с его «северным проектом» (по ходу действия и мозги ему немного вправить). Европейские союзники вас теперь будут бояться и в душе презирать – так проведите в этих странах смену политических элит как можно быстрее. Ну и много чего еще следовало из такого выбора.

Ничуть не меньше важных и трудных действий последовало бы и из компромиссного решения, ежели бы оно было принято. Но у него был один большой плюс – «реформы» Россию всегда мобилизуют, а вот «консерватизм» почему-то всегда расслабляет.

Иными словами, брежневцы расписались в приказе, махнули рукой и полезли на русскую печь. С этого момента Западу с «СССР» уже все ясно. Торжествует старая имперская модель: вызов – ответ – застой, и так по кругу. То есть, выбирая «консерватизм», выбирали типичный для московской политики и психологии путь: быстро раздавим беспокоящий фактор, а потом будем отдыхать. До следующего фактора. Счастливые часов не наблюдают, ага.

Между тем, именно «консерватизм» в политике требует значительно большего количества усилий элиты, нежели «реформы». Реформаторам проще – они разворошат муравейник и ждут, когда несчастные насекомые все сложат обратно. Консерватор не имеет права рушить муравейник по определению. Он должен каждый день предпринимать какие-то действия только для того, чтобы сохранить статус-кво. И еще более серьезные действия, чтобы получить хоть какое-то развитие.

Иными словами, «консервативный» выбор всегда требует: а) осознания того, что работать придется КАЖДЫЙ ДЕНЬ и БЕЗ ОТДЫХА; б) наличия

хорошо проработанного ПЛАНА (а лучше – нескольких параллельных планов). И это не просто какие-то политические лозунги, это должно быть *стилем повседневной жизни, в том числе бытовой.* Нужна методичность и последовательность.

То есть «консерватизм» предполагает *наличие* (хотя бы в *перспективе*) хорошо образованной, деятельной, широко мыслящей, подчеркнуто демократичной и открытой новым веяниям политической элиты. Во всяком случае, брежневцы должны были поставить целью воспитание такой элиты. Ничего подобного сделано не было. Люди, осознававшие, от какого монстра они защищают Россию, к началу 80-х помаленьку вымерли, не оставив смены. А следующая генерация пошла самым простым путем – путем многолетнего ворошения муравейника.

Короче говоря, Политбюро, расписавшись в августе 1968 г. за «имперский консерватизм», явно не осознавало, какую ношу на себя взваливает и что теперь предстоит делать. А ноша оказалась слишком страшной для этих людей, и они рухнули под ее тяжестью. По ним теперь и звонят колокола Праги.

А нам сие, как говорится, да послужит хорошим уроком. Хотя бы *расписания на неделю научимся составлять.*

НЕПОДВИЖНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ ЛЬВА КАРСАВИНА

Цель данного доклада – проанализировать возможные влияния историко-методологического подхода, развитого Л.П. Карсавиным, на конкретные исторические исследования, а *также* описать тот «образ истории», который был характерен для этого мыслителя. Л.П. Карсавин был избран потому, что он, во-первых, в отличие от большинства русских философов, сам был историком и понимал особенности этой профессии изнутри, а во-вторых, подробно разработал философию и методологию истории, как науки, что удавалось немногим.

Тем не менее, приступая к такому анализу, следует оговориться: речь идет о чисто гипотетическом, «возможном» влиянии карсавинской методологии, которое могло бы наблюдаться, однако, по ряду исторических причин, не состоялось. В этом смысле наша работа посвящена исследованию своего рода «исторических альтернатив». И поэтому мы вынуждены начать с некоторого общего комментария, который будет важен для дальнейшего хода рассуждений.

«Философия всеединства» как запоздалая реакция национальной интеллектуальной элиты России

Когда говорят о философии и историософии всеединства, к сожалению, испытываешь легкое недоверие к самим терминам – поскольку термин «всеединство» в настоящее время настолько размыт и настолько истрепан разного рода шарлатанами от философии, науки и религии, что возникает желание вообще эту тему не обсуждать. Тем не менее, надо понимать, что всего сто лет назад «всеединство» было вполне приемлемым (и новым!) понятием русской философии.

«Всеединство» было естественной и здоровой реакцией русского образованного класса, национальной элиты на те интеллектуальные и социальные процессы, которые происходили в стране. По ряду исторических причин крестьянская реформа в России опоздала минимум на полвека, да и то, что было сделано властями, оказалось компромиссным вариантом. Однако в ходе реформ перелом в сознании русских произошел – появился *новый тип сознания, предпринимательски-мещанского и одновременно* архаичного (его можно охарактеризовать, как сознание «кулака»). В этом нет ничего особенного или существенно отличающегося от аналогичных процессов в Европе (правда, к 1861 г. там эти процессы уже в целом завершились). Особенностью русского, если так можно выразиться, «нарождающегося слоя мелких буржуа», было стремление совместить прежние религиозные верования и новые методы науки, найти ответы на «вызовы» современности, как модно теперь говорить. Мы не будем рассуждать о том, почему это происходило, отметим это, как сам собой разумеющийся факт (а также и не будем как-либо это явление оценивать). Первым, кто почувствовал такую потребность, стал В.С. Соловьев, стремившийся к синтезу веры и знания. Предшественником Соловьева в этом смысле отчасти был А.С. Хомяков, написавший свою, до сих пор весьма интересную с концептуальной точки зрения, версию всемирной истории (основанную на дуализме и борьбе «иранских» и «кушитских» религий).

Явление, которое мы описываем, российский исследователь С.С. Хоружий назвал «встречей философии и Православия»*, однако, пожалуй, это не совсем верно. Это была попытка определенного синтеза религиозных, национально-культурных и научных идей, и, к сожалению, нельзя не согласиться с мнением Г. Флоровского о том, что православие философов всеединства (и прежде всего самого Л.П. Карсавина) сильно отличалось от «исторического Православия»**. Более того, на философов «всеединства» сильно повлияли каббалистические идеи о Шехине, мировой душе, самоограничении Божества (т.н. доктрина «цимцум»***; эта схема

* Хоружий С.С. Встреча философии и Православия // Вопросы философии, 1991, № 5

** Флоровский Г.В. Russische Gedaenke, 1929 Н.2

*** См., напр., популярное исследование Г. Шолема «Основные течения еврейской мистики» (любое издание)

потребовалась, в частности, Карсавину с целью избежать опасных по тем временам обвинений в пантеизме), представления о едином всечеловеке Адаме Кадмоне, некоторые гностические направления, и только этим можно объяснить расхожесть среди философов идеи «Софии – премудрости Господней», которая часто понималась (или, скорее, подразумевалась), почти как четвертая ипостась христианской Троицы (в частности, в таком духе целиком выдержано сочинение П. Флоренского «Столп и утверждение истины»). Русская церковная мысль в указанный период, как мы знаем, находилась в определенном «параличе» – в том смысле, что она не занималась широкой пропагандой исторического православия в среде интеллигенции.

«Всеединство» было своеобразным национальным ответом на позитивизм и материализм, на их засилье в философии. Оно потенциально вполне соответствовало сознанию русского «среднего класса» и могло бы быть им воспринято, поскольку совмещало религиозную веру, интерес к знанию, а также, что характерно, идею некоторой национальной исключительности, «избранности», которая подчеркивалась практически всеми философами этого круга, и, вне всяких сомнений, могла бы быть воспринята русским «потребителем философских концепций». Судя по всему, такой потребностью был некий «умеренный националистический гностицизм». Отметить это важно, поскольку в наше время такая схема также воспроизводится (скажем, в публицистике А. Дугина и авторов, близких к его кругу), хотя она и в меньшей степени ориентируется на православие, а также выглядит более радикально. Тем не менее, все же эти идеи остаются где-то на окраинах общественной мысли даже при наличии массы сторонников и потребителей.

Однако вернемся к основной теме. Интеллектуальная реакция XX в., как и реформы, оказалась запоздалой. К моменту, когда философы «всеединства» более или менее завершили свою подготовительную, теоретическую работу и уже должны были приступить к практическому осуществлению программ, историческая Россия пережила катастрофу 1917 г., а в самом скором времени все мыслители национально-религиозного направления были просто-напросто вышвырнуты из страны. Тем не менее и за рубежом хорошо налаженная интеллектуальная машина русской философии еще долго продолжала генерировать идеи и концепции, которые уже не могли определить лица России. Те, кому эти идеи предназначались, в основном погибли в ходе гражданской войны. Перед новой национальной элитой после 1991 г. стоят несколько другие задачи, по крайней мере, идея синтеза религии и «положительной науки» сейчас не очень модна в России – хотя бы из-за полного кризиса в научной сфере (я не говорю о дилетантах и шарлатанах, использующих термин «всеединство» для протаскивания всюду урезанных версий восточных религий).

Однако наследие философии «всеединства» чрезвычайно интересно хотя бы потому, что оно выражает некоторые глубинные моменты русской

национальной психологии. Тот же С. С. Хоружий так определяет всеединство: это «...категория онтологии, обозначающая принцип внутренней формы совершенного единства множества, согласно которому все элементы такого множества тождественны между собою и тождественны целому, но в то же время не сливаются в неразличимое и сплошное единство, а образуют особый полифонический строй» *. В типологическом смысле это направление близко системам Шеллинга и Гегеля **, к историческому моменту возникновения «всеединства» уже исчерпавшим себя на Западе, однако оно от них существенно отличается (как указывают некоторые источники ***, в сторону их модернизации и усовершенствования). И, естественно, «всеединство» должно было сыграть подобную же роль в России – то есть положить конец «классическому философствованию» (в нашем случае – повторению «задов» позитивизма в разных его ипостасях) и стать основой для дальнейших национальных интеллектуальных поисков. Однако события XX в. законсервировали это направление, превратили его в реликт.

Но есть сфера, в которой применение идей из «архива философии всеединства» кажется нам полезным. Это российская историческая наука, которая сейчас мучительно ищет новые формы для самовыражения, отвергнув вульгарный социологизм марксизма и не принимая различные популярные методики западных историков (вроде до сих пор применяемого фрейдизма).

Тем более интересно посмотреть, насколько близка нам та программа, которую выдвигал Л. П. Карсавин, который характеризовал положение в исторической науке своего времени так: «Нравы историков свидетельствуют о состоянии истории. А оно ныне характеризуется крайнею специализациею, т. е. распадом целостного знания на самодовлеющие дисциплины, утратою идеи человечества. Распад доходит до того, что никто даже и не задумывается над согласованием друг с другом разных исторических дисциплин» ****. Совершенно аналогично описывается положение вещей в современной историографии – то есть кризис стал здесь вполне нормальным состоянием. О том же самом писал в начале 90-х гг. российский политолог В. Сироткин в послесловии к известной работе Ферро: «Наша историческая наука вся разбита на отдельные „огороды“... все изучение мировой истории поделено на „ведомства“... соответственно поделено и преподавание всемирной истории» *****.

---

* Хоружий С. С. Идея всеединства от Гераклита до Бахтина // После перерыва. Пути русской философии. Спб., 1994, с. 33

** Новикова Л. И., Сиземская И. Н. Русская философия истории. М., Магистр, 1997, с. 256

*** См., напр.: Моисеев В. И. Всеединства логика // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., Наука, 1995

**** Карсавин Л. П. Введение в историю (теория истории). Спб., Наука и школа, 1929, с. 219

***** Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира, М., Высшая школа, 1992, с. 310

Мы пойдем по пути анализа основных составляющих исторических взглядов философа, попытаемся восстановить тот «образ истории», который казался ему наиболее соответствующим действительности.

О понятии «образ истории»

Термин «образ истории» в настоящее время широко распространен в исторической науке, особенно после работ Х. Уайта и Ф. Анкерсмита*. В данном случае я говорю о законченной картине, задающей основные характеристики исторического повествования. С моей точки зрения, исторический нарратив может выступать в виде «притчи» или «биографии», состоять из «плана» (определены или нет начало и конец истории) и «направления развития», обладать некоторыми понятиями о причинности, иметь содержательную отсылку к определенному религиозно-философскому контексту и часто выражаться в виде законченных «мифологических» форм. Все эти характеристики следует внимательно рассмотреть при анализе взглядов и текстов того или иного историка.

В нашем случае анализ затруднен тем, что основной исторический труд Л. П. Карсавина – «История европейской культуры» – написан на литовском языке, которым автор данной работы владеет недостаточно хорошо для того, чтобы самостоятельно это произведение изучать. Тем не менее, Карсавин оставил две основные работы, посвященные философии и теории истории – «Введение в историю (теория истории)» и «Философия истории», которые и будут здесь кратко (и в сильно упрощенной форме) охарактеризованы.

Отношение к историческому источнику и цели познания

По мнению Карсавина, «… чтобы могли существовать развитие и наука о нем, субъект развития должен быть всевременным и всепространственным единством»**. Этот субъект развития лишь кажется нам эволюционирующим и преходящим – на самом же деле это лишь проявление единого вневременного и всевременного Абсолюта. Таким образом, все формы социальной деятельности суть в некотором смысле одна деятельность***.

Карсавин считает, что история должна изучать социально-психическое развитие человека, быть проникновением исследователя в иной душевный процесс****, тем, что в начале XX в. философы-интуитивисты называли «вживанием» и «сопереживанием». При этом сама идея субъективности такого познания им отвергается – он убежден в том, что «воспринимая

* Подробно о методологическом подходе Ф. Анкерсмита см., напр.: Norkus Z. Apie istorizmą ir modernizmą istoriografioje//Istoriografija ir atvira visuomene. Vilnius, 1998, p. 69

** Там же, с. 10

*** Там же, с. 11

**** Там же, с. 16

действительность, мы воспринимаем ее в реальности, а не преобразуем ее…»*. Цель исторического исследования, по Карсавину, – *понимание смысла истории*.

Для того, чтобы понять этот смысл истории, считает философ, вовсе необязательно изучать все исторические источники всех мировых культур. Дело в том, что любой аспект бытия – и это характерное утверждение философии всеединства – обладает свойством «стяженности», contractio (термин заимствован у Николая Кузанского), то есть демонстрирует всеединство, как бы потенциально содержит в себе «все». В любом аспекте бытия лежит ключ к познанию Абсолютного. Таким образом, для понимания этого Абсолютного часто достаточно одного комментария к одному историческому документу и таланта исследователя, способного путем «вживания», исторической интуиции, открыть восприятие вечности. В таком случае «… всякое, даже самое частное исследование взаимоотношений между несколькими рукописями одного источника само собою будет исследованием общеисторического характера и значения и возможно только на почве его связи с познанием целокупности социального развития»**. Не стоит бояться индивидуальных и субъективных построений, поскольку они точно так же могут открывать аспекты Абсолютного.

Изменения и план исторического развития. По мнению философа, «…изменение есть непрерывно меняющаяся во времени система взаимоотношений пространственно разъединенных элементов»***. Субъект развития представляет собой систему изменений в ее предельном развитии. В этом смысле В. И. Моисеев характеризует взгляды философов всеединства так: по его мнению, «сущее» выражается на множестве «начал» и их отношениях, подобно тому как операционализируется идея целого в математической теории множеств переходом от интенсионала (свойства) к его экстенсионалу (множеству). Наблюдается некоторая «математизация» отношений с бытием, как в теориии множеств.

По Карсавину, изменения представляют собой проявление специфического взаимоотношения Абсолютного и эмпирического, временного бытия, «кажимости». Иными словами, все изменения предусмотрены заранее, и человечество живет в замкнутой системе, где, на самом деле, не существует «развития» или «прогресса». Развитие здесь может пониматься только в смысле некоторых заданных событий существования относительных субъектов, представляющих собой проявления все того же Абсолютного. Исторический метод, в отличие от методов естественных наук, способен преодолеть пространственно-временную разъединенность наблюдаемых событий. Таким образом, история есть синтез, проникновение к абсолютной вневременной истине.

* Там же, с. 16–17

** Карсавин Л. П. Указ. соч., с. 30

*** Карсавин Л. П. Философия истории. Спб., АО Комплект, 1993, с. 19

Причинность и детерминизм в истории

Карсавин полностью отвергает саму идею причинности. Она, в рамках построенной философом системы, представляется ему нонсенсом, вредной «кажимостью», обманом зрения. Субъект действует и воспринимает результаты своих действий. Поскольку все действия заранее определены Абсолютным Субъектом, то никакой «причинности» в обычном смысле не существует. И, таким образом, восприятие событий, как следующих одно за другим и определяющих друг друга, теряет в рамках этого подхода всякий смысл. Он выносит категорический приговор: «причинное объяснение в истории невозможно» *.

Объект исторического исследования

Таким объектом в карсавинской историко-философской системе является культура в самом широком смысле этого слова – как комплекс духовных, социально-психических проявлений общества, «органической личности». Культуру Карсавин называет высшей личностью **, но при этом понимание данного термина у него таково: «идея культуры должна определяться через отношение к абсолютной истине, к абсолютному благу, бытию, красе. А это значит, что наиболее плодотворно для понимания культуры изучение ее религиозных качествований» ***. Таким образом, он призывает изучать некоторое «религиозное ядро» и его проявления, «эманации» в культуре общества. Подобная схема совершенно логично следует из понимания философом общей схемы исторического развития.

Схема исторического развития

«История человечества есть не что иное, как эмпирическое становление и погибание земной Христовой Церкви… апогей развития человечества – христианская религиозная культура» ****. Таким образом, можно считать, что Л.П. Карсавин заимствует общую схему Священной истории, лишь слегка модернизируя ее, вводя характеристику «эмпирическое», которая дает возможность историку искать проявления Церкви Христовой всюду, а не только в рамках культурных влияний православия (тем самым философ выдает и свои определенные католические симпатии, вполне объяснимые у историка-медиевиста; вероятно, он также желал избежать обвинений в следовании «ксенофобским» ортодоксальным схемам). В развитии исторических сущностей Карсавин видит четыре основных момента: 1)

* Там же, с. 34

** Там же, с. 167

*** Карсавин Л. П. Указ. соч., с. 167–168

**** Там же, с. 207

потенциальное всеединство; 2) первично-дифференцированное или надорганическое единство; 3) органическое единство; 4) распад и смерть *. Конечно, эти моменты не могут быть заданы механически – часто история сущности прерывается в любой из указанных моментов. Тем не менее, очевидно, что из трех описанных философом исторических схем («деградация», «прогресс» и «апогей развития») ** ему близка именно схема деградации, инволюции (как, впрочем, и вообще всем философам всеединства, испытавшим сильное влияние философии гностицизма). Историческая сущность либо обладает внутренним «позывом», тягой, любовью к Абсолюту – и тогда это «органическая личность», – либо поражена болезнями все разъедающей индивидуальности и стремится к распаду, к смерти (в этом, кстати, карсавинская концепция в чем-то перекликается с идеями немецкого религиозного философа П. Тиллиха о теономном, автономном и гетерономном обществах).

Обобщенный «образ истории» у Карсавина

Как же «выглядит» история в целом? Карсавин смог нарисовать примерно следующую картину: существует единая «симфоническая личность», напрямую связанная с Абсолютом. В момент апогея она переживает органическое единство и полное соответствие своим заранее известным, извечно предписанным задачам. Однако почти всегда отдельные части «симфонической личности» начинают индивидуализироваться, восставать против единства и, в конечном счете, вести дело к отпадению от него. Поскольку же главным проявлением истории является отражение религиозности в культурных артефактах, то изучение любого из них может показать нам, на каком пути находится данная сущность – деградирует ли она или переживает апогей (иных путей, по-видимому, в данной системе нет), либо какая новая часть «симфонического организма» приходит ей на смену. Историческое повествование, как мы можем убедиться – всегда «притча», комментарий на священный текст, рассказ о том, сколь неудачны пути единичных сущностей к вечному Абсолюту.

Роль историка

В связи со всем этим роль историка сводится, фактически, к роли жреца-истолкователя и интерпретатора событий. Ему известны начало и конец истории, известен идеал развития, известны возможные пути развития исторических сущностей. После этого задача историка – искать знаки «гармонии» или «дисгармонии», указывать на «отпадение», демонстрировать присутствие Абсолютного в мире. Историческое исследование

* Там же, с. 206

** Там же, с. 234

превращается в «истолкование знаков» или интеллекутальный прорыв к Абсолютному. Главное для историка – увидеть вечное за игрой «эмпирических сущностей». В конечном счете, он оказывается «диагностом» состояния социально-психической жизни общества (культуры), того, насколько она отпала от «симфонической личности». Делает он это путем «сопереживания», вживания в исследуемую сущность. Историк превращается в пророка.

Однако пророческий дар должен быть основан на серьезной религиозной традиции. Отсюда постоянные и повсеместные (сейчас сказали бы – навязчивые) заявления Карсавина о том, что история должна быть православной наукой, что оценивать актуальное состояние культуры можно только с православной точки зрения. Совершенно необходимым образом теория Л. П. Карсавина вела его к признанию одной-единственной проявленной в мире абсолютной истины, точнее, к факту существования ее наиболее адекватного проявления – и таким фактом было православие, историческая Россия. Однако 1917 г. сильно изменил настроения философов «всеединства», и от православия они перешли к разным вариантам «либерального национализма» (либерального в старом смысле этого слова, то есть «толерантного», терпимого к другим народам), что можно заметить и у Карсавина в его увлечении евразийством. Уже в заключительных главах «Философии истории» Карсавин проводит мысль о том, что в русской революции проявились потребности и чаяния русского народа, его «стихия», и большевики стали «единственно возможной организационной формой» для этих стихий. Тем самым видимое падение исторического православия для Карсавина не значило ровным счетом ничего – он в результате лишь явно выразил свою ориентированность на «национализм», а не на «религиозность» (не следует думать, что термин «национализм» имеет здесь какую-либо негативную окраску). Следовательно, главной характеристикой философии всеединства в ее приложении к истории следует все-таки считать именно национально-культурные, а не религиозные характеристики.

Литературно-художественный и философский характер «карсавинской программы»

Важно отметить тот факт, что Карсавин предлагает чрезвычайно полезную в «рыночном отношении» методику, на которую, в отличие от работ многих других историков, обязательно будет повышенный спрос. Ведь история, согласно Карсавину – это нечто вроде синтеза культурно-философского эссе, художественного произведения и религиозной проповеди (в этом смысле по стилю ему мог бы быть очень близок М. Фуко), что не может не вызывать повышенный «читательский спрос». «…следует отбросить напрасный вопрос, каковы были причины гибели Рима, и просто описать, как империя погибала и каковы основные черты этого процесса. …

существуют такие-то характерные черты социального субъекта и данного его состояния, говорит историк» *. И это дает нам надежду на плодотворное использование многих моментов «карсавинской программы» в современном историческом творчестве, где возрастает роль «исторических картин», образных изображений действительности.

Общий подход Карсавина подвергался ожесточенной критике со стороны менее фундаменталистски настроенных философов, особенно Н. А. Бердяева, который, в частности, сказал, что «учение о симфонической личности глубоко противоположно персонализму и означает метафизическое обоснование рабства человека» **. Тем не менее, мы можем признать, что такой образ истории присущ как русскому историческому сознанию, так и, во многом, массовому историческому сознанию вообще (особенно, если это массовое сознание сохранило некоторые остатки религиозности).

Реализации «карсавинской программы» в XX в.

Несмотря на то, что философы «всеединства» оказались за рубежом, впоследствии евразийскому движению все же удалось осуществить инфильтрацию ряда своих идей в советские общественные науки. Существовало несколько путей такого влияния. Прежде всего, идеи «всеединства» отчасти были восприняты В. И. Вернадским, а затем, в упрощенном и видоизмененном (часто сильно искаженном) виде, распространены среди ученых-естественников. Вторым каналом влияния «всеединства» оказалось творчество Л. Н. Гумилева, его теории этногенеза и вообще историческая картина. Отметим тот факт, что Гумилев, как ученый-географ, не мог не быть знаком с идеями Вернадского, а затем общение с «отцом евразийства» П. Н. Савицким еще больше повлияло на его взгляды.

Л. Н. Гумилев выдвинул историко-философскую программу, которая очень напоминает карсавинскую, но все же значительно от нее отличается. Гумилевское «всеединство» – это скорее органическое соотношение природы и человеческого общества, которое проявляет себя также и в социально-психической жизни. В реальных исторических исследованиях у Гумилева заметна склонность к биологизму, к антропоморфизации исторического повествования (здесь заметно влияние Шпенглера, но также и Карсавина). Он строит свой образ истории на двух взаимоисключающих понятиях «системы» и «антисистемы». Система живет в разумном соотношении с окружающим ландшафтом и в качестве божества ее представители неизменно почитают Жизнь (почти в ницшеанском смысле, но выражающуюся в огромном количестве различных форм). Антисистема,

* Карсавин Л. П. История европейской культуры//Русская литература в Литве. XIV–XX вв. Вильнюс, 1998, с. 426–427

** Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека//Бердяев Н. А. Царство Духа и царство кесаря. М., 1995, с. 19

или химера (система, сросшаяся с антисистемой), почитает в качестве божества Ничто, Эйн-Соф, пустоту и ведет дело к деградации, вымиранию, отпадению этноса от органического единства с природой.

В данном случае идеи Карсавина значительно упрощены, но «образ истории», который рисует Гумилев, мало чем отличается от описанного нами выше. И точно так же историк здесь оказывается «диагностом» распада, отхода «системы» от полноты бытия, от гармонии. Это, судя по всему, тип исторического повествования, характерный для переломных моментов общества. Он имеет довольно специфичный, гностический характер: в частности, в книге «Древняя Русь и Великая Степь» Гумилев приводит в защиту своих взглядов некий древнемонгольский гностический апокриф, *содержащий в сжатом виде все его мировидение*. (У автора данной статьи есть серьезные подозрения относительно фальсификации этого документа Гумилевым; вспомним, однако, что Карсавин тоже упражнялся в сочинении псевдогностических трактатов – например, «София земная и горняя»).

Как ни печально признать, последним по времени, доведенным до крайней степени примитивизма проявлением «карсавинской программы» стали сочинения небезызвестного математика А. Т. Фоменко и деятелей его круга. В данном случае интересна не эта сплошная историческая фальсификация, а попытки комментаторов из числа близких к такой разновидности «фольк-хистори» интеллектуалов доказать ее родство с идеями «абсолютного всеединства» Карсавина. (Фоменко объявляет разные, но подобные события, одним событием и, по мнению этих комментаторов, указывает на «архетипические» явления в Абсолютном Бытии). Так или иначе, родственный характер этих систем очевиден, просто фоменкизм можно назвать «смертью и распадом» некоторых отголосков, остатков теорий Карсавина. Более того, можно сказать, что русскому (как и европейскому) сознанию присуща тенденция к уничтожению понятий о времени как таковом – и она проявляется в самых разных формах. Следует лишь не дать ей развиться до последних логических пределов.

При этом следует отметить факт поразительной живучести схемы Л. П. Карсавина и огромного общественного интереса к историческим исследованиям на подобной методологической основе, что подтверждает существование в России того «потребительского слоя», который имеет спрос на подобные произведения. Выше нами уже была отмечена связь массового исторического сознания, которое хочет спастись от «ужаса перед историей» путем обращения к постулированию вечных сущностей, «архетипов»*, с *основными пунктами «карсавинской программы»*. Более того, по наблюдениям некоторых западных авторов**, обыденное сознание вообще склонно к стихийному гностицизму и «теории заговоров» (а чем иным оказывается, в упрощенной форме, карсавинская историческая картина,

* См., напр: Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., Алетейя, 1998

** Bale J. M. «Conspiracy Theories» and Clandestine Politics//The Lobster, № 29, 1998

постулирующая наличие везде проявляющегося Абсолюта и, подспудно, всюду проникающей и все разрушающей «противосимфонической» индивидуальности, как не гностическим дуализмом, только удачно замаскированным?). В этом смысле Карсавин оказывается чрезвычайно «рыночным» автором, точнее, учителем для рыночных литераторов, и в этом смысле его книга сродни какому-нибудь «Искусству предпринимательства». Дело в том, что тот пафос, который проповедует «Философия истории», намного более понятен неподготовленному читателю, *нежели многие* построения так называемых «классических научных историков». В наше время, когда историческая наука (особенно российская) застыла на некоем распутье, и внутри нее ведутся дискуссии о «возврате к Геродоту»*, «карсавинская программа» может стать важной вехой, неким принципиальным указателем направления на дороге методологий. Она может нравиться или не нравиться, вызывать неприятие или импонировать – важно одно: в русской философии истории других столь же завершенных и продуманных концепций, пожалуй, нет.

ИДОЛЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Нам, кажется, повезло – на наших глазах заканчивается интеллектуальная эпоха, основной страстью и главным содержанием которой было **упрощение**. Возможно, когда-нибудь ее назовут эпохой глобального редукционизма. Трудно точно сказать, когда она началась – уже весь XVIII век Европа проводит в состоянии легкого наркотического опьянения от философских упрощений, и этот век завершается французским революционным кошмаром. Однако этого европейской цивилизации показалось мало. Последовавшее за 1789 г. обвальное перерождение живых организмов христианских государств в механические устройства, созданные для получения некоего «эффекта», привело, в частности, к тому, что история из искусства (не случайно греки даже придумали *музу*, покровительствующую истории) превратилась в «науку», а затем в «средство пропагандистского оболванивания толпы». В XIX веке, – при том, что уже существовала древняя, мощная, утонченная традиция рассуждений о теории и методах познания, – вдруг (впрочем, совершенно закономерно, ибо в рамках государств-механизмов ничего другого возникнуть просто не может) в центре европейской мысли воцарился дикарский принцип «истинно то, что лично мне (или моей

* Бойцов М. А. Вперед, к Геродоту//В сб.: Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. М., РГГУ, 1999, с. 17–41

социальной группе) *представляется* истинным», дополненный максимой, которую в свое время цитировал еще М. В. Ломоносов: «природа весьма проста; все, что противоречит этому, следует отбросить». Конечно, никто не говорил такие вещи вслух и прямым текстом, однако эта нехитрая философия цирковой обезьяны, рядясь в самые разные одежды и прикидываясь «научным подходом», с переменным успехом просуществовала аж до конца XX в., когда ее, кажется, окончательно добила «новая волна иррационализма и мракобесия» – это если говорить терминами обезьян, а по сути, – **великая контрреволюция бытия**, бунт vitality, жизненной силы, запертой в рамки псевдонауки с ее псевдоэтикой, и не желающей более терпеть эту тюремную камеру-одиночку... Отсюда потрясающий и повсеместный всплеск интереса к религии и мистике, к фантастике и фэнтези, ко всему таинственному и «непростому» в настоящей и исторической жизни.

Сегодня мы наблюдаем арьергардные бои монистического редукционизма, стремившегося все свести к чему-то одному – экономике, борьбе классов, сексуальным инстинктам, подсознанию и т. п. Он еще усиленно хватается за соломинку «научного метода», которым якобы обладает. Однако редукционизм, претендуя на роль стратегического подхода, проиграл все войны, которые планировал, и верить ему мы уже не можем. Мы понимаем, что перед нами шарлатан-неудачник, которому, однако, почему-то верили.

Теперь испытываешь странное чувство неловкости, когда смотришь на несложные приспособления, с помощью которых шарлатан умудрялся обманывать миллионы людей. Утверждение вроде «все следует из ... (подставить нужное)», пара–тройка примитивных логических фокусов и много-много похвал в адрес клиента-дурачка. Только и всего. А люди искренне начинали верить, что у истории есть простые и понятные законы, что она движется в определенном направлении, и в ней нет никаких секретов – наш дорогой мудрец нам все объяснил, и мы поняли, что к чему, мы стали обладателями истинной мудрости. Все, что ей противоречит, следует отбросить. Или уничтожить.

Эпоха упрощений создала характерную мыслительную конструкцию, о лживой сущности которой мы даже не задумываемся, так она стала нам привычна. Состоит она в следующем: каждое наблюдаемое событие имеет свою причину, эта причина – собственную причину и так далее, вплоть до некоей скрытой в глубине Первопричины. Овладев ею, мы можем адекватно понять происходящее и даже влиять на него так, как нам хочется. Материальная первопричина стала гигантским рукотворным идолом, окруженным болванами поменьше. Социальную жизнь объявили подобием физической механики. Результаты нам хорошо известны – идолы первым делом потребовали крови и требуют ее до сих пор. И неважно, кто хочет жертвоприношений – истукан «классовой борьбы» или болван «эффективной рыночной экономики», кровь от этого остается кровью, а смерть – смертью.

История эпохи упрощений – это «наука», в которой истории как таковой нет, а есть траектория, по которой, сметая все на своем пути, движется очередной рукотворный божок. Все, на что способна такая «история», – логично объяснить, «по какой причине» этот божок без малейших сомнений в своих правах сожрал очередной миллион человек. Мол, такова «историческая закономерность».

По всей видимости, выход из «урочища идолов» может быть только один – считать, что человеческая история есть всего-навсего **повествование**. То есть, попросту говоря, специальным образом организованный текст. Прежде, чем говорить о том, какие *жанры* бывают в этом повествовании, еще раз коснемся любимой темы всех дилетантов, которые думают, будто что-то понимают в историческом процессе (особенно этим грешат люди с чисто техническим образованием, без уклона в физику и вообще естественные науки) – темы, которая носит обобщенное название «причины и следствия».

Более того, мы должны понять, что настоящие исторические события (то, что у нас любят называть «фактами») происходят не «из-за чего-то», а просто потому, что они происходят. Сами по себе они совершенно иррациональны. Более того, они настолько «сильны», что впоследствии порождают собственную логику и сами создают себе адвокатов (ну, и обвинителей, конечно, тоже). Можно сказать, что **чем явственнее предопределенность того или иного события, тем меньше у него шансов стать объектом исторического повествования.**

Иными словами, никаких «причин и следствий» в историческом процессе нет. Есть лишь события, которые мы по каким-то своим причинам *принимаем* за причины и следствия. Хотя при последовательном анализе каждый раз оказывается, что такое допущение сделано совершенно произвольно – точнее, не имеет объективного характера. «Причина» оказывается вопросом *личной веры*. Знаменитое «ветер дует оттого, что деревья качаются» – прекрасный пример такого подхода (заметим, что обратное утверждение тоже оказывается проявлением личной веры, хотя, возможно, и несколько более адекватной).

И, тем не менее, огромное количество людей верит в исторические следствия и причины. Почему? Все очень просто: люди хотят, чтобы мир, в котором они живут, просто и понятно объяснялся. Это похвальное стремление, но, увы, в историческом исследовании оно быстро заводит в дискурсивный тупик, к тем самым идолам.

Самый простой, самый честный и, кстати, самый гуманный подход из числа причинно-следственных факторов – это пресловутая «теория заговоров» (в скобках подчеркну, что ВСЕ причинно-следственные подходы к истории, включая и этот, **ошибочны**). В древности эта теория выражалась в сказаниях о богах и героях, которые творят мир в соответствии со своим разумением. Троянская война, как известно, случилась, потому что боги устроили конкурс красоты. То есть, в сущности, она оказалась результатом некоего мимоходом составленного заговора.

Но со временем центр тяжести исторического процесса был перенесен в человеческий мир, в результате чего появились «теория заговоров» и «теория роли выдающейся личности». Особой разницы между ними нет. «Сверхличность», или «гений», творит мир по образцам, созревшим в собственном мозгу. «Заговорщики» делают это скопом – у них есть огромная мощная организация, которая способна изменить мир совершенно определенным образом.

И если в «сверхличность» иронично настроенный средний обыватель верит с трудом, то «теорию заговора» вполне может и проглотить. Жизнь показывает, что организованная совместная работа дает больше результатов, чем усилия одного человека. Обыватель, экстраполируя деятельность своего узкого коллектива, приходит к простому выводу: могут существовать огромные, очень влиятельные структуры, способные эффективно влиять на ход истории. Более того, они умеют просчитывать возможные варианты развития событий и делать так, чтобы состоялся сценарий, отвечающий их интересам. Между прочим, постоянные ссылки на то, что «заговорщики» владеют некими магическими силами, весьма показательны – сознание неспособно себе представить, что такое можно реализовать с помощью простой человеческой логики.

Так и возникают «городские мифы» о пресловутых «жидомасонах», розенкрейцерах, иезуитах и т. п. Некоей тайной организации, объединяющей интеллектуалов и богачей, в сущности, приписывается контроль за колоссальными вычислительными ресурсами, с помощью которых можно не только заглянуть в будущее, но и разработать сценарий его переделки. Все это, конечно, легко опровергается опытным путем, однако ни вера в «страшных масонов», ни, что удивительнее, попытки создать подобные структуры (неизменно заканчивающиеся крахом и выходом событий из-под контроля), по всей видимости, никогда не исчезнут. Такова уж человеческая натура.

На следующем же уровне исторического восприятия люди вообще отказываются от идеи творческой личности. Это уже уровень «побитых жизнью» – они понимают всю тщетность стратегического планирования и попыток что-то коренным образом изменить. Они уже поучаствовали в многочисленных «заговорах» и пришли к выводу, что влиять на происходящее можно только в очень узких пределах. Их взгляд на происходящее, если угодно, уже начинает отдавать «религиозным душком». Личность ниспровергается с пьедестала, гуманизм терпит крах и выбрасывается на свалку. На место прежних кумиров водружаются «движущие силы истории» – например, экономическая деятельность индивидов. Причем люди («индивиды») здесь играют второстепенную роль: раз уж они вступили в экономические отношения, то включаются какие-то механизмы, которые сильнее человека и даже сильнее любого коллектива. «Производительные силы и производственные отношения» в марксизме, «невидимая рука рынка» в либеральных экономических учениях… Все это кажется

значительно более «научным», чем теории «творческой личности» или «заговора». Ведь научное мышление – это в первую очередь мышление, предполагающее, что у человеческой деятельности есть реально заданные границы. Нельзя убить слона носовым платком, нельзя вылечить грипп путем разглядывания картин Пикассо. И так далее…

Однако в результате получается еще сложнее. У сторонников «движущих сил» вообще в результате складывается чисто религиозное, языческое мировосприятие. «Масоноборцу» проще – существование заговоров давно доказано, ему остается лишь приписать им всеведение и демоническую силу. А вот поклонники «нечеловеческих сущностей» должны, во-первых, доказать наличие некоей «невидимой» истории, состоящей, например, из развития производительных сил, во-вторых, доказать существование самих этих сил, и в-третьих, связать явную историю с открытой ими «подспудной» историей. Конечная станция путешествий «объективистов» – самый обыкновенный пантеизм. Конечно, кому-то и такой подход может казаться научным.

В общем, оба подхода так или иначе связаны с обожествлением неких предметов. Сторонник субъективной истории обожествляет коллектив сверхчеловеческих личностей. «Объективист» обожествляет пресловутые движущие силы (существование которых сам же и постулирует). Немудрено, что исторические описания, основанные на таких подходах, всегда отдают идеологией.

В принципе, повествования без идеологии не бывает (об этом – в следующий раз). Однако все же хотелось бы, чтобы идеология была осмысленной, а не просто кое-как собранным «на коленке» пантеизмом для бедных или одой совместному труду избранных гениев. Жизнь все равно намного сложнее подобных конструкций.

Что же должно прийти теперь на смену традиционному историческому исследованию? Попробую сформулировать это в виде трех простых тезисов.

Первое. Рассмотрение исторических событий в рамках причинно-следственных связей и простой рациональности непродуктивно. Значительная их часть происходит из-за причин, не имеющих рационального объяснения, или вовсе не имеет непосредственного «начала». Это делает изучение истории на основе принципа «рациональная причина – рациональное следствие» почти бессмысленным.

Второе. Исторический процесс состоит из «вызовов и ответов» – то есть неких событий и реакций на них государства, общества, отдельного человека. Количество вызовов, судя по всему, конечно (и даже весьма невелико), однако их «внешний антураж» часто существенно меняется. История (история на «тактическом уровне», то, что на Западе называют records) состоит в фиксации вызовов и ответов на них. Так накапливается «исторический опыт человечества» в виде *прецедентов*.

В ответ на вызов, в частности, конструируются различные социальные учреждения. Как только они перестают удовлетворять решению возникшей задачи, эти учреждения демонтируются.

Третье. История, понимаемая таким образом («вызов – ответ»), может быть описана, в сущности, одной фразой – это *«сфера перманентной войны жизни против смерти»*. Неудачный ответ на вызов влечет за собой поражение, а иногда и гибель того, кто на него отвечает. Поэтому анализ «records», «исторических прецедентов» столь важен – это не академические упражнения и не беллетристика, написанная на материале летописей, а то, что касается каждого из нас.

Собственно говоря, это почти все (конечно, в самом упрощенном виде). Осталось сказать последнее и самое важное: история может быть организована в некую систему только путем повествования. То, как ее рассказывают, это самое важное.

Так вот. Дело в том, что возможных повествовательных моделей, с моей точки зрения, всего две. Я называю их – *притча* и *биография*.

Притча – это изложение событий, которое отсылает к какому-то всем известному внешнему тексту («текст» здесь понимается максимально широко – возможно, это некий священный текст, а, возможно, просто-напросто система моральных правил, даже не всеобщих). Выглядит притча, в самом простом случае, примерно так: X совершил то-то и то-то, и это подтвердило верность наших представлений о мире (как, к примеру, ветхозаветный Израиль, отступая от единобожия, навлекал на себя всяческие беды).

Биография – это изложение истории явления от сих до сих (от обстоятельств, предшествовавших его возникновению, до самого прекращения его существования и некоторых последствий этого). Конечно, может быть рассказан некий отрывок из биографии. Но очень часто такой отрывок тяготеет к притче.

Я утверждаю, что других моделей исторического повествования нет. Более того, биография, в конечном счете, тоже сводима к притче – надо только представить, что в ее основе лежит понимание жизни, как некоего конечного процесса. Он начинается, затем проходит некие известные фазы и заканчивается. В сущности, биография иллюстрирует расхожее представление о «тщете всего сущего» (в европейском варианте) или о «бесконечном круге перевоплощений» (как это принято во многих восточных учениях). Иными словами, история, рассказываемая методом биографического описания, вовсе не является объективной – она основана на совершенно определенной идеологии.

Притча, конечно, есть история, рассказываемая именно в идеологическом ключе. Позиция историка, рассказывающего притчи, намного честнее – он не прячется за ширму «объективности». Биограф же может быть идеологизирован до мозга костей, и при этом искренне считать, что он излагает «только факты».

Конечно, в утверждении, что историческое повествование неотделимо от определенной идеологии, ничего нового нет. Как, впрочем, и вообще в подлунном мире. Однако примерно два десятилетия назад утверждение о том, что «возможна объективная история», история «только фактов»

казалась русскому читателю новой и свежей. Более того, она казалась ему *перспективной*

На самом же деле это была просто реакция на заскорузлую псевдомарксистскую повествовательную модель. В которой «производительные силы» постоянно опережали в своем развитии «производственные отношения», а все остальное вертелось вокруг этой нехитрой схемы. Вплоть до победы социализма, когда история вдруг прекратила течение свое, и «производственные отношения» оказались на запредельной высоте, до которой «силам» было еще идти и идти. Это сакральное творение висело над головами советских историков дамокловым мечом, но отказ от него их пугал. Со всех сторон ждали их страшные тигры «буржуазной», «левацкой» и тому подобной историографии. И тогда кое-кто из них провозгласил «объективизм», «простое изложение фактов», «обращение к источникам как к высшей правде».

Теперь мы видим, что это была пресловутая «поза страуса». Ведь даже порядок, в котором излагаются факты, несет элементы определенной идеологии.

Все ли это теперь осознали? Не думаю. И тем не менее…

Историческое повествование всегда оказывается притчей, даже если автор этого не хочет. Историческое повествование всегда отсылает к неким идеальным духовным мирам – и этих миров много.

Человек, рассказывающий историю о мире, в котором после смерти на могиле вырастает лопух, в котором выживает сильнейший и одна форма жизни порождает другую путем накопления изменений, всегда будет отличаться от того, кто повествует о совсем другом мире – где есть божественный план спасения, где человечество проходит стадии на пути к Страшному суду, и где «князь мира сего» рыщет в поисках жертв. И выбор между этими (и другими) мирами всегда в наших руках. Как и выбор между жизнью и смертью.

У нас принято смеяться над туповатыми американскими проповедниками, сторонниками «диспенсационализма» и «тысячелетнего царства». Между тем их мир вполне реален и позволяет миллионам людей жить полнокровной жизнью – в ином случае они существовали бы в состоянии беспросветной депрессии. Как живут сегодня миллионы моих соотечественников.

При этом мне кажется, что реальный русский мир, все настоятельнее требующий своих притч, своей собственной истории, в десятки раз сложнее и привлекательнее мира «диспенсационалистов». Вот только почему-то никто еще не нашел смелости о нем рассказать. Да, это сложно. Но слишком многое сейчас лежит на русских весах – и эти слова должны быть сказаны.

РУССКИЙ НАРОД

«ЗАПАДНИКИ»

(Из цикла «Русские типы»)

Рабинович, вы чувствуете – пахнет весной?
Ах, оставьте, в России всегда чем-нибудь пахнет…
(из анекдота)

«Западник» – едва ли не самый характерный и распространенный русский тип. Именно русский, хотя среди них попадаются и, так сказать, как бы инородцы. Причем их немало. Но, похоже, не так уж много других стран, порождающих подобные фигуры, поэтому «западничество» представляет собой очевидный продукт влияния русской культуры.

Мне, правда, кажется, что «западничество» в его классической форме – скорее, проблема психопатологическая, чем культурная. Сам я пережил короткий период увлечения западничеством в этой самой пресловутой классической (т.е. психопатологической) форме. Было это у меня примерно лет в 15–16, посему мне удивительно видеть людей, исповедующих сию нехитрую идею и в 30, и в 40 лет, и даже в более серьезном возрасте… А уж Сергей Адамыч Ковалев, которому, по-моему, лет триста пятьдесят, и вовсе представляет собой самое настоящее Великое Чудо Господне…

Сразу определимся в терминах. Бывает разумное и рациональное «западничество», которое я вполне понимаю и во многом разделяю его идеи. Состоит оно в том, что в Европе (и в Америке) существуют институты, организации, формы общественной жизни, культурные явления, которые себя оправдали, доказали свою живучесть и пользу, и которые, после основательного анализа, проверки и многочисленных сопоставлений, можно было бы осторожно перенести на русскую почву. Такое «западничество» я могу только приветствовать. Это правильное западничество, и в этом смысле я – «западник» до мозга костей.

Но, к сожалению, под «западничеством» в России понимают нечто совершенно иное. Это сложный комплекс идей, некогда описанный Шафаревичем в «Русофобии», хотя и недостаточно полно. К сожалению, академик связывал эти идеи с влиянием «малого народа», под которым он подразумевал, в основном, почти исключительно, одних евреев.

На мой взгляд, это далеко не так. «Западником» может быть самый что ни на есть чистокровный русский, а самый что ни на есть чистокровный еврей может оказаться русским националистом. По-моему, национальность не играет здесь главной роли (хотя, конечно, определенная корреляция с национальной принадлежностью все же имеется).

Русское «западничество» начинается с некоторой метафизической обиды на «всех остальных». В основе этой обиды может лежать что угодно – бедность, сексуальные проблемы, физическая слабость, умственная отсталость, гениальность, изысканный эстетизм, какие-то особые умения. В общем, любая форма отклонений от «среднего уровня», от нормальности. Тут, надо признать, наша культура оказывается достаточно репрессивной. «Отклонения» не приветствуются, особенно те «отклонения», которые не дают их обладателю прямых и явных преимуществ. То есть человек с переразвитой мускулатурой, конечно, выделяется из толпы. Но «репрессировать» его боятся – надо будет, он и морду обидчикам расквасит. Кроме того, сила выше среднего уровня или, скажем, зоркость, ловкость и т. п. явления, превосходящие «норму», скорее, приветствуются.

Все это говорит нам о том, что русские – народ, недавно вышедший из полуголодной деревни, из неких простейших форм примитивного существования, где выжить помогали чисто физические преимущества. И он, этот народ, пока еще продолжает свой путь к более сложным формам бытия, к тем структурам, где может оказаться полезным, скажем, переразвитый интеллект.

А классическое «западничество» оказывается лишь одной из форм торможения в движении по этому пути. Оно, в общем, вредно для модернизации России. И может быть использовано исключительно в неких «консервирующих» целях. Западничество – это своего рода наш «фундаментализм», не менее опасный, чем исламский. Даже, пожалуй, намного более опасный.

Это – если посмотреть на вопрос глазами бюрократа из президентской администрации.

Но нас сейчас интересует другое.

В основе «западничества» обязательно лежит отклонение от нормы его конкретного носителя. Это главное. Что-то должно отделять от «всех», хотя бы и некая иллюзия превосходства.

В этом смысле меня всегда удивляло невероятное количество русских, которые уже при первой встрече рассказывают собеседнику о своем либо аристократическом, либо иностранном происхождении. Это совершенно стандартная ситуация, причем правда в этих рассказах, как правило, сильно

завуалирована (мягко говоря). Человек, имевший семь поколений рабоче-крестьянских предков, почему-то склонен упорно врать, что его прадед – француз, немец, чех, поляк, эстонец или румын, в общем, кто угодно, только не русский. И при этом (или вместо этого) – еще и аристократ, например, граф, барон или, на худой конец, просто так, «мелкий помещик». «Тут не без водолаза», если вспомнить пресловутого Шарикова.

Москалю-западнику надо обязательно подчеркнуть, что он находится вне «массы», «толпы», «быдла»... Это «как бы» должно повысить его ценность по отношению к другим.

Почему не нравятся «свои»? Потому что они – «меня не понимают». «Счастье – это когда тебя понимают» (из всем известного фильма конца 60-х). Но дело в том, что «понимать» могут тогда, когда говоришь на языке преобладающего населения. Даже если твой собственный язык и близок языку «массы», тебя могут не понять. Приведу пример. Скажем, русского, оказавшегося в Польше, если он совершенно не знает польского, в общем и целом, поймут. Но при этом, что называется, «не примут». Точнее, не всегда примут. И будут удивляться на то, как он туп, этот «россиянин». И окажутся при этом совершенно правы (со своей точки зрения). Удивительно, что наши «западники», оказавшись лицом к лицу с ненавидимой ими «массой», об этом не задумываются. А ведь она думает примерно точно так же...

Ведь «масса»-то, собственно, ни в чем не виновата. Она просто живет своей нормальной жизнью, может, и слишком примитивной, но-таки вписывается в русские пейзажи.

Тот, кто родился с неким «отклонением», вместо того, чтобы постараться этот, скажем так, дар использовать для извлечения некоторой прибыли, начинает ныть и страдать. Так было при царях, так было и при «советах». Торжество внешней тотальности – единственное, что спасало Россию на протяжении многих десятилетий, при том, что наша страна представляет собой бушующий индивидуалистический хаос – порождало и оппозицию этой тотальности в лице вышеупомянутых нытиков. Но оппозицию не «конструктивную», из серии «права личности на самореализацию и создание сфер невмешательства тотальности», а совершенно «деструктивную» – то есть те, у кого были «отклонения», немедленно норовили создать свою собственную тотальность, куда никого, кроме ее основателей, больше не пускали, а находящихся «вовне» – всячески третировали.

Но тут немедленно возникала проблема идентификации. Идентифицировать же себя новая тотальность могла только с чем-то внешним. Скажем, с Европой (чисто интеллектуальной конструкцией). Или, как сейчас, в некоторых случаях, с Азией.

Беда любого «закрытого общества» (а Россия, несомненно, им была) в том, что все «иное» воспринимается, как музейный экспонат. Американские консервы или немецкая банка из-под пива в России производили фурор исключительно тем, что отличались от «своего», от стандарта (а вовсе не

из-за качества или чего-то подобного; скажем, я, будучи совершенно «дискурсивно безответственным» гадом и врагом всякой либеральной позитивности, до сих пор глубоко убежден, что советский (он же – традиционно российский) шоколад по вкусовым качествам значительно лучше любого западного, но его «обертка» сильно проигрывает; конечно, в нем, говорят, содержится много холестерина, – но что такое «холестерин», как не типичная буржуйская выдумка, чтобы поразить злобных конкурентов?). Точно так же вызывают наше поклонение какие-нибудь совершенно вздорные идеи, вроде бессмертного учения доктора Фрейда...

Вернемся, однако, к нашим баранам. Дело все в том, что проблема нашего общества состоит в том, что оно состоит из индивидов. Оно, короче говоря, – не общество вообще, а просто сумма независимых «свободных персон». Что важно для понимания России.

А каждая «свободная персона» должна, по идее, подчеркивать свое отличие от «всех остальных». И должна любить именно свои «особенности». В этом и состоит политический процесс в России на протяжении последних лет четырехсот. Если дать всем полную «свободу», то все развалится. Если всех подавить, то будет еще хуже. Ведь подавить-то можно только путем принятия «папежства», то есть путем признания религиозной власти выше политической. Но когда-то ведь мы выбрали более «протестантскую» идею – мол, действия как таковые и действия во имя Бога должны оцениваться одинаково. И, как говорится, с этого пути не свернешь.

«Западники» же мечтают как раз о том, чтобы с него свернуть. Мечтают о радикальном решении. Западничество, в сущности – это извращенная тоска по тотальности, по «большой семье», реакция на бушующие пучины русского индивидуализма. Хочется чего-то тотального, всеобщего, утробного, какого-то «общего дела», что ли...

В сущности, ведь и ожидаемый обществом смысл революции октября 1917-го состоял в том, что Россия, наконец, сможет встроиться в Великую Тотальность, то есть в единую Европу, где социалистическая революция разразится сама собой после «русского примера». Мол, таким образом мы выйдем из исторического тупика и вернемся на «столбовую дорогу истории» (а вспомните лозунги времен «перестройки»...). Другое дело, что вышло совсем наоборот, но это вовсе не оправдывает творцов революции.

Итак, «западник» как тип – в общем-то, человек общины, аула, кишлака, которому претит индивидуалистская цивилизация москалей, основанная на молчаливом сосуществовании множества замкнутых миров, объединенных внешней тотальностью. Ему хочется жить среди других, ему хочется постоянного общения и, что немаловажно, группового противостояния типа «свои – чужие».

Именно поэтому наши «западники» прекрасно находят общий язык между собой, легко создают «мафии» и добиваются успеха. В отличие от всех остальных, которые немедленно начинают выяснять отношения

друг с другом. Посмотрите на наших «патриотов» – это индивидуалисты, это публика, которая принципиально неспособна объединиться, потому как она очень болезненно реагирует на нюансы и оттенки. Тот исповедует не ту версию православия, тот не способен поставить Сталина выше Ленина, тот забор на даче в неправильный цвет покрасил – и все, враги по гроб жизни…

Посему совершенно неудивительно, что «западники» под шумок смогли захватить власть в России. Общества у нас как не было, так и нет. А управлять индивидами намного проще. Таким образом, патологический западник представляет собой не что иное, как ту самую будущую «русскую нацию» в чистом виде. В виде постсоветской элиты… Она, нация, еще не родилась, но вот из таких-то людей нации и создаются. Русский западник – человек будущего, который, возможно, сменит типичного москаля. Если только москаль раньше не нанесет ему какого-нибудь сильного удара.

Ибо москаль индивидуалистичен, в его мозгу царит хаос, а хаос зачастую порождает самые невероятные исторические повороты. И эта замечательная драма – по сути, сложный шахматный поединок одиночки-«хуторянина», уважающего общественный договор, с жителем «горного кишлака», признающим только силу – еще очень далека от завершения…

БАБАЙ

Эта статья поначалу мыслилась в качестве чисто библиографической и вовсе не предназначалась для «Русского Удода». Предполагалось написать отзыв о книге Марины Власовой «Русские суеверия. Энциклопедический словарь», СПб., Азбука, 1998. Однако по ходу чтения книги я понял, что мне в руки попало нечто более интересное, чем традиционный набор псевдофольклорных исследований. Сочинение М. Власовой показалось мне чем-то совершенно новым – по крайней мере, со времен прочтения С. Максимова с его крестной, невидимой и нечистой силой, я ничего более интересного на эту тему не встречал. Поэтому для меня стала привлекательна мысль написать нечто вроде «лекции» об одной специфической сфере русского фольклора – о так называемых «детских страшилищах», которым у Власовой отведено весьма видное место. Итак, пресловутый «бабай»...

* * *

Для индоевропейских народов, особенно для так называемых «непросвещенных» наций Восточной Европы, характерна, как мы знаем, слабая разделенность рационального и глубинного, реальности и мифической

образности. Впрочем, почему мы говорим только о Восточной Европе? После horror-stories Стивена Кинга, после недавнего (на мой вкус, отличного, хотя мистификация и чувствуется там с самого начала) фильма «Ведьма из Блэр» – разве не ясно, что архаичное, древнее сознание христианских народов никуда не делось, и страшные боги языческого прошлого живут рядом, лишь дожидаясь своего часа?

Чрезвычайно интересно, как это предвечное, теневое, ночное бытие проникает в человеческое сознание. Такое проникновение происходит в детстве, и многие из нас могли бы назвать подобные события своей жизни. Ужас не спит, он бродит вокруг, он скрывается во тьме. Ребенка пугает темная комната, во дворе ночью кто-то возится и сопит, в окно заглядывают горящие глаза… Дом, особенно сельский, оказывается единственным светлым пятном, вокруг которого расположился враждебный, мрачный мир, готовый убить или совершить насилие, стремящийся поразить и удивить вплоть до безумия.

Нельзя исключать и определенного рационального характера так называемых «детских страшилищ». Взрослые выдумывают страхи хотя бы для того, чтобы дети не лезли, куда не следует. Тем не менее, характер этих, пусть выдуманных, страхов многое может сказать о национальной психологии и о том, на каком этапе развития находится нация.

Впрочем, как я уже не раз говорил ранее, индоевропейские народы переживают эпоху быстрого (и, вероятно, необратимого) разложения, и на этом фоне весьма выгодно выделяются жители бывшего СССР, прежде всего русские, у которых процессы такого распада народной психики сильно замедлились в результате известных событий XX в. Отрыв от «кормящего ландшафта» национальной культуры часто оборачивается приходом совершенно ужасающих иррациональных сущностей. «Свои» черти понятнее и проще темных кошмаров постиндустриального общества. В России же процесс гибели «окружающей тьмы» национальной психологии и ее замены на постиндустриальный, штампованный иррациональный мир, начался совсем недавно, реально – в 70-е гг., даже в их второй половине. Он происходит на наших глазах и далеко не завершен. Он нам интересен – не исключено, что на этой стадии его можно приостановить, хотя в успех сего безнадежного дела я верю слабо. Но распад национальных культур и их замена чем-то совершенно непонятным и незнакомым заслуживает самого пристального внимания.

Честно скажу, я по своей натуре мракобес, консерватор и враг всякого прогресса, особенно «идейного» и уж тем более «конфессионального». Меня пугает «прекрасный новый мир», который образуется на современном Западе. Мне кажется, что превращение бывшего Christentum в Вечную Пустыню Насекомых, в карстовые пустоты бытия – дело уже нескольких десятилетий, может, двух-трех, и с Европой все станет ясно, как почти все ясно сегодня с Америкой. Один большой Макдональдс, вокруг которого шумят поливиниловые голливудские черти – итог 2000 лет европейской

культуры. Две тысячи лет «на фу-фу»… Бессмысленная борьба тысяч и тысяч людей непонятно за какие идеалы, чтобы итогом великой цивилизации стал человек-курица, человек-крыса, пелевинский «oranus», упрощенный до самого фундамента, до биологического каркаса, до сплетений кишок и нервов, угрюмый производитель кала… Солженицын говорил, что свобода есть самоограничение, и был совершенно прав – действительно, чем больше в обществе табу, тем более оно свободно. XIX–XX вв., однако, все табу окончательно повергли.

Теперь посмотрим, как выглядела эта система табу на самом примитивном уровне – в области детских страхов, собственно, русских детских страхов. Я вырос в России. Я знаю и люблю Россию. Она мне интересна. Я принимаю эту культуру до конца и целиком, хотя во многом она мне чужда, особенно ее «вершки». Но начнем все-таки с «корешков», с русского детства.

Русский дом отвоевывает кусочек бескрайнего заколдованного пространства «этой страны» и «этого мира», «мира сего» (впрочем, «сей мир» и «эта страна», «га-эрэц» иврита, означающее Израиль – или Россию? – суть антонимы; поэтому-то «князь мира сего» и ополчается всегда на «эту страну»). Он отчасти «расколдовывает» его, делает понятным, «чистым», крещеным, «хрестьянским». Но мрак не исчезает до конца. Мрак и кошмары стоят вокруг, проникают, стремятся навредить, овладеть, напомнить о себе, испугать… Леса, как стены мрачных городов, окружают «чистые» пространства, крещеный мир. В полях, словно армия сатаны, колышется рожь, которую предстоит сечь под корень, рубить и резать, чтобы потом «вкушать соломенное мясо» (Есенин) – но она же и «матушка-рожь», что «кормит всех сплошь». Русский дом стоит посередине «края наползающей тьмы», в центре мира. И весь этот мир пронизан темными силами, «адамовыми детьми» – по народному преданию, покинув рай, Адам и Ева наплодили кучу «нечистых» детей, ставших лешими, водяными, русалками и прочей нечистью. Теперь они рыщут по свету, охотясь за христианскими душами, и встреча с ними страшна, хоть почти и неизбежна.

Относительно «бабая», которым пугают детей на русском Севере, обычно указывается, что образ этот достаточно молод – поскольку в русских сказках, в массе своей возникших в XVI–XVII вв., он не упоминается. Тем не менее само слово «бабай», скорее всего, может быть возведено к тюркскому прообразу, означающему «старик». Я же, однако, не думаю, что образ старика здесь главное, хотя заимствование несомненно.

Какой образ преподносится детям в качестве страшного и иррационального? Северный бабай, еще не ставший элементом городского фольклора центральной России, таков: это *кривобокий* страшный старик, который ночами ходит по улицам городов и деревень и хватает детей. Нижегородский, волжский вариант бабая, так называемый «бага», *горбат*. Но роль его совершенно такая же. В Вологде бабая называют «бадя», причем его образ весьма цветист – он *немой, безрукий, хромой,* а уж если и может

говорить, то с каким-то дефектом речи, и именно этот дефект, так называемое «бадянье», дал ему название. «По-нашему он плохо говорит, все *бадя* да *бадя*». Прежде всего это заставляет вспомнить варваров, окружающих Рим, про которых рассказывали, будто они говорят «вар-вар-вар». Так чуждые германские говоры отражались в сознании романских потомков. И ведь действительно, если вслушаться в потоки речи германских языков, то явственно замечаешь это «воу-воу-воу», «ваа-ваа-ваа» и в немецком, и в английском, и даже в голландском и шведском.

Муромский бабай носит почетное имя «мамай» и, видимо, еще более подчеркивает тюркское происхождение образа. Это тоже страшный старик, незнакомец, встреча с которым опасна для детей. Мамай сажает их в мешок и куда-то уносит.

Владимирский черт, живущий в подполье, корноух и корнохвост, почему и даны ему соответствующие прозвища – «корноухий», «корнохвостик». Он точно так же может утащить к себе и заставить вечно работать на свои нужды. Там же, в подполье, проживает ярославский «лизун», некая странная сущность, уж вовсе заставляющая вспомнить бредовые и совершенно неопровержимые при этом теории Григория Климова о вырождении. Особенность этого черта в том, что он, помимо прочих уродств, еще и лижет свою жертву в самых разных местах.

В городских диалектах бабай резко обособляется от прочей нечисти, наделяется монголоидными чертами, часто представляется в виде толстого (даже жирного, напоминающего колобок) узкоглазого монгола или татарина. В любом случае подчеркивается одна из характеристик – либо некая бесформенность, либо монголоидность. Город отсек лишнее, убрал ярко выраженные черты смерти и вырождения, и от бабая оставил нам только «варварство» в его почти карикатурной форме. Заглядывающий в окно огромный узкоглазый колобок с ужасающим выражением лица – вот кто такой, по преимуществу, городской бабай, этакий остаток «монгольского ига» (а не отсюда ли, от ига, еще один страшный житель из подполья русского дома – Игоша, немой, безрукий и безногий дух-хозяин?). Не исключено, что откуда-то из этих краев заимствован Бармалей Корнея Чуковского, точнее, не из образа, а из языковой фигуры, впрочем, о ней речь пойдет ниже…

В сущности, на этом круг прямых родственников бабая замыкается. Начинаются двоюродные и троюродные братцы. Тот же север Руси дарит нам «буку», еще менее выраженную персонификацию ночного страха. Нечто неопределенное, темное и страшное – никаких конкретных определений. Карельский бука носит вполне человеческое имя «вова» (тут кроется некое связующее звено между букой и бабаем), и этим прозвищем обозначается также вставший из могилы покойник или утопленник, ищущий места для успокоения души. Над букой великий и могучий русский язык производит всяческие операции – в Пермской губернии бука превращается в «бомку», по центральной Руси, по поволжским деревням, расселяются

«буканы», «букари», «букарицы», «буканачки», которые набиваются в *подполье* и могут оттуда выйти, чтобы кого-нибудь похитить. Кроме того, «буканы» производят таинственные ночные звуки, а именно «бу», «бом» и т. п. В подполье живет и новгородская «рохля». Вологодская «хохла» так же бродит по дорогам с мешком. Другим вариантом страшного буки оказывается пресловутый «бирюк» (так говорили будто бы в Казани и Самаре). Некоторые диалекты именуют бирюком волка, но в целом это нехарактерно для русского языка. «Бирюк», уже в городском языковом материале – нечто нелюдимое, тупое, мрачное и злобное, скрывающееся от людей во тьме, расплывчатое и бесформенное.

Во владимирских болотах живет кривой и страшный черт «кукан», он же кука или кукуй, также имеющий свои несведенные счеты с молодым поколением. Если вспомнить, что куканом называют нитку или проволоку для насаживания пойманной рыбы, то смысл действий этого черта становится еще более понятным. Он как бы нанизывает детей на себя и уводит в болотное царство.

На Урале в качестве детского ужаса предлагается какая-то «вунтериха» (ударение на втором слоге), действующая точно так же, как бабай-бука. Не исключено искажение слова «унтер», хотя можно это слово возводить и к тюркским корням. Астраханцы пугали детей неким «дичком», диким человеком, который наделен чертами бабая – похитителя детей. Из того же ряда вологодский «додон», который в городском языке превратился в пушкинского царя Дадона (правда, у меня есть серьезное подозрение, что Дадон и Додон пришли из Византии, из каких-нибудь апокрифов или ромейских сказок, просто в данный момент я не могу проверить эту гипотезу), бестолкового государя-дурака, погубившего своих детей и погибшего по собственной глупости (сразу напрашивается дешевая ученическая аллюзия на Николая Второго, но не место тут заниматься подобной ерундой).

Если же обратиться к моей любимой Южной России, то можно увидеть, что тут прямо берут быка за рога. Детей на всех пространствах от Дона и вплоть до какого-нибудь Козлова-Мичуринска пугают «анчуткой», которого М. Власова считает разновидностью водяного. Однако я, как человек, знающий те края, могу сказать, что это сильное упрощение. Обозвать на юге России человека «анчуткой» – значит, нарваться на большой скандал, а то и на поножовщину. По крайней мере, так было в середине 70-х; думаю, что с тех пор слово несколько поблекло под натиском культурной стандартизации и американизации. Дело в том, что «анчутка» – это черт, именно черт, без всяких эфемизмов и недоговорок, нечистый собственной персоной («тут явился дьявол сам, с бородою и с усам», говоря словами Ершова из «Конька-горбунка»). Власова считает, что у слова могут быть литовские корни. Действительно, литовское anciute, «уточка», вызывает весьма сложную цепь ассоциаций. Мало того, что утка по-литовски antis, так еще в русском языке есть целый ряд слов, которые произошли от Антихриста – «антип», «антик» и т. п. Отсюда же и анчутка, но, похоже, все

еще сложнее. Встает перед нами образ какого-то гностического мифа, богомильской ереси или чего-то подобного. Вначале, помним, земля была безвидна и пуста, и дух Божий носился над водами. Гностическое сознание отделяет Бога от духа Божьего, объявляя последнего демиургом. Демиург, бездарный творец мира, по приказу Бога ныряет в воды за горстью земли, из которой потом создает нашу вселенную. Демиург, в сущности – огромная нырковая утка, «антис», антихрист, Враг рода человеческого. Но он же и создал мир, говорят гностики. Бог находится дальше, за этим мрачным образом «универсально-всемирной утки», как сказал бы Лосев. Демиург, к которому обращаются ласково и вежливо, чтобы задобрить – или презрительно, ибо изначальный смысл понятия уже утрачен: анчутка.

И это далеко не весь спектр детских страшилищ. Тот же русский север наполнен ими до краев. В гороховом поле вологодских краев живет жареница и муж ее жареник, которые хватают детей, заблудившихся в полевых стручках. В ржаном поле Севера прячутся ужасные кудельница и росомаха (не зверь, а некое подобие русалки, с длинными волосами). По другим рассказам из тех же мест, во ржи есть какая-то полудница, в сущности, та же русалка, только связанная с полдневным жаром, с полднем, временем, когда черти особенно сильны и страшны. Она может защекотать до смерти. Все эти жители полей появляются и исчезают, скользят между колосьев, в жаркий день пугают прохожего. Полуденный бес-«зыбочник» (известный в Вологде, на Псковщине и Новгородчине) и вовсе проникает в жилище, чтобы украсть ребенка из колыбели. Вокруг русского дома вовсю кипит «другая жизнь», о которой писал когда-то Брюсов:

> Но как мило знать, что с нами вместе
> Жизнь другая есть…

Речь в стихотворении была о мышах, но на самом-то деле спектр «другой жизни» намного шире. Все вокруг таинственно для русского сознания. Все постройки и природные сооружения наполнены нечистью, с которой надо как-то договариваться. И делать это приходится, хочешь – не хочешь.

Не говоря уж о домовых и леших, которые известны всем, русская этнография сообщает о «манах», то есть манящих, обманывающих духах, живущих в заброшенных постройках, на колокольнях. Они, правда, в меньшей степени принадлежат к числу детских страшилищ, хотя встреча с ними в детстве остается в памяти на всю жизнь. Впрочем, подобные существа ничуть не менее опасны. Олонецкие лесные старики уводят детей в лес – жить и работать. При этом рассказчик подчеркивает, что леший и лесной старик вовсе не одно и то же. Там же, в глухом вятском лесу, кстати, скрывается страшный зверь ендарь, который всю свою жизнь сидит под дубом и питается воздухом.

Между тем, русский, отвоевавший себе жизненное пространство, не любит драться с окружающими чертями. Он, скорее, склонен с ними договориться по-хорошему, методами народной дипломатии. Русский вне

христианства – стихийный дуалист, как всякий «индоариец», поэтому водяные, лешие и прочие бабаи живут себе и живут по огромным пространствам России, и прекрасно дожили до наших дней. Даже в урбанистическом центре русской земли не произошло десакрализации – отсюда «Мастер и Маргарита» Булгакова, этот блеклый аналог «Таинственного незнакомца» Марка Твена.

Кто же прячется от русского мужика в поле и в лесу, кто населяет эти загадочные, заколдованные миры? Откуда берутся и выстраиваются в ряд все мрачные, цветистые, дикорастущие декорации русской этнографии? Ответ почти по-детски прост. Это чудь, она же чушь, духи племен, которые были согнаны русскими покорителями северных пространств с насиженных мест, это их наследство. Ведь чудью тоже пугают детей – «не ходи в лес один, чудь заберет». Собственно говоря, мы вовсе не должны пылать каким-либо сочувствием к чуди (она представляет собой собирательный образ жертв русской колониальной политики, а все эти жертвы, по сути дела, сами накликали свой конец). «Чудь под землю ушла» вовсе не по вине русских – она сама выбрала эту дорогу. Не пожелавши креститься, гласит предание, все чудины собрались в один огромный дом на ножках, вырыли под ним глубокую яму, ножки подпилили и провалились под землю. Тяжелая крыша и придавила все племя. И чудь с того времени стала, можно сказать, типичным жителем подземелий и, уж конечно, подполий домов. Чудь, ясное дело, живет в земле, и выходит по ночам. Для улучшения своего рода она вынуждена похищать русских детей. Сейчас бы сказали, что она «питается коллективными энергиями русского этноса».

С тех пор чудь и чушь часто занимают место, среди прочего, и детских страхов.

Ведь все русские земли, по большому счету, в основном завоеваны русскими людьми. 1000 лет назад север населяли отнюдь не русские крестьяне, да и южная лесостепь, вплоть до казачьего фронтира, перешла к нам, т. е. России, достаточно поздно. Безграничная экспансия была русской судьбой, она вела «москаля» за линию узконационального горизонта, к пресловутому «всечеловечеству» Достоевского, этой истрепанной либералами звонкой фразе. Но земля всех культурных наций, по сути дела, никогда не принадлежала им по праву. Если вспомнить незатейливую теорию Ницше о том, что культура всегда возникала там, где сильные покоряли слабых, нам станет ясно, что (или кто) обитает в подполье – духи покоренных племен, чьи кости давно стали основой новых великих этносов.

Истинно культурная нация, таким образом, обязана расплачиваться за свою культурность мрачным бесовским подпольем. В этом смысле, скажем, чуть ли не единственным культурным человеком США оказывается Г. Ф. Лавкрафт, основной сюжет у которого такой: некто получает наследство, а вместе с наследством и весь набор ужасов, всех этих Цтулху и Йог-Сототов. Такова расплата за покорение морей – на самих покорителей восстают бездны. Лавкрафт это прекрасно видел, а какой-нибудь

Бжезинский видеть не желает. Тем более что американская культура настолько своеобразна, и мне по ее поводу даже вспоминается чья-то шутка: я думал, глупость – это просто глупость, но потом понял, что это такой ум. Мы думаем, американская культура – это и не культура вовсе. Ан нет, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это действительно такая культура. Просто, в отличие от полнокровных индоевропейских «соцветий», она – культура нюанса, искусственно созданной атмосферы, оттенков вкуса на фоне вовеки неизменного пейзажа кастрированной либедемократии. Уловить эти оттенки нам, привыкшим к полноценной культурной пище, нам, жителям Евразии, не дано. Нам жалко американцев, не понимающих прелести «жизненного потока». Они жалеют нас, «варваров», живущих в нестерильном мире и не интересующихся собственным диагностическим дерьмом.

Вернемся к нашим родным русским чертям. К чуди. Это они, кривя жуткие рожи, окружают русский дом. Они стремятся постепенно отвоевать для себя куски прежнего пространства. Отсюда и кочующий по ночным улицам бабай, который в последние сто лет получил прозвище «екорный». Самым банальным было бы признать, что слово «екорный» представляет собой просто эвфемизм для другого распространенного русского определения. Русский человек не ханжа и не Людмила Петрушевская, он называет все вещи своими именами – и, конечно, бабай в этом случае был бы «е… ным» без всяких сентиментальностей. Но «е… ный бабай» не звучит, это как-то невкусно (мне, кстати, знаком вариант «еханый бабай» – и даже тут вкус не до конца изменил автору определения). Екорность, как мне кажется, это просто определение, подчеркивающее кривость и кособокость, уродство бабая. Вдобавок, главное тут – игра самого языка. И теперь мы касаемся одной важной темы, а именно языкового происхождения и лингвистического характера почти всех этих детских страхов. В сущности, язык, на котором говорят черти-чудь, есть просто слаборасчлененный набор звуков: бу-бу, ку-ку, ба-ба, бадя-бадя, во-во… Это «болботание» дает им и имена. Чудь оказывается разновидностью варваров, а также яркой границей между жизнью и неопределенным, животно-растительным существованием. В особенности хорошо писал об этом в классической работе «Исторические корни волшебной сказки» В. Пропп. Баба-яга («бабай ага», старый господин татарского ига), говорит он, имеет одну ногу живую, другую костяную, а то и еще хуже – «ногу говенну». Такой мост между царством смерти и миром живых сущностей, помимо прочего, выражен ее, бабы-яги, избушкой на курьих ножках – а она не тот ли же самый дом чуди на столбах, который провалился сквозь землю? Индоевропейская инициация, можно сказать, была «окунанием» в смерть и последующим выходом из чуждого, «варварского» мира. Баба-яга стоит между двумя мирами, между Русским Домом и Царством Бабая. В детстве черти-чудь, они же покойники, просто пугают. Все это бурлящее, букающее, бакающее, кипящее варево неопределенности опасно для жизни и кажется тем

самым морем, среди которого возвышаются острова крещеного мира, архипелаг христианства, в крайнем случае, последних остатков стихийно-монотеистической, с переходами в дуализм, «Русской Земли».

Я утверждаю, что такое отношение к жизни – а это есть не что иное, как глубокая философия – является нормальным для индоевропейских народов, и разрушение этого хрустального мира ни в коем случае прощено быть не может. В конечном счете парадигма «люди против чертей» или, в политическом смысле, «культурная нация против варваров», всегда будет воспроизводиться, поскольку она единственная есть основа персонализма, индивидуальности, того «сообщения», которое несет в себе индоевропейская культура. Индоевропеец, и, в частном смысле, русский, как последний и лучший остаток этой культуры, должен чувствовать себя «избранным», окруженным недифференцированной «чудью». Все прочее просто ошибки и отклонения. Поэтому теория Москвы-Третьего Рима – здоровая теория, а попытки защищать неопределенно-уравнительные, уничтожающие воинствующую личность идеи вроде либерализма, экономического социализма или парламентской демократии представляют собой чистый сатанизм, *слияние с говенным царством екорного* бабая, тем самым «почвенничеством», в смысле союза с покойниками-чудью, с почвенным навозом. Вариантом нашего третьеримского мифа в США является «manifest destiny», «явное предначертание» протестантского фундаментализма, и покуда эта живая струя бьется в американском сознании, Америку нельзя будет списать со счетов. Это их «игла в яйце», на которой «смерть Кощеева».

Поэтому я не принимаю почвенную тоску русских деревенщиков, тоску в стиле «Прощания с Матерой» или шукшинских рассказов. Она крайне вредна – нам следовало бы подчеркивать превосходство Русского Дома, каким бы он ни был, а не тосковать и плакать о его неотвратимой гибели. Жизнь есть борьба, а почвеннические герои просто умирают без сопротивления. Осмелюсь предположить, что почвенничество 60-х-70-х было *большой ошибкой*, выражением «национального декаданса» (поэтому, кстати, оно так отпугивало здоровые силы из числа «диссидентов»; впрочем, здоровых людей там было мало). Следовало бы воспевать героизм в любых условиях, стойкость национального сознания. Россия, образно выражаясь, должна была ответить на вялый брежневизм своим вариантом «Пепла и алмаза», а не «Прощанием с Матерой» и неопределенными шукшинскими заклинаниями вроде «верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!». Я склонен думать сейчас, что русское сознание подспудно готовило и здоровый ответ, но ему по некоторой причине *не дали* состояться.

Проблема всегда состояла в том, что русское государство со времен Петра «Великого» жило своей отдельной от народа жизнью, и его переразвившаяся немецкая башка с ужасом глядела в «край наползающей тьмы».

в русские пространства, которые следовало окультурить, просветить, приобщить, переделать, а впоследствии и попросту поднять на рогатину. Для романовской империи вся русская нация была коллективным бабаем, которым пугали детей немецко-чухонской аристократии.

В этом смысле характерно отношение самих русских крестьян к попыткам их «государственно окультурить», которое, скажем, приводится в «*Северных преданиях*» Н. Криничной (предание № 7). Здесь речь идет о происхождении названий северных деревень, и дается ответ – названия им всем дал писец *Панин. Но как!*

«Поехал он к Спасу Белому… вдруг видит – человек в кузнице кует косы. «А не надо, ребята – говорит он,– беспокоить народу, собирать в один дом, пущай названье деревне – Кузнецы».

Переехал дале, полверсты места – другая деревушка, дворов семь. Как назвать? Вышел на берег писец Панин; видит – ребята балуют, берестяна коробка на воду пихнута. «Пусть же – сказал он – эта деревушка по названью – Короба». Вперед пихнулись оны три-четыре версты от Свят-наволока, вдруг на ельях сидят воробьи. «А что, ребята – сказал Панин,– в эту деревню нам идти нечего, пущай этой деревне названье – Воробьи».

То-то потом, наверное, чесали репу хитрые северные мужики – когда заработала *на их землях государева почта и появились* верстовые столбы с указателями. И действительно, полный писец…

Государство, скопом записавшее в бестолковые бабаи и чудь все население, не могло не рухнуть. В этом смысле 1917 г. – не результат заговора американских банкиров, а вполне естественный ответ нации на весь этот рационалистический разврат. Вот только инициатива была перехвачена не-пойми-кем, и русского органического государства не получилось. Нет его и по сей день.

Тем не менее унывать не следует. Жизнь есть борьба. А борьба продолжается.

Покуда есть бабай и бука, есть заокеанская и ближняя чудь, выкидывающая свои бесовские номера, русские не утратили смысл своего существования. Покорение пространств, которыми владеют покойники-инородцы, *представляет собой достойное дело*, тем более, что покойники бывают и «живыми», как жители современных США, все эти «несчастные американцы» Виктора Тростникова. И сам Великий Бабай, ныне захвативший власть в России – разве не объект для нашего сопротивления? И как по-другому назвать режим, при котором происходит столь стремительная депопуляция?

Но это еще не все. Всемирное торжество индифферентной инертной массы, das Man, нерасчленяемого единства с его разнообразными идеологиями, разрушающими все иерархии (что само по себе уже есть смертный грех) очевидно. Бабай-кукан-бука наступает, его царство ширится, и заплечный мешок, наполненный украденными детьми, с каждым днем все толще и тяжелее.

Впрочем, я почему-то думаю, что не так уж и плохи наши дела. Один сюжет из книги М. Власовой – о духе непогребенных мертвецов, кости-«вытьянке», напомнил мне историю из собственной жизни, которой я и хотел бы завершить это неопределенное повествование.

Дело было в самой середине 80-х, в одном из северо-восточных районов Тамбовщины. Мы,– я и семидесятилетний лесник дед Андрей – сидели на лесном кордоне и пили тамбовский самогон. Тихо наступал вечер, небольшой, но густой лес – в общем-то, редкость в тамбовских лесостепях – молчал. Мы сидели, вели неторопливую беседу о том, о сем, как вдруг я уловил странный ноющий звук, который медленно поднимался над лесом. Так примерно гудят провода больших линий электропередачи, но ничего подобного поблизости не было и в помине. Звук нарастал, в него вливались какие-то новые мотивы и струи, он становился сильнее и ярче. Через какую-то четверть часа это был сплошной стройный хор жалобных, ноющих, тоскливых голосов, от которых сердце уходило в пятки.

– Что это? – в ужасе спросил я.

– А это-то? – ответил спокойно дед, который был, казалось, ничуть не удивлен: – Это, Илюха, кости в лесу ноют.

– Какие такие кости? – испугавшись еще больше, спросил я.

– Такие кости. Непохороненные. Тут карательный отряд в двадцать первом году полдеревни в лесу перестрелял, а похоронить по-людски не дали. До сих пор черепушки находят в лесу. Я-то тогда совсем маленький был, а и то помню – пришли чекисты, собрали мужиков, увели в лес, и там бах-бах. И отец мой где-то тут лежит. Поди, разбери. А кости ноют, похоронить себя требуют – да куда там. Тут поп нужен. Так-то, Илюха...

Тоскливый, пробирающий насквозь, жуткий вой, тянулся над лесом. Я сидел, отхлебывал вонючий самогон, от которого делалось не так страшно. Впрочем, в тот вечер я понял, что значит выражение «тихий ужас». Кости выли и тосковали часа полтора, а потом все опять погрузилось в ночную тишину. Так я в первый раз встретился с настоящей Россией, не декоративной столичной чушью, а тем, что скрывалось за советскими декорациями.

Русская земля усеяна русскими костями, и это лучшее доказательство наших прав на нее – здесь документы не нужны. Перемалывающий людей молох «пролетарского государства» к тому моменту, о котором я писал, уже давно откинул копыта, и Россия стояла на очередной развилке между нормальностью и новым хождением по мукам. Тогда мне в голову пришла мысль, что первым действием нового здорового режима, если такой когда-либо возникнет в России, должно стать предание земле всех этих разбросанных по полям русских костей – неважно, красных ли, белых, зеленых или каких еще – но своих. Это подчеркнуло бы единство нации. Отсюда можно было бы начинать движение вперед.

Но этого не произошло. Нации в России как не было, так и нет – мы лишь сделали новый шаг на трудном пути испытаний. Однако я могу сказать одно. Подобно пресловутому ружью из системы Станиславского,

на Руси не бывает незначащих мелочей. Если есть брошенные кости, найдутся и те, кто когда-то их отнесет в могилы. Но когда? Сколько лет еще мы будем слышать эту тоскливую песню предков, забытых на полях многочисленных войн и в лесах крестьянских восстаний?

Кончается XX-й век, мы все стоим на прежнем месте и чего-то ждем. Ждем пассивно, бессмысленно и бездеятельно. Чего ждем? Неизвестно. Свищут в степях пронизывающие ветры, ноют забытые кости и хохочет за окном, разевая пасть, наш нынешний победитель и судия, хозяин ночных улиц, друг русского детства, екорный бабай.

Опубликовано под псевдонимом Элиезер Воронель-Дацевич

РУССКИЙ ПЕЙЗАЖ: 90-е годы

Конечно, речь тут пойдет исключительно об интеллектуальном пейзаже. О чем же еще? Когда я пишу эти строки, в моей голове вертятся какие-то невнятные образы, вроде «гласа вопиющего в пустыне», и вообще «пустыня», как главный образ русской мысли в последнее десятилетие. И даже хуже – «размороженная» («отмороженная»?) Россия 90-х кажется мне развороченной пустыней Сахарой, где только что прошел ледниковый период.

Но этот вечный Некрополь постепенно оживает. Всюду жизнь... Она бьется еле-еле заметными струйками под вечными слоями промороженного насквозь, медленно сыреющего под лучами бесцветного солнца, грязного от остатков льда песка. Прислушайтесь – безмолвие расцветает незаметными звуками. То тут, то там, пробежит юркая ящерица, пискнет потревоженный суслик, глухо прокричит на древнем заброшенном кладбище вонючий удод. И вдали, за горизонтом миражей зыбучие пески поют свою бесконечную жуткую песню...

Русский пейзаж... Русская пустыня... Вечный Некрополь...

Конец века.

Конец мира.

1. Без языка

...И страшен их однообразный,
Не прерывающийся труд.

З. Гиппиус

Сразу определимся с тем, о чем будем говорить. Я рассматриваю национальную философию и интеллектуальный пейзаж как то, что, в конечном счете, определяет жизнь так называемого «образованного общества».

Пресловутого российского «интеллектуалитета», то есть, нас с вами, господа и товарищи.

Чтобы жить, нужно исповедовать определенную идеологию. Пусть самую примитивную и пошлую, вроде набивания мамона ворованными сардельками. В рамках этой идеологии человек ставит и достигает цели. Философия, в ее упрощенном, мифологизированном виде, есть та самая лупа, если хотите, очки, монокль, через которые человек смотрит на мир. Интеллектуалы создают философии, затем превращают их в мифологические структуры, этакие таблетки в оболочке. Общество воспринимает эти структуры и поддерживает существование на должном уровне. Так и бьется живое сердце народов, и не надо мне доказывать иное…

Если этой призмы нет, человека затопляет хаотический поток жизни – и все, конец, он превращается в труп. Миф есть жизнь. Жизнь есть миф. Пусть самый элементарный. Наполнить кишки – это ведь тоже своего рода ритуал.

Философия и мифы – удел российской интеллектуальной богемы, которой мы, в общем-то, и являемся (и я, и те, кто это сейчас читает, за отдельными исключениями, возможно). Наша философия создается в кафе и на презентациях, в дальних походах и на пикниках, в поезде и в самолете, на диванах в гостиничных коридорах; как когда-то ее варили на грязной диссидентской кухне с тараканами.

Но создается ли новая «призма»? Где она? Каков наш «магический кристалл»? Что 90-е гг. могут предъявить новому десятилетию и новому веку?

Похоже, что почти ничего. О том же, что есть, речь пойдет сильно ниже. А мы пока поговорим о другом…

Было время – и мы пели другие песни. Но оказалось – прямо по Пригову: «Нам всем грозит свобода, свобода без конца… И я ее страшуся, как честный человек».

90-е гг. начинались бодро, под крики ликующей, пышущей жаркими эмоциями толпы советских недорезанных идиотов. Свобода! Легкость! Все пути открыты! Все фильмы сняты с полок, все запрещенные книги напечатаны! Вот он, расцвет воли, того, о чем мечтали десятки поколений. Волк спит с ягненком (какое, однако, специфическое извращение), мужик с базара тащит Белинского (если не хуже)… Еще немного, и общество превратится в рай. А потом у обывателей вырастут крылья, они замашут ими быстро-быстро, часто-часто, и тогда вся наша немыслимая Россия, как стая белых гусей, снимется с мест и улетит к едрене-фене на какой-нибудь Марс, где каналы и гуманоиды.

Ничего этого не произошло. Правда, мы действительно замахали крыльями, но тут же свергились в такой «ухряб», что многие из нас еще до сих пор отходят от последствий сего великого полета.

Что же произошло? Почему мы можем смело вычеркнуть из своих интеллектуальных биографий 7–8 лет (а некоторые счастливчики только 5–6, но и это немало)?

Ответ прост. У нас не было языка для восприятия ТАКОЙ реальности. Не было «призмы». Мы некоторое время пробовали летать без очков. А что было?

Все 70-е и 80-е гг. в России были временем бессмысленных споров интеллигентов. В основном, пляски велись вокруг брежневской версии «марксизма». Подспудно интеллигент мечтал вообще избавиться от «марксистской» парадигмы (в общем-то, от версии брежневского политаппарата; я считаю, что нормальный марксизм как «призма» и сегодня вполне приемлем). Она его более не увлекала. В сущности же, власть и население «правели», а интеллигент «левел». Ему хотелось чего-то этакого, жареного. Свободы. Оргий. Чашки кофе с бутербродом по утрам. Вольного общения – когда знаешь, что завтра с бодуна не настучат, а телефон не слушают (впрочем, я думаю, что телефоны вообще не прослушивали, и именно в этом причина перестройки; или слушали, да не те; ошибочка какая-то вышла, господа кагебешники – или так задумано было?).

Общее настроение того периода – внутренняя эмиграция. Замкнутость. Алкоголь в лошадиных дозах. Времена глухого молчания, но при колоссальной внутренней работе, что само по себе не так уж плохо. То есть что-то такое все же варилось в мутном советском котле.

На этом фоне редкие двух-трехдневные вылазки «советских властителей дум» на Запад приводили к неадекватному восприятию реальности. На истинный Запад накладывался русский литературоцентризм. В Америке искали образы чуть ли не Марка Твена или Уильяма Фолкнера, в то время, как реальностью, в лучшем случае, был какой-нибудь Артур Хейли. А то, что ищут, обычно находится в собственной, уделанной отходами брежневского интеллектуального мира, башке.

Миф о прекрасной и свободной западной жизни определял поведение большинства мещан. Казалось – стоит сделать «по-американски», и все пойдет на лад.

В России же эта среда избрала бегство от реальности, а потом – и революцию против реальности, осуществленную в виде событий 1985–91 гг.

Таким образом, всеобщая «призма» массового позднесоветского восприятия оказалась очень опасной. Разрушительной.

Национальной же философии в те годы в России не было в помине. Той философии, которая могла бы быть понятна простому человеку. Которая поддерживала бы жизнь, а не желание забыться и заснуть, или бросить бомбу себе под ноги.

Иными словами, так называемое гражданское общество советского периода было настолько неразвито, что до своего языка еще не доросло.

Был жуткий язык западнической интеллигенции, который неожиданно навязали всему «прогрессивному движению в поддержку перестройки» – заклинания, смысл которых никому не был особенно понятен.

Был кондовый язык схоластов от марксобрежневизма, от которого начиналась прямо-таки сартровская тошнота.

Были какие-то жалкие попытки что-то свое изобрести, но в конечном счете все тут сводилось к БЖСР – «бей жидов, спасай Россию».

Были эмигрантские консервы с яичным порошком, в проржавевших банках образца 1914 г. – от которых могло случиться только расстройство желудка.

Ну, и, наконец, были светлые пятна на этом фоне – о них прежде всего и пойдет речь.

Правда, светлые пятна были загнаны на самую дальнюю периферию перестроечного пейзажа. И назвать тут к 1990 г. можно всего несколько имен. Реально – два-три-четыре. А то и вовсе одно.

Эти люди могли бы стать «интеллектуальными гуру» проснувшегося гражданского общества – если бы оно до их уровня доросло.

Но общество оказалось инфантильным и загнало потенциальных героев в гетто, где некоторые из них живут по сей день.

Другие сломались и превратились в подпевал «новой системы».

Пришли и новые люди. Это радует.

Иными словами, 90-е гг. – период, когда изготовители философских призм жили почти в полном отрыве от потребителя своего товара. Общество же, битое всеми реформами, дефолтами и свежими ветрами надежд, все еще идет по трудной дороге интеллектуальной эволюции. Умнеет – но медленно. И живет без языка.

Недавно я читал статью в «Совраске» о причинах депопуляции в России, где автор высказывал мысль о том, что проблема состоит просто в неприятии нацией навязанной сверху идеологии. Я бы уточнил, что дело как раз в полном «приятии» – ведь либерализм есть идеология смерти, вроде запойного пьянства или тяжелой наркомании. «Делай, что хошь» – и, ясный перец, «хошь» понимается только как «жить в свое удовольствие». То есть, хе-хе, не размножаться, не строить и не копать канав от забора до обеда. Купил, продал, на два процента от прибыли вколол дозу. Вот и весь «пейзаж». Гуляй, душа… И так без конца. Таково lassez faire (черт его помнит, как оно там пишется, я по-хрянцузски плохо знаю, а словарь надо искать) с русским акцентом.

Иными словами, я хочу сказать вот что: 70–80-е гг. создали два социальных мифа. Первый – «о райском Западе»; второй – «об ежедневной эстетике борьбы с режимом». Иногда обе идеи совмещались, тогда получались Александр Галич или Виктор Ерофеев. «Бороться с режимом, чтобы на халяву пить Johny Walker» (Галич). И наоборот (Ерофеев).

В перестройку оба мифа слились и в сознании одуревших горожан-бюргеров, и они ловко разнесли к черту политический пейзаж позднего совка. Бороться с режимом, чтобы жить, как на Западе.

Где-то на окраинах общественной жизни текла и разумная, так сказать, от «здоровой почвы», скептическая струя (к коей принадлежал в душе и автор этих строк): а вдруг как из этого «великого переворота» ни хрена не выйдет? Вдруг разнесем все к чертям, а рая не наступит? Может, лучше

постепенно изменять существующую систему, придавая ей «местные», здоровые черты? Да и русская история учит, что окружающая среда только и ждет, как бы мы дали слабину – тогда карфагенские слоны нас затопчут. Так что лучше действовать постепенно, разумно, поддерживая режим (несть власти, аще не от Бога, в конце концов), но при этом меняя его потихоньку. Здоровый изоляционизм, натиск на Запад и т. д. и т. п. подразумевались сами собой. Одновременно – технологический прорыв, национальные интересы на первом плане, модернизации хозяйства и мощный фундаментальный режим.

К этой струе, к сожалению, примешивалось «говно» – та самая лапотная русская реакция, когда вшей в бороде лечат отсечением головы. Все эти течения вроде разного рода «БЖСР» (бей жидов, спасай Россию), «монархизмов», «русских рабочих коммунизмов», прочих ряженых из ателье «КГБ» и от великого кутюрье интеллекта, утонченнейшего мыслителя генерала Филиппа Бобкова в конце концов дискредитировали национальный ответ на «вызовы» истории.

Отчасти победило западоидное «бюргерство», которому национальный язык и разные там «дискурсы» вовсе и не были нужны.

Таковы были основные интеллектуальные течения в СССР.

Проводником мифов «райского Запада» была перестроечная демпресса. Наиболее показательный автор такого плана – конечно, Василий Аксенов, сделавший это нехитрое занятие своей эстетической программой; официальным философом этого направления я могу назвать Бориса Парамонова. Это, конечно, была философия «бюргеров». Но глубокая философия.

Идеи «борьбы с режимом», как смысла жизни, проистекали из интеллигентской «народной толщи» и имели за собой 200 лет традиции противостояния государству. Тут трудно назвать какого-либо определенного идеолога (разве что Новодворскую, как типичного представителя). Это, скорее, был утробный ответ советской интеллигенции, чисто эмоциональный и не имеющий своего ярко выраженного «дискурса». Нечленораздельное болботание подобного рода слышалось и в «свободном» эфире.

Первым серьезным представителем «здоровой почвы» я назвал бы Солженицына. Конечно, тут не обойтись без критики в его адрес. Ибо при всем здоровом подходе ко многим вещам А. И. был насквозь архаичен, полностью стоял в XIX веке (всеми конечностями и выпуклостями) и даже держался обеими руками за какое-то столетней давности, ржавое святогорово кольцо, желая с его помощью перевернуть Россию. Поэтому так смехотворен он был в 1994 г., возвращаясь в Москву, словно красно солнышко – с востока. Потому-то его выступления по телевизору были наполнены благополезными благоглупостями. «Слишком далеки они от народа» были, и это его погубило. Эмиграция есть смерть русского интеллекта.

Помимо того, в России в этом потоке был (и остается пока) только один мыслитель действительно национального уровня, способный правильно построить пресловутый «дискурс». Это, конечно, Александр Дугин.

Я довольно скептически оцениваю его идейную эволюцию последних 5–6 лет, но… Но! Но… Можно сколько угодно критиковать этого человека, ругать, пинать его идеи сапогами, обзывая их компиляциями (он сам собирает такие высказывания в разделе «Рессантиман» сайта «Арктогеи») – одно остается истиной: мыслителя подобного уровня и таланта в стране пока нет. И, может быть, не скоро будет. Да, если честно, его путь кажется мне слишком кривым и запутанным. Но это путь трагической и мощной фигуры. Это вам не неопределенное мамардашвили какое-нибудь. Он, Дугин, останется в исторических энциклопедиях, а про мамардашвиль будут знать только узкие специалисты. Но на его роли мы остановимся отдельно и ниже.

90-е гг. начинались, кроме того, публикацией «Бесконечного тупика» Дмитрия Галковского. А также его статьями в «НГ» – «Андерграунд», «Разбитый компас указывает путь». Тогда это тоже было свежим ветром. Казалось, Галковский будет влиятельным новым философом России. Впоследствии, однако, он превратился в нечто совершенно невообразимое для России – в «западника-антисемита». Такое вполне возможно разве что в Польше, в этом смысле нынешний Д. Е. Галковский есть совершенно варшавский мыслитель из богемной кофейни «Орбис», даже сюжеты его «святочных рассказов» так и просятся в какую-нибудь «Нашу Польску», только в них надо переделать антураж – «красных» поменять на «сталинских жидов», русских – на «честных польских обывателей». Посему чужеродность Дмитрия Евгеньевича сейчас бросается в глаза. Мне он напоминает участника польского восстания, сосланного в Сибирь – с его претенциозным панским аристократизмом и неопределенной позицией по большинству сугубо русских вопросов, когда нечего сказать, кроме «бендемы вальчичь се за вольносць вашу и нашу» (будем бороться за вашу и нашу свободу). Его родина где-то далеко (я подозреваю, что такой духовной родиной для Галковского является навеки покойная Россия до 1917 г., а мы тут противники некрофилии) и стонет под игом чужеземцев (понятно, всеми любимых «жыдов» и «масонов»).

Ну, и, наконец, истинное «говно» – разного рода деревенская литература, от которой настоящих, живых крестьян всегда тошнило, с ее «болботанием» и нечленораздельностью (не хуже, чем у «борцов с режимом»), с ее странной продажностью и непонятными идеями-капризами, как у беременной. «Чего-то очень хочется, а чего – непонятно».

Что же предшествовало падению СССР?

Итак, одна четкая линия противостояния – «бюргеры» против «евразийцев», и внизу, под ними, две мутные волны, также противостоящие друг другу: «диссиденты» и «деревенщина».

Это было основным настроением 1991 г. Это было противостояние «Дня» и «Московских новостей», если хотите.

Печально было то, что в обоих «органах мысли» все подавалось в «смеси». Не было четкого «западничества», не было четкого «евразийства». Всюду

лезла низовая розово-голубая муть. В этом смысле с «нашей» линии фронта очень двойственную роль сыграла «Русофобия» Шафаревича – с одной стороны, методологически гениальная работа, с другой – вечно низводимая интерпретаторами до банально-вульгарно-бульварного антисемитизма «подметная статья» из общей серии БЖСР. Вообще, очень перспективный «День» Проханова подвергался инфильтрациям «снизу», в него постоянно проникала говенная муть (и по сей день он от этой болезни не вылечился, и в «Завтра» все то же, все те же).

Были на этом фоне и, на мой взгляд, очень интересные «двойственные» фигуры, вроде Александра Янова, который все эти годы безуспешно исполнял некую национальную дипломатическую миссию. Конечно, его книги – творчество типичного западника, однако не все так просто. Ведь основной пафос его литературы состоял в том, чтобы напугать Запад «Веймарской Россией» с последующим фашизмом и заставить его оплатить технологическое становление страны. Следующим, вполне естественным шагом России, конечно, стало бы посылание «доброго дяди» Запада на три буквы и новый круг «великодержавности», уже за счет «либеральной цивилизации». Вполне ленинский подход. Игра была нехитрой и давно известной, поэтому, видимо, Запад ее раскусил.

Но, как это ни смешно, ни одна из линий позднесоветского интеллектуального заповедника в 1991 г. не победила полностью и окончательно.

Победило НЕЧТО ИНОЕ.

Но что?

2. Шок и терапия

Перестройка кончилась.

Кончилась чужой победой.

На самом деле, победил просто-напросто веселый аппарат советского агитпропа. Провинциальный вариант общества зрелищ. Которому было ровным счетом все равно, что проповедовать, как и кому. Главное – удержать социум от понимания ситуации, оглушить его, вызвать состояние наркотического транса

Хруще-брежневизм породил мощную систему идеологического долбежа. Тот самый «истеблишмент» СМИ, всяких там сейфульмулюковых и зубковых, а впоследствии и вовсе разных доренко-херенко с широченным хвостом из всяких там просто-марий, полей чудес и угадай-мелодию. Эта колоссальная социальная группа делала карьеру в перестройку, она лучше всех оценила реальное состояние страны и оказалась «как бы» у власти в 1991 г. Победа агитпропа привела к тому, что этак уже добрых 15 лет перед нашими глазами разыгрывается бессмысленный спектакль с непонятным сюжетом и неизвестным концом.

Долбежники наточили зубы на «марксистских» проповедях, но содержание идеологии им было совершенно не интересно. Они будут проводить

в жизнь любую систему взглядов, если только им прикажут начальники. Немудрено, что агитпроп схватился всеми зубами за либерализм и стал его пережевывать для «народа». Перед нами уже 8–9 лет проходит великое «зрелище» строительства на Руси каких-то американских декораций – и, скажем прямо, довольно успешное строительство. Беда только в том, что это декорации, и при первом морозе все их обитатели передохнут

Тем не менее игры бюргерства в «средний класс», «чистую менеджерскую Россию» и прочую подобную туфту одно время были единственным содержанием внешней российской жизни.

Я говорю о периоде 1992–98 гг.

92-й начался с экономического удара по «подпольным штабам». Все моментально накрылось медным тазом, и те, кто был готов сказать свое слово, оказался в экономическом подполье. Мы моментально лишились средств к существованию и пошли кто куда – за деньгами и жратвой. Мне, например, для обретения некоторой финансовой базы потребовалось 5 лет – к началу 1997 г. я смог, помимо борьбы за существование, заниматься еще и тем, что мне лично интересно.

Мы остались тогда на окраине общественной жизни – и наши места заняла «золотая молодежь» из каких-то совершенно невероятных советских высших сфер, где с интеллектом было как-то не густо… Казалось бы, у людей нашего круга был прямой путь – в оппозицию. Но оппозиция была точно такой же, как и власть, то есть непробиваемой и монолитной группой «своих». Точно так же пути в нее были перекрыты для нас, для тех, кто пришел позже и не сиживал в их президиумах, не пил их водку и не спал с их секретаршами. Мой друг, один из теперешних авторов «Удода», «Русского средневековья» и ряда других наших проектов, безуспешно пытался пристроить когда-то свою статью в «День» – возможно, она и была низкого уровня, но речь не об этом: ему просто не удалось даже ни с кем поговорить, ибо местный «истеблишмент» был не хуже какого-нибудь нынешнего ФЭПа, с тем только отличием, что ФЭПовцы не отказываются выслушивать любой бред (а вдруг пригодится?), и такая вполне здоровая рациональность помогает им выигрывать.

Короче говоря, пейзаж 90-х был, если уж говорить образно, чем-то вроде декораций из засохшего дерьма. Чуть только появлялось что-то свежее, как его либо давили «вожди интеллекта» от власти и оппозиции, либо оно само становилось частью пейзажа и превращалось в «группу давления».

Дугин в до сих пор мало оцененной статье о постмодернизме («Элементы» № 9) писал об «отсутствующем центре» постмодернистского стиля, о постоянном пережевывании этим новым культурным организмом всех остатков прошлых культур, псевдоспектакле реальности, где нет ничего и никогда не будет, однако при этом «как бы» есть все. Защитники «демократического пантеона» считают этот стиль великой заслугой нового либерального строя – они говорят о «конце стиля» и «многогранности бытия». Тем не менее отсутствие стиля тоже есть вполне не слабый стиль,

который навязывает общую идеологию: занимайся, чем хочешь, делай, что хочешь, только не лезь в жизнь «общества» со своими «идеями» и сам в них не верь. Результат таков, что центр тоже «как бы» отсутствует, хотя на самом деле он есть. Иными словами, в полностью лишенном ведущего стиля обществе начинают звучать голоса каких-то иных сущностей, но не из «мира иного», а так сказать, «от мира сего» – прежде всего, голос подсознания постиндустриальной буржуазии. Отсюда эта сериально-пустынная культура, отсюда это пережевывание рождений-адюльтеров-бытовухи («Мэйсон опять (!) сошел с ума и потерялся»), эта бесконечная гонка за новым, нежелание привязываться к каким-то определенным картинам реальности – «новое, новое и новое». Средняя по цене модель компьютера устаревает за 1,5–2 года, еще через 1–2 года стандарты программного обеспечения перестают быть совместимы с теми, что использовались на ней – и вы вынуждены покупать новую, дорогую модель. Общество устроилось таким образом, что это самая лучшая иллюстрация к теории «колыхания дхарм». Все превращается в видимость, все социальные учреждения, все политические движения, вся «культура». Судя по всему, такой стиль пришел надолго, может быть, навсегда. Именно поэтому следует отвергнуть идеи старого «консерватизма структур» (все равно не угнаться за переменами) и опираться исключительно на «консерватизм ценностей», на «архетипические жесты», на «железную сетку идеологии, с помощью которой можно понять реальность».

Иными словами, наш (круга «РУ») путь сегодня превратился в стихийное бегство от постмодернизма, но не «назад», к уже всосанным в это великое кольцо формам культурного существования, а «как бы» (опять этот спектакулярный термин!) вперед, к изобретению иной реальности, в которой нам можно было бы существовать. Метапостмодернизм, конечно, чистой воды деревенская кустарщина. Но тем лучше! Свои лапти, в конце концов, милее парижских ботфортов.

Так вот, возвращаясь к основной теме, можно сказать следующее. Постсоветский вариант общества агитпропа – это не что иное, как гнилой остаток советизма, того, что создавал сбитый с толку аппарат КПСС с 1956 по 1985 гг. Глобальная «потемкинская деревня», которая вдруг оказалась столицей империи, стала провозглашать свои предписания городу и миру. Те, кто присосался к агитпропу, вдруг оказались не просто приживалками советского правящего класса, а царьками искусственной реальности. Одновременно с ними начал поднимать голову «псевдосредний псевдокласс» (ПСПК), который решил поиграть в свою реальность, строить ее из рваных американских декораций. Естественно, ПСПК не был нужен агитпропу, их отношения не были столь уж безоблачными, как это казалось на первый взгляд, и август 1998 г. закономерным образом похоронил эту общественную среду, которая начала претендовать на центральное место. Иными словами, «западоидное», «бюргерское» Сопротивление было подавлено и уничтожено.

Настал черед других версий Сопротивления обществу Деревенского Спектакля. Конечно, прежде всего в такой форме выступила старая, хорошо известная идея «карнавала», «хлыстовства». Появление гениальной монографии А. Эткинда «Хлыст» в 1998 г. (!) стало важнейшим моментом изменений в общественном пейзаже. За высказанные в ней идеи ухватился Дугин, и это стало еще одним поворотным пунктом в его идейной эволюции от «крайне правого» к «крайне левому».

Мы же, со своей стороны, оцениваем основную концепцию «Хлыста» следующим образом. Итак, существует либерально-рационалистическое Просвещение, связанное с центрами европейской цивилизации. Оно давит, наступает, всюду проповедует свои умеренно-рационалистические идеи. И есть Сопротивление «почвы», выступающее в виде «карнавала», разного рода коммунистических эсхатологических движений, религиозных общин с самыми невероятными идеями. Важно вот что: все движения Сопротивления кладут в основу слияние с некоей Субстанцией – природой, народом, почвой, кровью… В конечном счете, речь идет о преодолении всяческих различий между полами, индивидами, народами и т. п. О слиянии всех в одну сплошную вертящуюся массу «радений». Что, конечно, на руку лишь полицаям Просвещения. Даже сам Эткинд в заключении к «Хлысту» отмечает, что периоды наиболее ожесточенного буйства Сопротивления были связаны с наиболее мощным потоком капиталистических перемен – и вполне успешных перемен. Мы предполагаем, что одно следует из другого, и это звенья одной цепи. Странно, что Эткинд нигде не ссылается на «Социализм как явление мировой истории» Шафаревича. Но ведь дело в том, что Сопротивление, в конечном счете, оказывается той самой «волей к смерти», выступающей в виде неразличимого, полного слияния с Субстанцией, с Материей, той самой абсолютной капитуляцией перед лицом буржуазной идеологии, метафизическим самоубийством. Поэтому мы не можем принять хлыстовскую версию Сопротивления. Мы не желаем умирать и еще поживем.

Более того, нынешняя версия постиндустриального Просвещения полностью усвоила «карнавал» и прочие атрибуты, переварила их, всосала, впитала, и теперь представляет собой, в виде общества спектакля, разновидность власти Субстанции. То есть того самого «колыхания дхарм», с которым следует слиться и забыть о себе, о личности, вне каких-то там чисто животных желаний, подталкивающих колесо прогресса.

Здоровой версией Сопротивления стало бы как раз проявление «персонализма». Я думаю, что единственным разумным ответом на «вызов» победившей Субстанции может быть исключительно идея «малого народа», та самая, многократно охаянная нашими «псевдпатриотами». В этом смысле появление статьи Дугина «Малый народ Евразии» является обнадеживающим знаком – похоже, в этих кругах далеко не все потеряно.

То, что аж с 1 мая 1991 г., с нашего «зарайского съезда», предлагают Элиезер Воронель, Питер Брайль и Дора Шифтман (все это, конечно, псевдонимы) в качестве терапии – и есть идея «малого народа». Избранного острова «святых», Вечного Города, противостоящего современности. Следует вернуться к чисто иудейской идее избранности – она и есть главный «мессадж» нашей цивилизации. Не политическая корректность, не «равенство и братство», не абстрактное всепрощение. А кровавая месть, поддержка своих, проникновение всюду. Диссолюция вместо революции – растворить Субстанцию в себе, а не самим растворяться в ней. Переварить псевдореальность и спустить ее в канализацию.

Народа не существует – он сам распался на атомы и стал элементом колыхающейся виртуальной картины Субстанции.

Таким образом, единственный и последний Народ – это мы. Вы и я. А все остальные лишь потенциальные его члены. Таков вывод. Такова и наша линза, через которую мы смотрим на «реальность». И утверждаем, что других здоровых идей Сопротивления сейчас нет. Ни хлыстизм, ни карнавал, ни коммунизм ничего не дадут – все это давно ассимилировано и обсосано, приручено Системой, квантовано, разложено на атомарные импульсы великого волшебного фонаря в синематографе западного мира. Возможный наш ответ может лишь заимствовать изначальную форму импульса Просвещения («протестантская этика» и проч.). Вероятно, эту форму Система тоже усвоит и всосет. Но, по крайней мере, наша жизнь проходит не зря. Мы ведем свою войну, и тот факт, что на протяжении 10 лет мы, размахивая самодельной кувалдой, не смогли пробить фасад «агитпропа», говорит о том, что наши идеи чем-то для них опасны.

Тем не менее, с агитпропом пора заканчивать. Время хрущебрежневских выродков уходит. Они стареют и дряхлеют. Сдохли «шестидесятники», дело за «комсомольскими прагматиками 70–80-х гг.»

И мы их добьем.

Да, мы потеряли почти 10 лет – но это было плодотворное подполье и ценная эмиграция. Мы чувствуем, что безумный сон ельцинизма заканчивается. Что общество просыпается. Мы верим в «контрперестройку», когда разумные версии Сопротивления сметут царствующую всюду Субстанцию.

3. История десятилетия: регистрация утрат и обнадеживающий диагноз

В целом, однако, 90-е гг., если судить по пресловутому большому счету, все же потеряны в интеллектуальном смысле. Результат самый печальный – мы все еще стоим на уровне 1990–91 гг.

Более того, все, что произошло за десятилетие, весьма гнусно, и не вызывает никакого здравого желания продолжать далее этот субъективный анализ.

И все же я его продолжу, хотя бы для того, чтобы разобраться в собственых ощущениях. Мне придется, да простит меня читатель, дать самую краткую характеристику каждому году ельцинского десятилетия.

1991 г.

В общем, полная неопределенность. Бессмысленные толпы «левых» (если кто помнит, так тогда называли демократов «а ля Собчак») на улицах. Бронетранспортеры, «совместное патрулирование», Вильнюс и Рига, дурацкий бутафорский путч и совсем не дурацкий роспуск СССР, прошедший как-то тихо, незаметно и под шумок.

Правда, 91-й можно назвать триумфом Галковского. Неожиданно всюду и везде («Новый мир», «Москва» и т. п.) появились отрывки из «Бесконечного тупика», который на самом деле был чем-то совершенно новым, великолепной самохарактеристикой русского интеллекта, переосмыслением «исторического опыта». Однако «БТ» был написан в конце 80-х и уже не может быть отнесен к литературе 90-х. Он оказал огромное влияние на наш круг (а я пишу только и исключительно о своем понимании пейзажа – не ищите тут объективности и «правды»!), и все же он в большей степени фиксирует интеллектуальную ситуацию 70–80-х гг. Хотя, по-моему, после «БТ» заниматься сочинением беллетристики бессмысленно. Никакие Пелевины и Сорокины ничего нового уже не скажут. «Бесконечный тупик» представляет собой роскошный памятник на могиле так называемой русской литературы. Она давно умерла, а то странное зомбированное существо, которое бродит по картофельным полям Руси и собирает антибукеры, следует как можно быстрее поймать и похоронить, забив ему осиновый кол в сердце.

Вообще же, интеллектуальном смысле больше почти совершенно нечего вспомнить. Хрень какая-то, в целом. Ну, разве что статьи Дугина в «Континенте Россия» как светлое пятно. «Русская идея» Парамонова на «Свободе» как разновидность вполне приемлемого интеллектуального эрзаца. Неожиданно вылезшее «Слово к народу», сочиненное группой испуганных граждан… Сейчас, когда я читаю это «произведение», оно кажется мне совершенно нормальным и содержащим вполне здравые мысли. Однако в момент своего появления «Слово» вызвало в нашем кругу глухое неприятие. Потом я долго пытался понять, почему. Даже в 1998 г. написал на эту тему целое «исследование» (оно называлось «Русский пасьянс»), и мой вывод сводился к тому, что власть не смогла использовать революционаристский пафос гражданского общества. Верхи были консервативны и ждали того же от «народа». Народ же к этому моменту был чистым «люкримаксом» (А. Эткинд), конструкцией заблудшего бюрократического сознания, великой пустотой – он впоследствиии так и не сказал НИ СЛОВА ни по одному из вопросов. Вспоминается известная подпись Ю. Олеши под карикатурой 1917 г. – «Россия гибнет? Ну и черт с ней… Нету никакой России, ее буржуи выдумали». Такой и была позиция народа-шишконосца.

Поскольку же буржуазное «гражданское общество» (в лице кооператоров, подпольных цеховиков, первых легальных капиталистов и иже с ними) никакой идеологии не имело, а «совбюрократия» вообще утратила мозги, в сентябре-декабре 1991 г. происходил переход власти к части наиболее прозападной бюрократии и к представителям СМИ. Говоря терминами какого-нибудь XVII века, победили наглые помещики и бессовестные проповедники.

Все остальные силы были в тот момент только чистыми потенциями.

Итак, 1991 г. заканчивался распадом советской империи – потому как союз *«помещиков»* и *«проповедников»* не мог не иметь националистического характера – точнее, речь шла о прикрытии маневра. Происходила западнизация под националистическими лозунгами. Везде, кроме России – тут вообще побеждала какая-то «белая логика», прямо по Джеку Лондону (*если кто помнит его «John Barleycorn»*).

Тем не менее, 1991-й, как и вся «перестройка», был каким-то особым, спресованным, насыщенным временем, которое имело свой яркий, неповторимый вкус. Казалось, что так будет и дальше. Мы привыкли к однообразию качественного продукта и забыли, что ассортимент вкусов времени иногда меняется, и очень круто.

1992 г.

Пришли новые «понятия». Тем не менее поначалу, несмотря на все финансовые обломы и катастрофы (я, например, весь 1992 г. сидел, можно сказать, на бобах, получая едва 25–30 баксов в месяц, и не мог нигде найти нормально оплачиваемой работы) казалось, что в интеллектуальном смысле побеждает мнение «мещанского общества» городов – пошлое, тупое, но вполне привычное. «Бюргерство» как-то ожило. Сейчас принято вспоминать гайдаризм недобрым словом, и лично мне в самом деле нечего там хвалить, но я помню, как стремительно «обогащалось» это самое «бюргерство». «Народ», «нация страдальцев», «нищие» покупали автомобили, телевизоры, видеомагнитофоны и в ус не дули. Пресловутая оппозиция никак не могла понять, почему все ее массовые аттракционы, вроде «народного съезда за восстановление СССР» в марте 1992 г., проходят так вяло и не влекут никаких последствий. Дело было в том, что «бюргерство» в целом удовлетворилось либерализацией цен. Оно реализовало свои денежные запасы, обратило их в «недвижимость» и «продукты», совершило первые обороты капитала. Сложилась «мелкобуржуазная среда», которая достаточно динамично развивалась. Видимо, в какой-то момент эта среда стала представлять реальную угрозу для барско-проповеднической олигархии, и та стала искать пути разобраться с «будущими врагами».

В предыдущем абзаце много кавычек – но это я специально. Прием такой. Не примите за окончательного идиота…

Именно в таком вот слабовооруженном противостоянии бюргерства и «псевдорежима» прошел 1992 г. Остюда все эти песенки блатных королей, все их мелкие крестьянские радости (к примеру, книги на вокзальных лотках – «Попка по имени Оля» или «Космическая проститутка»). Власть

тем временем пыталась выработать свой стиль, но он у нее долго не получался. Стиль же бюргерства определился сразу: пропадай моя телега... Разухабистая песня, стакан дешевой картофельной водки, бабы, гармонь и лосось. Реализация мечты советских спекулянтов.

Немудрено, что никакого особо интеллектуального товара на российском рынке того периода не было. Пожалуй, единственным светлым моментом было появление «Элементов» и «Милого ангела», но тогда это был настолько «элитарный продукт», что можно его исключить из рассмотрения (с изданиями этими я впервые всерьез столкнулся на московской книжной ярмарке осенью 1992 г.; их почему-то продавали баркашовцы в черной форме).

Вообще, явным плюсом «реформ» можно назвать потрясающий расцвет книгоиздательства в стране. Конечно, это было лишь побочным следствием эволюции «общества деревенского спектакля», но – полезным следствием. 1992 г. в смысле количества и качества книжной продукции в сравнении с каким-нибудь 1990-м казался просто раем. Правда, нам не всегда хватало денег даже на традиционный утренний кофе с бутербродом, не то что на книги. *Тем не менее была переиздана масса ценной литературы*, делались переводы (хотя в смысле оперативности переводов наша страна весьма отстала; скажем, принципиально важная «The Gnostic Religion» Ганса Йонаса вышла у нас чуть не через шесть лет после появления на Западе, а в Польше ее перевели практически сразу).

В целом о 1992 г., кроме абзаца из неприличных слов, и сказать-то нечего. Даже толстые журналы ничего особо привлекательного не опубликовали (единственное, что запомнилось – повесть «Желтые короли» про американских таксистов, автора запамятовал, да книжки Лимонова, впрочем, написанные задолго до «года реформ»). А. Янов в книге «После Ельцина» назвал этот год «марсианским». Умри, лучше не скажешь...

1993 г.

Вдруг слабо повеяло какими-то «интеллектуальными ветрами» (вопрос только в том, кто их пустил). Для меня же 1993 г. начался с публикации трех статей Галковского – «Разбитый компас указывает путь», «Андерграунд» и «Стучкины дети». Дмитрий Евгеньевич последовательно наехал на советских философов, советский образованный класс и советских юристов. Все три слоя получили свою порцию фазаньей дроби, по-моему, вполне заслуженно. Особенно понравился «Андерграунд», конечно. Тогда мне это казалось программным. Я сам некогда прошел через ситуацию «непонимания окружающими», описанную Галковским, и мне все эти вопросы были очень близки.

На периферии мышления важным моментом было появление «Конспирологии» и «Гиперборейской теории» Дугина, но тогда эти события не воспринимались как значительные – казалось, что это все так, просто от «безрыбья», хоть и интересно.

Развлекал прохановский «День», который пытался собрать вокруг себя некую соляночную оппозицию – из коммунистов, монархистов, левых демократов, «фашистов», социалистов и даже, кажется, сладкой парочки Роя Медведева с Новодворской. Иными словами, сумасшедший Проханов все-таки интуитивно чувствовал, что победило нечто совершенно чуждое и «нереальное», чему надо противостоять всем кагалом. Тогда (точнее, еще раньше, в 1992-м) появился лозунг «долой оккупационный режим», но он, пожалуй, был слишком «загнутым», поэтому общество сочло его коммунистическим враньем. «Оккупация» – слишком сильное определение, вполне в стиле шестидесятников, которые считали брежневизм «страшными годами России», «зверской диктатурой», при этом путешествуя по Парижам и попивая коньячок. Надо было говорить что-то вроде «*долой режим прозападной марионеточной олигархии*», это больше походило на правду и было бы понято. Но прохановцам хотелось чего-то эдакого, в стиле «над седой равниной моря...» В результате они проиграли войну за мозги недовольного населения, дискредитировав собственные пропагандистские усилия. Впрочем, достаточно прочитать тогдашние прогнозы «Дня» на 1992–93 гг., чтобы понять, насколько эмоции превосходили у этих людей здравый рассудок.

Вообще же, в 1993 г. часто радовала «Независимая газета», которая постоянно смещалась «как бы вправо», к идеям национального бюргерства. И при этом сама жизнь «общества» была на редкость противна. Вспомним хоть бы идиотский весенний референдум «да-да-нет-да» (подобные референдумы в 40-е гг. проходили на территории стран Восточной Европы в поддержку «советской оккупации» – мне эта аналогия представлялась знаком позора). С другой стороны, постоянно мешала жить парламентская фронда. Верховный Совет выпендривался, как мог – и никаких рациональных моментов в его деятельности не было. Все сказки про «великое восстановление» были чистой рекламой, как впоследствии и оказалось.

Тем не менее, за парламентской фрондой стояли определенные силы. Точнее сказать, неопределенные силы. В основном, часть советской бюрократии, которая проиграла от реформ. И некоторый процент «советского среднего класса», те самые инженеры из почтовых ящиков, сделавшие «перестройку» и теперь кающиеся, ибо на рынке презервативов и пирожков с мясом места им не нашлось.

Массовой реакции в поддержку фронды со стороны общества не было – и не было именно потому, что фронда была выступлением «бывших помещиков». Страшно далеких от «народа», прежде всего потому, что они верили в существование самого этого «народа», который поет и пляшет, строит плотины и рожает детей. Этаких трудолюбивых бобров, объединенных православной этикой...

Идеологом помещичьей фронды, на мой взгляд, был небезызвестный Ю. Мухин (ныне редактор комической «Дуэли», один из авторов которой обещал врезать мне в ухо; я же, пользуясь случаем, обещаю подбить

ему оба глаза при встрече, и мы будем квиты), написавший книжку «Путешествие из демократии в дерьмократию и дорога обратно». Этот «интеллектуальный шедевр» я прочитал поздней осенью 1992 г., и весь следующий год парламентские фрондеры действовали точно по Мухину. Конец, правда, получился совсем не мухинский, а, скажем так, ельцинский. И все потому, что Мухин закладывал в свои расчеты пресловутый «народ», который «гибнет».

На самом деле главной ошибкой «патриотов» всегда было желание выдавать небольшую часть так называемого «народа» за целое. Теперь я знаю, что весьма здравые мысли на этот счет высказывались уже в 1993 г. Именно тогда Константин Крылов написал статью «Россияне и русские» (которую, по его словам, приписывали Шафаревичу; и в самом деле, методологическая модель Крылова столь же гениальна, сколь и сугубо неоплатонический образ «Русофобии»). По его мнению, существует два разных этноса, которые уничтожают друг друга. Точнее, плохие россияне (городское вестернизованное мещанство) проводят геноцид хороших русских (почвенно-провинциальной, еще даже полукрестьянской среды). По правде говоря, я вначале был зачарован таким подходом, при том, что статья мне попалась только в декабре 1999 г. Если бы она была опубликована в 1993 г., произвела бы дикий фурор (и это лишний раз подтверждает мою мысль о 90-х гг., как времени, когда у национальной философии рот был наглухо завязан – ведь работу не опубликовали, видимо, лишь из-за того, что Крылов не принадлежал к «эстаблишменту» патентованного КПСС-овского патриотизма). С другой стороны, сейчас концепция Крылова мне кажется, в общем, дезориентирующей, верной лишь отчасти, но об этом я расскажу отдельно и ниже, в следующей главе. Но, по крайней мере, Крылов показал, что проблема апелляций к «народу» весьма сложна – вначале следует еще разобраться, существует ли этот самый единый «народ».

Так вот, фронда верила в «народ» и его «поддержку». На это и рассчитывала в своем противостоянии с обладателем «твердого рейтинга». Сам «президент», видимо, лучше знал, что к чему. 1993 г. закончился танками и обгоревшим парламентским унитазом, на который теперь опустился свинцовый зад правительства. Все это наглое мошенничество в стиле покушения на Леника Брежнева теперь считается геройством! Но видели ли мы хоть одного раненного депутата ВС? Или хотя бы пострадавшего от омоновской дубинки «народного избранника»?

Честные и смелые люди, погибшие у БД (и не имевшие парламентских «корочек»), – суть жертвы эстетствующей фронды, профессиональных провокаторов, и «герои-депутаты» за это еще ответят. Ответят своей поганой кроличьей шкуркой, которую мы впоследствии натянем на детские барабаны.

Общество плюнуло на московские боярские разборки – скорей, его больше устраивала ситуация разгона парламента. В мире русской

рациональности «народное представительство» не находит своего места. Этот сюжет – не для России, и наша «почва» парламентаризм отторгает. Связав себя с парламентаризмом, «патриотическая фронда» потеряла всякий авторитет в среде национал-бюргерства, которое видело в «депутатах» просто наиболее тупую и наглую группу бывшей номенклатуры.

В результате бюргерство, как западоидное, так и «наше», приняло правила игры режима и стало, согласно им, трансформироваться в псевдосредний псевдокласс, частный атрибут телереальности. Довольно дебильными и примитивными художественными средствами, но вполне объективно и правильно этот процесс впоследствии был отображен в «Поколении П» В. Пелевина.

Таким и был итог 1993 г. Фронда, как и та, в XVII веке, была раздавлена, а «обществу» показали, что новый режим пришел всерьез и надолго. Явился олигархический абсолютизм во всей своей красе, со всенародно избранным Президентом-Солнцем. Тогда, в октябре, я написал статью под названием «Новый большевизм», смысл которой сводился к одной нехитрой идее – надежды на «реставрацию» эфемерны, следует принять эту реальность и попробовать ее переделать для себя, изменять постепенно, но неукоснительно; никакого «страдающего народа» нет, он в целом поддержал новую власть и, по крайней мере, не имеет с ней принципиальных разногласий. Я писал, что «красно-коричневые реакционеры» делают ту же ошибку послереволюционной эмиграции: мол, пройдет три года, большевики падут, царь приедет на коне. Большевики продержались 74 года, а царь так и не приехал. Новый режим простоит не менее двух-трех поколений, и это надо учитывать в дальнейших расчетах.

Итак, отличие 1991–93 гг. от всех прочих лет было в том, что до 4 октября происходящее вокруг казалось каким-то бредом, временностью, алкогольным делирием, случайным сбоем управляющей программы, и все (по крайней мере, большинство) ждали, что это очень скоро кончится – вот завтра вернутся гебешники и комса, наведут порядок… Пресненские орудийные залпы показали нам, что перманентная историческая белая горячка, неизлечимая политшиза и есть тот самый иной пейзаж, неожиданно возникший из игры перестроечных дураков и клоунов, после затяжной «олигофрении средней степени», характерной для СССР. Что «новая жизнь» пришла надолго, и с ней следует научиться жить. Я думаю, большая часть даже самых тупых представителей «советского среднего класса» поняла, что ничто уже не вернется, и впереди полная безнадежность, сколько бы они ни торчали перед парламентскими руинами. По счастью, «полной безнадежности» не случилось (таков уж русский сюжет), но об этом потом.

1994–95 гг.

Тем не менее, итог октября 1993 г. в интеллектуальном смысле был ужасен. Пришли мрачная пустота и унылое глухое молчание, стало тоскливо до жути. Если раньше «хомо постсоветикус» жил надеждой, что «вот

приедет барин» (и восстановятся все старые парадигмы, включая «борьбу с режимом»), то теперь стало ясно – чуда не будет. Будет бесконечный путь в пустынных дюнах и в неизвестном направлении.

От безысходности нам оставалось лишь принять навязанные правила игры. К «счастью», усилиями агитпроповской олигархии в стране к 1994 г. все же сложился относительно нормальный рынок труда, где бо́льшую роль играли способности, а не близость к какой-нибудь «тусовке». По крайней мере, я именно в том году нашел приемлемую для себя и неплохо, по тогдашним меркам «среднего класса», оплачиваемую работу журналиста, литературного редактора и переводчика с нескольких языков. При этом моя долларовая зарплата постоянно росла и к моменту неожиданной «эмиграциии» выросла аж в пять раз. И все представители моего круга устроились тогда в целом неплохо. Хотя мы прекрасно понимали, что работаем на низших лакейских должностях в империи агитпропа. Но ничего другого вокруг не было…

Кроме того, начался великий парад транснационального капитала. Шествие золотых зверей. Открывались представительства иностранных фирм, магазины, склады, банки… Естественно, речь идет о столице и паре-тройке крупных городов. Что происходит в провинции, до сей поры остается для меня неразрешимой загадкой (я, видимо, круглый дурак, ибо искренне не понимаю, как люди, получающие жалкие 700 рублей, и то нерегулярно, умудряются покупать машины, дорогущую видеоаудиотехнику и даже дома – а таких случаев я в провинции наблюдал вагон и маленькую тележку).

Вот это все и занимало мозги постсоветского образованного класса. Началось строительство хитрых декораций, которые смогли бы заставить замолчать голос сознания – а оно знай себе долбило, что, мол, «все не так, ребята!» – и, как алкоголь, заглушить все попытки думать о чем-то другом, кроме элементарного экономического выживания.

Сам «режим» начал изображать «огосударствление» и даже устроил войну в Чечне, получив в ответ невообразимую вонь всех скунсов недобитой шестидесятнической интеллигенции.

В культурном смысле оба года прошли в потрясающей глухоте. Я не могу вспомнить ничего существенного, кроме того, что окончательно восторжествовала тусовка агитпропа. Принадлежность к клану автоматически делала тебя культурным творцом, даже если ты творил только бесформенные кучки фекалий в подъездах правительственных учреждений.

Помер Юрий Коваль, после 1953 г. – единственный писатель в полном смысле этого слова, которому из-за общего кретинизма СССР и последующего парада демонкратических шизофреников пришлось писать про речки, луга, пашни, журавлей, щенков, московскую интеллигенцию, граммофоны и вась куролесовых, воспевать какие-то невообразимые черные дыры советского бытия. Между тем, это была потерянная частица того самого «здорового национального ответа», о которой я когда-то писал. Итак, старая литературная языковая система рухнула.

Что касается политики, то ярким моментом было появление лимоновской НБП в 1994 г. и газеты «Лимонка». Правда, с самого начала мне не нравилась выраженная приблатненность нацболов, да и сама идея конструирования национал-большевизма не то по образцам «крайне левых» немцев 20-х гг. вроде Никиша, не то по книжке Агурского не казалась особо здравой. И все-таки, повторяю, это было единственным ярким моментом. Все остальные партии и движения РФ были просто сборищем старых пердунов и наглых комсомольских брехунов. НБП предлагала нечто более разумное, вплоть до штурмовых отрядов и «прямого действия».

Со своей лапотной колокольни я оцениваю последующую эволюцию так. Нет совершенно никаких сомнений в том, что НБП, «Арктогея» и прочие, в том числе либеральные демократические учреждения в России, суть проявления каких-то мощных политических волн на Западе, их десятого порядка отражения и тени. У нас все пришло из-за рубежа, даже концепция «консервативной революции» переносится из Германии 20-х, где она была не «теорией», а интеллектуальным и литературным течением, настроением интеллигенции. Таким образом, поворот того же пришедшего в НБП Дугина (1994–95 гг.) от «новых правых» к «новым левым» связан с общим мировым вектором. В статье «Процесс» (Элементы № 9) он сам, несколько сумбурно, охарактеризовал нынешнее состояние дел: на Западе «новых левых» с их хаосом, извращениями, копрофагией и пещерным постмодерновым коммунизмом вполне терпят, а они, вдобавок, являются властителями дум интеллигенции. «Новых правых» же, с их совершенно антилиберальной и архиконсервативной риторикой, немедленно заклевывают и превращают в маргинальных «протофашистов». Чтобы избежать обвинений в фашизме, надо стать «новым левым». В сущности же, и здесь повторяется та самая «послеоктябрьская парадигма» – надо принять правила игры Системы, пристроиться к ней и оказывать влияние, то есть перед нами чистой воды тактический ход. Только так я могу расценить дугинское превращение в «тамплиера пролетариата», которое в тот момент (1995 г.) для нас было совершенно неожиданным… Тем более, что реальный, не мистический, пролетариат на сегодняшний день в основном представляет собой свору вечно пьяных кретинов, которые мечтают только об одном – спереть что-нибудь и толкнуть втридорога на рынке. Просто, видимо, быть «левым» в нынешнем либеральном мире более модно и экономически выгодно.

Между тем НБП и «Арктогея» оказались опять же единственным конгломератом, который вел хоть какую-то работу с «населением»: вспомним их чтения-клубы еще времен Смоленской набережной, скажем, запомнившуюся лекцию «Политический солдат». Это определило интеллектуальное лицо эпохи, хотя во многом лишь потому, что ничего другого рядом вообще не было. В конечном счете в борьбе за интеллектуальный стиль десятилетия выиграл тот, кто все это время не опускал руки и действовал рационально.

Самое важное то, что «арктогеевцы» умудрялись использовать для пропаганды своих взглядов даже совершенно бредовые явления, вроде

«Империи» Фоменко-Носовского. По крайней мере, я сейчас способен терпеть эти построения только в интерпретациях М. Вербицкого, где им придан даже некий налет здорового мистицизма. Реальную же «Империю» читать совершенно невозможно, моя рука редактора так и норовит сделать ей обрезание, четвертовать ее и остатки выкинуть на помойку. Дугин умудрялся публиковать статьи в «НГ» – про Раскольникова и даже рецензию на марксзахаровскую «Чайку». В этом был МЕТОД.

Но общий стиль эпохи? Он был… Единственным термином, который удачно характеризовал период после октября 1993 г., был «необрежневизм». Ельцин – это Брежнев сегодня, говорили мы еще в 1992 г. Вскоре эта парадигма оправдалась. Почти по всем параметрам ельцинизм оказался дебилизированным и сведенным к минимуму, урезанным до пресловутого МРОТа, брежневизмом. Все то же – только на сей раз совсем уж на уровне бедности. Много водки, много хот-догов и еще больше глухой, непроницаемой тишины. Моя бывшая студентка в 1995 г. написала стихи:

Эта жизнь не дает ничего,
Ничего, кроме страха и ужаса…

И в этом было намного меньше привычного фрейдизма, нежели истинного, гнусного снаружи и леденящего изнутри привкуса ельцинской России. Где на высших вершинах верхов царили «нечто» и «ерунда», где в Волге купали какого-то Костикова с еретической бородкой и где случались «черные вторники». Таковы и были тогда русские сенсации: «тильки тать по проселку просвищет,/И ни х…, ни х…, ни х…», как писал впоследствии Юдик Шерман. И это лучшая характеристика периода с 1994 по 1998 гг.

1996–98 гг.

В 1996 г. я по работе получил персональный выход в интернет и вроде бы почувствовал некоторое облегчение – среда «рунета» была повеселее ельцинской псевдореальности, где мои коллеги сочиняли слоганы, писали статьи и ходили на презентации, вечно ожидая пинка со стороны «капитала» и «начальства». Хотя тогда она, среда, была в основном наполнена тупой бытовухой, сайтами вроде «Интердамы» или нонче уже вроде бы покойной «Голой жопы». Литература, которая лезла в «рунет», была скучна и претенциозна, но даже она оказывалась лучше «бумажной». Это обнадеживало. Для меня «сеть» служила источником оперативной информации, особенно радовало наличие огромного количества западных источников по самой разной тематике.

«Жизнь» же становилась все скучнее и мрачнее. Благодарные граждане Рэфэ выбрали Ельцина еще на один срок – как и следовало ожидать. На инаугурации «народу» показали ужасающего монстра, с которого, прямо по Проханову, облезала сгнившая слизистая оболочка. Стало ясно, что «это» пришло, видимо, навсегда…

Затем со мной случились события, из-за которых я выпал из актуальной российской жизни. Летом 1996-го попал в автокатастрофу, месяц провалялся в больнице, стремительно поменял работу, а осенью того же года плюнул на все и уехал в Варшаву заниматься всяким «бизьнисом». В РФ с тех пор бывал редкими наездами. Поэтому, возможно, теперь я буду уж совсем необъективен. Впрочем, большое видится на рассстоянии, и чем оно, это самое большое, дальше – тем виднее.

И тем не менее, весь 1996–97 гг. я ничего не видел в России, заслуживающего внимания, даже сквозь телескопы интернета. Так, сплошной музей маразма (да и тот-то в сети сделал мой бывший студент Алик Рубин). Газеты были скучны. И вообще, я всерьез читал тогда только журнал «Медведь», что тоже не добавляло интеллектуального здоровья. На фоне русской «интеллектуальной жизни» провинциальное варшавское копошение обиженных клопов казалось бешеным цветным карнавалом. Я сидел в конторе и думал: а у нас все накрылось, и навсегда.

В мае 1998 г. в «Завтра», в разделе «Вторжение» (да, я забыл сказать, что НБП все же раскололась на «интеллектуалов» и «пролетариев», причем «первые» создали «Вторжение»), появилась статья о том, что молодежь восприняла геополитику, сакральную географию, конспирологию, хилиазм и т. п. Конечно, это слишком оптимистично, но в целом интеллектуально систематизирующей и «воспитательной» литературой 90-х гг. оказались только издания «Арктогеи» и близких к ней кругов. Видимо, так и войдут 90-е в интеллектуальную историю России.

В 1998-м вышел эткиндовский «Хлыст», немало повлиявший, по крайней мере, на мое мировосприятие; но, если говорить объективно, то придется признать, что Александр Эткинд вообще стоит как-то вне времени. Он издает книжку за книжкой, как будто ничего не произошло – ни 91-го, ни 93-го не было, не было смены пейзажа. Может быть, это и есть самая правильная позиция. Кто знает…

Поздней весной 1998 г. я с семьей приехал в Москву месяца на полтора. Столица произвела тягостное впечатление. Над этими слоняющимися толпами с их мрачными физиономиями зла и повседневности висел призрак какого-то неотвратимого краха. Декорации покосились и начали заваливаться, как пизанская башня. Петя Брайль, когда мы с ним сидели в кафе у метро «Спортивная» и пили гнусную чеченскую водку, спросил – как мне Москва, что я думаю по этому поводу. Я ответил фразой из Козьмы Пруткова: что-то готовится, кто-то идет…

И я неожиданно оказался прав. Правда, я так и не понял, что такое дефолт, в чем его ужас, и не видел как все это происходило. Но следующий приезд в Россию показал: это было хорошо, черт побери. От правящего агитпропа с грохотом отвалились целые куски, на которых и стояло царствующее «нечто». Оно, «нечто», стало медленно сползать в болото, погружаться в исконно русскую среду. Россия в некие времена переварила «коммунизм» и теперь почти целиком заглотнула «леволиберальное

счастье». Непонятным успехом среди «простых рабочих» пользовался премьер Примаков. Не знаю, в чем его величие, но, видимо, он стал каким-то символом спасения ПСПК, лишившегося своих привычных западоидных цацек, забавок и играшек в виде «прогрессивных систем менеджмента», «пиар-маркетинга» и т. п. Эти люди вдруг со всего размаха рухнули в реальность и увидели, как рушатся туда же их балаганные шатры. Я думаю, они пережили экзистенциальный шок, как я в 1992-ом. Огромная масса прислужников агитпропа и интернационал-буржуазии оказалась без «службы» и провалилась в национал-бюргерское подполье. Там она осмотрелась и испустила по этому поводу злой «культурный импульс».

И вдруг – я почти сразу это заметил – жить стало лучше, жить стало веселее. Русский интернет стал интересен. Оказалось, что интеллектуальная жизнь и творческая среда ушли в сеть. И даже бумажная пресса как-то потеплела, стала улыбчивой и простой, без налета либерального высокомерия.

Сразу отвалились почти все пиявки необрежневизма. Появилась какая-никакая литература и даже «шедевры». Появилась масса «е-газет», «серверы политических новостей» и т. п. Все это, конечно, весьма напоминало известную картину «Всюду жизнь», но уже было кое-чем...

1999 г.

Короче говоря, в воздухе появились некоторые свежие струи. Хотя мне поначалу казалось, что это просто мое персональное ощущение. «Рунет» явно веселел. В январе 1999 г. явился журнал «:ЛЕНИН:», который поначалу показался мне просто подростковым панк-приколом, но уже со второго-третьего номера стало ясно, что это интересное явление, претендующее на незанятое в российской бумажной реальности место «журнала левых интеллектуалов, склонных к здоровой иронии» (типа какого-нибудь «Social Text»). На бумаге же к началу 1999 г. издавались газеты и «магазины» разной степени либеральной отвратной розовости, а также скучнейшая желчная якобы «патриотическая» пресса, в которой писали всяческую дикую чушь о всяческой дикой чуши.

Для меня архетипом «правильной» газеты была и остается варшавская крайне-крайне левая «Nie» («Нет»; интернет-вариант сильно проигрывает бумажному), которая органично сочетает в себе, так скажем, чтобы было понятно русскому продвинутому читателю, черты (в порядке уменьшения роли) «Священного Ахредуптуса», «Московского комсомольца», «Лимонки» и «АиФ». Вот, если все это в правильной пропорции смешать, то получится «Nie». То есть оперативность, фактичность, понятный народу полуматерный язык, простой пролетарский юмор с пропагандистскими разъяснениями и, однако, при этом некий налет интеллектуальной иронии как относительно реальности, так и относительно всего своего безнадежного дела. Делает газету еврей-коммунист Ежи Урбан, бывший пресс-секретарь генерала Ярузельского, интереснейший человек, с которого отчасти списан образ Воронель-Дацевича.

На сегодняшний день «: ЛЕНИН:» ближе всего к этому архетипу, хотя, конечно, чего-то ему не хватает. Скорее всего, просто выхода в «бумажном виде» – тогда кровь издания потекла бы быстрее, и он стремительно достиг бы нужных высот. Я сам столкнулся с «реальностью», делая «РУ». Поначалу предполагалось учинить некий глумливый еженедельник (правда, в отличие от Польши, скорее архиправоконсервативного направления – у нас это более актуально), но участвовавшая публика сразу сорвалась в мрачный диссидентский трагизм, поэтому сейчас «РУ» стал таким, как есть – то есть некоей разновидностью самиздатского журнала конца 70-х, где все перемешано и свалено в кучу. Ну и хрен с ним, пусть будет так. Конец стиля, понимаете ли.

Кроме того, в интернете образовалась масса интересных мест, по которым я брожу с большим удовольствием. Ибо такая Россия, которая сейчас имеется в сети, меня устраивает намного больше светлого королевства Их Величества Владимира II Мочило (который, кстати, тоже пришел к власти на волне очередной смены философского пейзажа). Но, подозреваю, по старым русским сюжетам, «иная реальность» вновь победит картины «унылых огней печальных деревень». И будет, наверное, совсем хорошо.

Дошло до того, что недавно какие-то провинциалы выпустили сборник «Новые вехи. 1909–1999». Итак, мой диагноз прост – «серебряный век» («бронзовый»?) повторяется, на сей раз в виде фарса. И это правильно, товарищи, это нас обнадеживает.

В общем, хор нестройных голосов «земли русской» раздался в 1999 г., и я до сих пор слушаю эту радостную какофонию. Да, сейчас надо жить в России.

* * *

Короче говоря, я оцениваю текущий момент как потенциальную возможность возвращения так называемого «культурного подъема». Декораций и наркомании а ля дорогой Леонид Ильич не получилось, национальное мышление столкнулось с реальностью и встало на ноги в очередной раз. Общество, битое кризисами и невыплатами, обманом, пушками Пресни, дешевой дагестанской сивухой и проповедями либеральных коверных – просыпается. Что из этого выйдет? «Бронзовый век литературы» и «фундаментальная революция»? Очередной пшик? «Контрперестройка»? Конец всему?

Честно скажу – не знаю. Но я знаю, что «из глубин» поднялась определенная идеология, и я не могу поставить точку, не описав некоторых, на мой взгляд, наиболее интересных персон, молодых штурманов будущей «бури», не нарисовав карту русского моря. Об этом речь пойдет в следующей главе, таки все ж последней, честное слово.

4. Ценное дополнение М. Вербицкого: затянувшийся пир победителей

Покуда я писал все это, в последнем, майском «: ЛЕНИН: е», точнее, в «Ужасе и моральном терроре № 30» появилась заметка Миши Вербицкого относительно главной тенденции в интеллектуальной жизни России 90-х гг. И действительно, Вербицкий, как человек, более близкий к соответствующим кругам, вытягивает из постсоветской темноты недостающее в моих построениях звено, которое, однако, является наиважнейшим. Не могу сказать, что я его совсем не заметил выше, но оно у меня прошло под маркой «нечто» и «медиакратия», однако все не так просто. Вербицкий назвал тенденции, явки, адреса и вождей, после чего можно спокойно приходить и устраивать погром.

В самом деле, на меня плохо повлиял почти ежедневно наблюдаемый «литовско-польский политический ландшафт», и я уж совсем забыл про особенности Руси-матушки. В отличие от многих других стран, культурная жизнь России – это незаметная смена замкнутых культурных элит, которые побеждают только благодаря двум вещам: близости к властям и ориентации на Запад. Вербицкий пишет о том, что в постсоветскую эпоху на роль культурно-информационной резко выдвинулись представители «московского концептуализма», так сказать, люди из мастерской Пригова, Сорокин-Пелевин и прочая подобная публика. Это совершенно верно. Более того, это СУТЬ ДЕЛА, о которой я упомянул лишь вскользь. Однако Вербицкий приводит свою версию событий, которая, по-моему, страшно далека от народа. Получается, что, мол, эта публика противостоит современному «официозу», перешла от «критики социализма» к его «воспеванию», а также породила Сергея Жарикова, «ДК», Летова и т. п. Другое крыло – Пелевина-Сорокина-Акунина (ха-ха!), Антона Носика, Курицына и прочих.

Все это абсолютно так и есть, но я по-другому бы расставил акценты.

Начнем с того, что любой средний интеллигент из какой-нибудь там Вологды сроду таких имен и не слыхивал. То есть речь-то идет о группе, которая настолько хорошо замаскировалась, но при этом спокойно ворочает «культурной жизнью» страны. И тут мы, можно сказать, сразу ловим кошку за хвост в темной комнате. Вспомним – стилем брежневской культурной элиты была как раз «криптократия», то есть власть тайны, «свой круг», то, что потом стали называть противным словом «тусовка».

Что собой представляла «концептуальная публика» 70-х гг.? В сущности, группу выпендривающихся интеллигентов, вполне лояльно настроенных по отношению к «сове», то есть брежневскому режиму. То, что они дожили до «перестройки» и обрели мощь, говорит о двух вещах. Во-первых, «гебе» считало их несерьезными противниками, да и вообще не противниками. Так, мол, «физики шутят». Поэтому физическое и иное существование «физиков-шутов» никаким опасностям не подвергалось. Во-вторых, все это были, в основном, «сынки московской

элиты» – высшей и средней бюрократии, преуспевающей советской богемы и т. п. Против социальности не попрешь.

Что было характерно для этой среды? Значительно бо́льшая степень свободы действий. Гебешники считали их развлекающейся золотой молодежью и следили лишь за тем, чтобы они куда-нибудь не вляпались. Ребята тоже были не дураки. При СССР они вполне мило существовали и на жизнь не жаловались. В какой-то момент они, как более свободные, смогли представить себя западным «культур-агентам» в качестве советского культурного подполья. Более того, их образ более соответствовал представлениям западных посланцев о «культуре», чем «диссиденты».

Действительно, если вы приехали в СССР устанавливать контакты, то с кем вы будете водиться? С «диссидентами»? Черта с два! Среди «диссидяр» примерно 90% просто шизофреников, за всеми следит КГБ, и общение с ними приводит к дурацким неприятностям. Честно скажу, на месте «агентов Запада» я поступил бы точно так же. Я не идиот, и общаться стал бы – с кем? С «истеблишментом» антисистемы, которая, конечно, всегда и везде существует. Эти люди неплохо устроены, у них нет проблем с «кампэтэнтными органами», да и идеи их так похожи на наши родные, исконные, западные. Ведь «концептуалисты» искренне начали заимствовать западные формы искусства и настроений. Они мимикрировали под Запад. И поэтому соответствовали основным «их» критериям: нормальные, образованные, устроенные в жизни люди, знающие языки и западную культуру, но при этом не «официозы».

Когда наступила «перестройка», оказалось, что эта публика: а) имеет хорошие связи в советских «верхах»; б) обладает наработанными контактами с западными культур-агентами, издает там книги, устраивает «презентации», «инсталляции» и т. п. У советского аппарата просто не было выбора в тот момент. Так «московский концептуализм» был всосан необюрократией и превратился в слой проповедников на службе меняющегося режима.

Никто этого особо не заметил. Но именно так и оказалось. Второй эшелон советской культуры вышел на поверхность и слился с режимом. Более того, впечатление мое таково, что режим 90-х сам по себе представляет лишь жалкое зрелище, а истинную культурную власть получили именно эти ребята. О чем и пишет Вербицкий.

Поведение и культурные ориентиры этой публики вполне объяснимы. Игра в «средний класс» проистекает из того, что они «как бы хорошо» жили всегда – и при «совке», и при «демократии». Чтобы объяснить этот успех, выдумывается концепция «среднего класса», интеллектуалов, которым мило при любой власти (лозунг: «мы продаемся и идем нарасхват!») и которые всем нужны. Воспевание «советской действительности» происходит отчасти из западной моды на нее, отчасти от того, что массы «ностальгируют» (то есть такое настроение хорошо продается!), а отчасти и от того, что при «коммуне» прошла юность этих людей, – молодые годы всегда вспоминать приятно.

Вот и весь секрет «концептуализма». На самом же деле он стал какой-то серной пробкой в интеллектуальном механизме 90-х. Ни туда, ни сюда. Я думаю, что роль его – переходная. Поднимется новая культурная элита и выбьет эту пробку ко всем чертям.

Заодно заметка Вербицкого показывает нам, как меняются культурные элиты в России. Механизм прост. Чтобы выдавить «концептуализм», нужно идти точно тем же путем – хорошо устраиваться в новом пейзаже, заводить контакты с Западом и изображать истинных представителей «русского народа» (тем более, что «народ» – это, как было принято говорить когда-то на моем курсе, концепт без денотата). Конечно, концептуальная публика – не вяло-гуманистические брежневские долбодрозды, и с ними справиться будет трудно. Но мы пока согласны и на компромиссы. Пусть они это оценят, а то хуже будет.

Иными словами, игра в «глухую оппозицию» приведет к тому, что вас сметут. Я – за перерождение «режима» нашими совместными усилиями. Вот чему учит «триумф московского концептуализма».

5. Две карты

Тем не менее, в России, как можно убедиться, на поверхности интеллектуальной жизни вообще, вроде бы, ничего не «лежит». Я представляю себе, как какой-нибудь атташе американского посольства в Москве, занимающийся внутренней политикой РФ, садится за компьютер и пишет:

«Политическую борьбу в России продолжают характеризовать ярко выраженные застойные черты. Сохраняется «византийская» традиция позднего СССР, когда все политические вопросы решаются кругом лиц, приближенных к кремлевскому руководству, при этом на принятие решений не влияет практически ни один из имеющихся в стране интеллектуальных центров…»

И так далее, и тому подобное… Прямо готовый шаблон.

То же касается и пресловутой интеллектуальной жизни.

На мой взгляд, относительно нынешней России существует две географические карты «интеллектуального пейзажа», которые во многом противоречат друг другу. То есть, скажем так, объекты там одни и те же – но их ориентация разная, оценки их состояния разные…

Официальная картина РФ рисует достаточно болотистую местность около канализационного стока, понять в которой что-либо можно только в моменты выборов – думских или президентских. Поскольку за последние полгода прошли и те, и другие, то стало ясно – особых изменений с 1993 г. не произошло.

Поверхность изображается следующим образом:

Существует «якобы левая» партия – КПРФ. На самом деле, это всего-навсего протопартия, в которой содержатся полуубитые зародыши всех

более-менее нормальных течений, и если бы в стране был другой «режим», КПРФ давно бы развалилась на части – правоконсервативную, социал-демократическую, крайне левую, «фашистскую» и так далее, вплоть до национал-либералов, феминисток, экологистов и гей-клубов. Все это в полном объеме содержится в зюгановском супермаркете, а сам «вождь» тяготеет к чему-то среднему между национал-консерватизмом и социал-демократией, некоему варианту корпоративного государства, что можно было видеть из его книги про горизонты и т. д. При этом КПРФ вынуждена играть в «компартию брежневского типа», а то уйдет ее традиционный инвалидно-пенсионерский электорат. И эта ориентация губит коммунистов. Они в эпоху «чепухи» оттеснены на периферию, где медленно, но верно разлагаются. При этом КПРФ остается силой, с которой считается «режим». И исключительно из-за того, что у коммунистов осталась «структура».

Существует «круг сил», так или иначе ориентирующихся на КПРФ, причем среди них есть все – и «национал-социализм», и «консервативные либералы», и «леваки». Их про-КПРФ-ная ориентация часто сводится к декларации: «если бы да кабы» мы объединились… Определенная, хоть и позорная, интеллектуальная жизнь тут имеется – «День», «Дуэль», «Совраска», разные «Правды»… Журналы вроде «Нашего современника» или «Москвы», которые крайне далеки от «коммунизма», но время от времени все же пинают «режим» с КПРФ-ной точки зрения. Так или иначе, разумным было бы развалить КПРФ на составляющие и выступать под разными знаменами, потом создавая коалиции. Но этот путь не проходит, поскольку «парламентаризм» в РФ не прижился.

Затем, существует нечто под названием «начальство». Это «партии» приближенных к вождям, партии, создающиеся на несколько месяцев перед выборами и потом уходящие в песок «общества». Они эксплуатируют массовые настроения «за поддержку стабильности» и, в общем, успешно.

Последним писком партий начальства стало избрание Путина, этой шишки, выросшей на абсолютно ровном месте. Но публика, которая сделала президента-гебешника, упустила (?) из виду одну тонкость – с избранием Путина из глубин русского общества поднялся такой мощный импульс национал-прагматизма (даже, я бы сказал, утилитарного неосталинизма), что президенту придется оправдывать надежды. Может, так и было задумано новыми скотоводами. Но, тем не менее, в постельцинской России пока что дышится чуть-чуть легче. Как в старом еврейском анекдоте, козла из дома отвели в хлев, и жить сразу стало намного лучше. Хотя какие-либо выводы делать еще рано.

В любом случае, мы должны констатировать – помимо начальства и «протопартии» в РФ вообще больше ничего нет. Точнее, есть еще «розовые» партии и группки, вроде блока Явлинского или Союза прогрессивных самоедов (СПС). Но это все либо предвыборные ходы, либо блажь – можно ли всерьез воспринимать Гришу Явлинского, который, по-моему, уже

сам не понимает, что говорит, и после его интервью создается впечатление, что предводитель не совсем здоров. Так что это все несерьезно.

Вот эта карта «режим» вполне устраивает. Ему кажется, что он победил *апатичное и тупое общество, и теперь будет сидеть у него на шее 100 лет,* пока не кончится нефть.

И, может быть, так оно и будет.

Но нас такой исход не устраивает. И мы попробуем нарисовать другую карту.

Все крайне просто. Советский коммунизм за 74 года побочным образом произвел «интеллигенцию», точнее, медиакратию, которая и захватила, вместе с «бюрократами», идеологическую власть в стране под шумок, да еще под западную «музыку». Однако эта публика не отражает мнения «общества». Все, что она делает, можно охарактеризовать так – это попытки переводить американские инструкции по пользованию сортиром или ванной на русский язык. Русские санузлы устроены совершенно по-другому, но нам предписывается «во время совершения акта дефекации, повернув вентиль 4, включать музыкальное сопровождение, чтобы заглушить физиологические звуки…» Ах, нет «вентиля 4»? Немедленно приделать! Ах, и в этом случае музыка не включается? Значит, вы недостаточно либерализовались, плохо читали Хайека и ваше место сами понимаете у чего…

Творцы культуры, которые большую часть времени проводят на Западе и мыслят исключительно западными категориями, не годятся на эту роль «творцов». Думаю, все это уже поняли. Надо просто заняться трудным делом переваривания всюду понабившейся брежневской «золотой молодежи».

Итак, есть официальная Россия «медиакратии», играющей в непонятную игру ради непонятных обществу целей. И есть «другая Россия», с ее цветущей сложностью и консервативным разнообразием. Сегодня ситуация сложилась так, что они противостоят. И, быть может, в конце концов опять заговорят пушки (я не сторонник такого исхода).

Говоря языком вульгарного марксизма, в России после гибели СССР еще даже не произошла так называемая «буржуазная революция», то есть не было перехода средств производства в руки нового сословия (национал-бюргерства). Пока имеет место «революция сверху», «огораживания», эволюция «нового дворянства» и все такое. Это печально. Потому что от жесткого и жестокого исторического сюжета не уйдешь. Значит, дальше будут «Кромвель», «мессианство» и «казнь короля», «реставрация», «колониальная экспансия» и «викторианская эпоха». Или что-нибудь в этом роде – в иных идеологических формах, в другой «одежде», но сюжет сохранится.

Идеология национал-бюргерства, однако, еще только формируется. Сопротивление развивает успех медленно. Черты «национал-бюргерской» этики и всепоглощающего духа постсоветского «фундаментального экономического строя» только начинают проявляться.

И что мы видим в «Другой России»?

6. Другая Россия

Все, о чем пойдет речь дальше – лишь необъективная попытка давать характеристики тому, что появляется на исследуемой нами, неофициозной поверхности. Движения и течения, описываемые ниже, собраны тут по одной-единственной причине – они преодолели «советское наследие» и представляют ответ «другой России», не втянутой в официозные проекты.

Начнем с самого начала. Я постараюсь чрезвычайно кратко описать те течения, которые, как мне кажется, будут формировать интеллектуальную основу национал-бюргерского сопротивления в ближайшее десятилетие. Еще раз повторяю, мой взгляд субъективен, и от ошибки я не гарантирован, как и любой «публицист».

Национал-гностицизм

Течение, весьма и весьма характерное для России (вспомним философов «серебряного века») на протяжении столетий. В свое время породило большевизм и кучу других течений. В настоящее время представлено Александром Дугиным, Михаилом Вербицким и отчасти Евгением Головиным, а также движением «Арктогея». Постепенно «официализуется», несмотря на декларируемый «нонконформизм», одновременно «левеет». Легко перетекает между любыми идеологическими формами, что делает направление почти неуязвимым. «Национализм» русских гностиков не имеет ничего общего с тупым национализмом «патриотов», это скорее «метафизический расизм». Нельзя сказать, что влияние национал-гностиков колоссально, но им в самом деле удается проникать всюду и проповедовать свои идеи. Я думаю, что одна из важнейших составляющих будущей «буржуазной революции» (если можно так назвать восстание «образованных горожан» против остатков советской псевдоаристократии) будет национал-гностической. Это двигатель, максималистская струя. Думаю также, что именно это течение и будет уничтожено в ходе такой революции, став ее главным инициатором. Слишком радикальные методы у них. Своего рода «якобинский клуб»…

Как и сто лет назад, национал-гностики произвели на свет НБП Лимонова и кучу мелких группок влияния. Возможно, породят что-нибудь еще. Их следует рассматривать, как мощный генератор политических течений, который пока только усиливается.

Традиционализм и консерватизм (Крылов, Холмогоров, Вишневский и др.).

Зародыши нормального правого консерватизма в настоящее время существуют, пожалуй, только здесь. Главное то, что этим людям удается твердо отстаивать свою линию, несмотря на все выходки внешней среды. Среди заслуг – создание известного сервера «Традиция», серия статей Крылова «Как я уже сказал…», другие его работы и статьи прочих участников группы. Деятельность пока – в основном пропагандистская, что уже немало

само по себе. Начал выходить журнал «Эпоха» – и его направление нельзя не признать вполне здоровым… На эту тему мне хотелось сказать намного больше, но, по-моему, «пейзаж» и так затянулся дальше некуда…

Тем не менее эта группа представляет собой правоконсервативный поток вне КПРФ. Именно этим она интересна и перспективна. При определенных условиях может стать «вторым эшелоном», который сменит национал-гностиков и сделает перемены необратимыми.

Православный фундаментализм (дьякон Кураев и др.)

Православие в это время не только «модернизировалось», превращаясь в аморфную бессмысленно-творожную массу, но и частично фундаментализировалось. Роль «крайнего фундаменталиста» сейчас играет дьякон Андрей Кураев, против которого направлены стрелы «модернистов» и «обновленцев» всех мастей. Можно как угодно относиться к этому человеку, но нельзя признать одного – он, в отличие от своих противников, весьма убедителен и не мелочен. Позиция его крайне фундаментальна, и это хорошо. Я думаю, что за границами кураевского понимания кончается православие и начинается нечто – не то штундизм, не то буддизм. Кураев точно так же превратился в «генератор волн», и одиноко противостоит как национал-гностикам, так и просто националистам. Не говоря уж про либералов всех мастей. За что ему спасибо… Это тот самый эталон, с помощью которого можно измерять нормальность. Не думаю, что в будущих событиях он сыграет какую-то деятельную роль. Но нет сомнений, что его влияние на происходящее будет достаточно сильным.

«Протофашизм», или рационально-западническая версия Сопротивления (Брат Карамазов и т. п.)

Естественным образом в России образуются «протофашистские» движения, исходящие из известной европейской парадигмы 20-х гг.: спасение рациональных ценностей путем применения иррациональных средств. В России до сей поры все было наоборот, и сталинские стратеги затевали хитрейшие шахматные операции с целью спасти какую-нибудь идеологическую туфту. «Протофашисты» настаивают на том, что русские парадигмы себя исчерпали. И в этом они правы. Русский должен изменить свою психологию, 80 % которой состояло из безделья, раздолбайства и нытья. В этом смысле они – готовые воспитатели «дисциплинарного санатория», который должна пройти нация в ходе формирования. При этом имеются в виду вовсе не лагеря, как может подумать какой-нибудь юродивый Адамыч Ковалев. Вообще, история последних 50 лет показала, что лагеря неэффективны, дороги и бессмысленны с точки зрения перевоспитания народа. Но тот порядок, который сулит «протофашизм», будет намного более жестким. Это будет, скорее, перманентная трудотерапия, ежедневное привитие рационального и систематического мышления. Несмотря на несколько манихейский характер заявлений и легкое

помешательство на монархизме, Брат Карамазов и группа «Правого сопротивления» вызывают обоснованное доверие.

Имперские движения

Это стало модным в Москве и Питере в последние год-два. И таким движениям культурной среды несть числа. Вдруг стало модно молиться на «империю», мечтать о ее восстановлении и писать про это в своих фантастических романах. Авторы сиих романов не всегда понимают, что такое империя (я постараюсь в сентябрьском номере их на этот счет просветить), но импульс похвален. С одной стороны, «имперскость» – естественный страх инородцев перед формированием национального государства. Все-таки в России русских живет свыше 80 %. С другой – все-таки судьба чисто национального государства обречет Россию на роль сырьевого придатка Запада. Страну могут спасти от этого только великие мессианские идеи. Ну, а с третьей, – их тоска по «империи» есть просто мечта о рациональном повсеместном порядке. С вероятностью 99,99 % я утверждаю, что введение в стране нормальных полицейских мер и некоторая централизация будут приняты за «империю» и эту публику вполне удовлетворят. Но и это будет уже неплохой результат.

Консервативный авангардизм («малый народ России»)

В данном случае я пишу о себе и своей группе. Наша роль, как я ее вижу – формирование культурного и интеллектуального стиля «нового бюргерства». Стиль этот мы называем «метапостмодернизм». Побольше иронии, побольше фантазии, побольше целеустремленности и систематичности. Где-то сузиться, где-то расшириться. Использовать тактику «малого народа» в противостоянии враждебной среде. Помнить, что мы-то и представляем настоящий русский народ, а те, кто против – это враги, которых следует уничтожать и аборигены, которых следует спаивать. Мы пришли для того, чтобы колонизировать эти дикие пространства, и этот процесс выезда в колонии – дело каждого жителя России. Либо он присоединяется к «малому народу» и вообще потоку Сопротивления, либо покупает огненную воду в обмен на золото в факториях, которые мы здесь построим. Иного пути у него нет. Таков и наш стиль.

Остатки русской Европы (Галковский)

Своеобразным реликтом бюргерского Сопротивления остается Д. Е. Галковский, который многие ныне очевидные мысли высказал еще в советские годы. Позиция Галковского во многом близка Брату Карамазову. Но автор «Бесконечного тупика» смог добраться до глубин русской психологии, вскрыть ее, препарировать, поставить диагноз и назначить метод лечения. И это, пожалуй, заслуживает награды Новой России. Сейчас голос Галковского почти не слышен, но именно он стоял у истоков Сопротивления.

Итак, после этого самого краткого анализа нарождающейся версии Сопротивления, отметим его основные черты. Это радикализм и фанатическая убежденность в собственной правоте, консерватизм и фундаментализм, имперская ориентация, рационализм, систематическая осмысленная деятельность, целеустремленность, жестокость, антиинтеллигентность, подчеркнутая интеллектуальная культурность и прекрасное понимание собственных психологических особенностей, слабостей и сильных сторон.

В связи с этим вопрос – можно ли уже говорить об этике русского Сопротивления? Я думаю, что да, вполне. Реформация в России, таким образом, проходит под консервативными и даже православно-фундаменталистскими лозунгами. Но тем лучше для России!

Более того, можно говорить о формировании новой русской нации (не будем искать здесь ассоциации с «новыми русскими» – здесь нет ничего общего), в которой все эти черты будут воплощены. На пространствах бывшего СССР ставится великий эксперимент – либо новый, достаточно мощный и прагматически мыслящий этнос, либо медленно гниющая азиатская «химера» из компрадоров и рабов.

Что выберет читатель?

От этого зависит его и наша судьба.

В каких спрессованных идеологических формах придет настоящее, полнокровное бюргерское Сопротивление, судить я не берусь. Скорее всего, будет выбрано что-то из этого супермаркета или из кусков его содержимого нечто будет сконструировано. Маловероятно, но, может быть, будет создано что-то совершенно новое.

Но ясно одно: что-то готовится, кто-то идет. Делает первые, крайне жестокие шаги новый этнос, ничего общего не имеющий с тем вялым и апатичным «советским народом». И как всякий уважающий себя этнос, он должен сделать вот что: присвоить все регалии, атрибуты и исторические воспоминания прежних хозяев русской земли.

Я надеюсь, что в XXI веке русскими будет называться нация, внутренне совершенно иная. Современный русский есть то, что следует преодолеть.

Сохранить формы, полностью изменив содержание. Это единственная наша задача на данном историческом этапе. И ставка здесь в самом деле больше, нежели жизнь…

7. Напоследок: аллегория

А вот как написал бы об этом Маркс…

Итак, представим себе некую абстрактную европейскую страну конца XVII – середины XVIII века. События здесь развивались так: абсолютистский феодализм зашел в логический тупик, бароны перестали слушаться, побунтовали немного и в один прекрасный день отстранили от власти ослабевшего короля второй династии (первая династия была свергнута

лет на сто раньше). Победили дворянские общества, сформировавшиеся в узких кругах столичных салонов, страшно далекие от «народа». Потом бароны кое-как загнали вглубь апатичное восстание горожан, выставили пушки и начали барствовать на остатках абсолютистского бюрократического аппарата. Таким образом, требования «третьего сословия» не были удовлетворены ни в коей мере. Проповедник в обнимку с революционным помещиком стали править страной, думая только о своих интересах. Естественно, это выдавалось за великий прогресс и смысл развития страны.

И совершенно ясно, что «третье сословие» стало мыслить понятиями реставрации, потому как при старом короле все-таки были писаные правила поведения, а теперь они пропали. На самом деле, бюргеры мечтают не о реставрации всех порядков, а о восстановлении рационального, юридически обснованного строя, сильной власти, к которой можно апеллировать при взаимных спорах. Власть баронов же замкнута на себя и очень слаба в том смысле, что не может всюду обеспечить одинаковые условия. То есть совершенно объяснимо то, что мышление нашего «бюргерства» часто творит идеал «империи», то есть разумного порядка, одинакового и понятного по всей огромной территории страны. Раскалывать страну на «сотню маленьких медвежат» – не в интересах бюргерства, об этом могут мечтать только бароны и проповедники.

Кое-как продержавшись лет десять, бюргерская среда начала вновь готовиться к перераспределению остатков богатства страны. Она до сей поры почти никак не влияла на принятие решений баронами. Но экономический кризис заставил этих людей задуматься о том, эффективна ли баронская диктатура, и не пора ли самим заняться проблемами страны. Бюргеры созрели для новой стадии революции. Они начали искать ее пути и формы.

Бароны, почуяв опасность, пошли на маневр, выдвинув второго, более приемлемого для масс диктатора, который откровенно апеллировал к потребностям «третьего сословия». Пока что бюргеров временно удалось утихомирить, и мы стоим перед «вторым этапом освободительного движения».

Нет никаких сомнений, что он будет проходить в формах РЕСТАВРАЦИИ (реформация тут всегда понимается как реставрация). Правда, пока непонятно чего. Предлагается: 1) восстановить первую династию; 2) восстановить вторую династию; 3) создать совершенно новое государство на прежних, «фундаментальных» принципах; 4) заимствовать образцы, которые предлагают соседи. Я намеренно не рассматриваю самые печальные варианты, вроде полного распада страны или ее оккупации соседями, чем грозит дальнейшее чисто баронское правление.

Наибольшие шансы имеет третья тенденция. Подобно тому, как французская революция «восстановила» формы римской республики, наполнив их новым содержанием, так и в нашей аллегорической стране, видимо, будут восстановлены некие традиционные «идеальные» для нее формы, чуть ли не теократия, но в этой архаичной упаковке будет подан совершенно

модернистский ответ на «challenges» эпохи. Не исключено, что в определенный момент мы даже увидим бородатых опричников в кафтанах и с собачьими головами у пояса, склонившихся над мониторами современных компьютеров. Правда, самая большая архаическая дурь быстро пройдет, и бороды скоро побреют в гигиенических целях. Плюсом же будет некоторое сращивание общества на внешнем уровне. Характерная для нашей страны «война всех против всех» найдет приемлемые юридические формы и получит сильного арбитра в лице нового имперского государства. В чем, собственно, и состоит главная задача «третьего сословия» (которое, кстати, идет еще и под лозунгами «создания новой нации», что совершенно естественно – нация как таковая в стране еще не сложилась).

Теперь все зависит от степени сообразительности баронов. Если они будут тупо противиться потоку, он их снесет к чертям. И этот сюжет предполагает всеобщий погром, победоносную гражданскую войну Окраин против Центра, военно-полевые суды, ряды виселиц, публичные казни, в том числе отрубание головы престарелому королю второй династии и баронским диктаторам. Потом – революционный террор, термидор и реставрация государственных форм первой династии во главе с каким-нибудь Бонапартом.

Гибкость баронской элиты позволит «третьему сословию» мягко врасти в государство и изменить его формы. Бароны должны осознать свою историческую обреченность и «обуржуазиться». Смеем надеяться, что этот процесс уже начался.

Как только один из путей будет реализован, русский пейзаж моментально станет сочным, насыщенным и ярким. «Цветущая сложность» вырвется наружу и все затопит. Это потом ее растащат по музеям и будут показывать туристам.

А пока что нам следует рассесться по местам в партере и навести лорнеты. Или отправиться на сцену, веселить публику зрелищем кровавой драмы (или хитро закрученного детектива, кому что нравится).

90-е гг. кончаются. Жить становится лучше и веселее. В наших силах изменить опостылевший пейзаж «баронской диктатуры».

И мы это сделаем. Вот, собственно, и вся мораль.

Я не считаю, что моя версия «пейзажа» – единственная и самая истинная. Но, вероятно, она подтолкнет кого-то к размышлениям. Ведь что сейчас нужно той социальной среде, которую я представляю? Ей нужен ЯЗЫК. Ей нужен СТИЛЬ. Не более, но и не менее. В любой войне главным условием победы является большая широта мышления. Ее обеспечивает то, на каком языке говорят воюющие стороны. С этой точки зрения Россия почти что потенциально непобедима.

Зато интеллектуальные слои сейчас замкнулись в остатках полупереваренных французских «-измов», неприложимых к нашей реальности. Попытки что-то создавать все равно остаются заимствованиями, хоть и талантливыми (именно поэтому я столько писал о круге Дугина). Надо

помнить, что Россия всегда оставалась «зеркалом Запада» и в смысле философии почти не создавала ничего своего на протяжении последних 300 лет. Но вот наступил момент, когда выросла генерация, способная не просто перенимать, но и перерабатывать идеи. Это главное.

Это значит, что за загородкой бледно-унылого пейзажа ельцинизма стоят сотни тысяч людей, которые только и ждут сигнала, чтобы разнести всю эту юдоль печали и слез к чертям собачьим. Растоптать все однообразные либерально-полицейские будки, развести крымскую араукарию и пальмы, создать микроклимат… И будет у нас другая картина, в которой потечет иная жизнь.

Русскому сознанию есть, куда приложить свои усилия. Посмотрите на дороги центральной России – да только на основе повсеместного улучшения дорожной сети можно сколотить огромные капиталы и написать романы о новом Клондайке. Я уж не говорю обо всем остальном… Правда, баронам на все это плевать. Им достаточно Шереметьево-2 в качестве магистрали.

Значит, придется делиться с обществом, которое обступило их позорные башни из слоновой кости.

Завтра это общество придет, сядет за стол и будет писать кровавые декреты. Осталось-то всего ничего. Осталось научиться говорить…

Опубликовано под псевдонимом Элиезер Воронель-Дацевич

ШАНТАЖИРУЮЩЕЕ МЕНЬШИНСТВО

К пониманию тактики «малого народа»

Эта статья принципиально выдержана в газетном и даже несколько примитивизированном стиле. Не стоит придавать этому большого значения. Впрочем, наверное, о таких вопросах только в таком стиле и можно рассуждать.

1. Проблема

Недавно где-то в интернете мне попалась статья на тему «евреи как страдающее и одновременно шантажирующее меньшинство». Там приводился отрывок из какой-то статьи какого-то очередного либерал-демократствующего идиота о том, что все ужасы не так ужасны, кроме антисемитизма. Вот *антисемитизм ужасен абсолютно. А все остальное – так, ерунда.* Естественно, патриотствующие читатели в своем патриотическом пафосе пытались пригвоздить идиота к позорному столбу.

А я подумал, что не все тут так просто. Ведь основы идиотского мышления лежат глубже, нежели в так называемой «еврейской психологии». Просто, боюсь, сам идиот этого не осознает. Мне сразу вспомнилась одна наша дискуссия еще студенческих времен.

2. Дискуссия об уничтожении уродов

Дело было где-то в самой середине «перестройки». Я и мой друг-однокурсник, ныне крупный деятель компьютерной журналистики, сидели как-то в ожидании лекции и обсуждали всякую чушь. Перед этим по ящику показали интервью с сиамскими близнецами Машей и Дашей Кривошляповыми, и эта передача вызвала у нас одинаково тошнотворный эффект. Мой друг, назовем его В., заявил, что вообще-то гуманно уродов уничтожать, когда они еще младенцы. И вообще, в древней Спарте поступали совершенно правильно – там новорожденных детей рассматривал совет старейшин, и хилых уродцев сбрасывали в пропасть. Поначалу я с В. согласился, но потом, по обыкновению, начал спорить сам с собой и с другом и неожиданно пришел к некоему выводу. А вот цепь рассуждений, которая ему предшествовала.

Если мы уничтожаем уродов, значит, мы исходим из фиксированного понятия человеческой нормальности. И, следовательно, за отклонения от этой нормальности даем себе право карать «ошибки природы». Но вопрос в том, что человечество развивается и меняется, и, следовательно, меняются рамки и критерии нормальности. Стоит некоей группе присвоить себе право убивать «уродов», как число этих уродов будет все больше увеличиваться. Ведь в группе торжествуют собственные законы, она замыкается на себя и возводит в принцип и закон собственные внутренние отношения. Таким образом все, кто оказывается вне группы карателей, попадают в число «уродов» той или иной степени. Внутри группы тоже появляются свои градации уродства. Вообще, стоит бросить клич об уничтожении уродов, как начинается такое… И, в конце концов, идеальным окончанием противоуродской кампании остается один-единственный человек, этакий платоновский Человек-Идея. Скорее всего, он будет лишен половых признаков и элементарного рассудка.

Иными словами, не уничтожая уродов в большинстве таких случаев, общество делает это не из-за гуманизма, а из чувства самосохранения. Где-то в глубине социума скрыто правило – не начинай массовую мочиловку, а то сам подохнешь.

Тогда В. со мной не согласился. Уродов, сказал он, надо топить. И все.

Но я до сих пор остаюсь при своем мнении.

Однако пойдем дальше.

3. Дискуссия о смягчающих обстоятельствах

Эта дискуссия прошла на закате сталинской эры уже не между однокурсниками-друзьями, а в среде великих советских правоведов.

И касалась она простого схоластического вопроса – состояния опьянения, как обстоятельства, смягчающего вину преступника.

До этого опьянение смягчало вину подсудимого. Особенно, если до того он характеризовался положительно. Такова была традиция еще дореволюционного правоведения. Рассуждали банально – пьют от плохой жизни, а все последствия влияния алкоголя на мозги еще не исследованы. Поэтому чем виноват человек, который выпил с горя и потом натворил всяких дел? Он же этого не хотел! А отказать ему в пьянстве – это антигуманно и подрывает государственные финансы.

Но вот советский режим простоял тридцать лет, а пьянка почему-то продолжалась. Хотя, как известно, все социальные проблемы советская власть «решила». Это была первая причина пересмотра закона. Второй причиной стал подспудный поворот к нормальности и своеобразный отказ от тупого классового подхода.

Выслушав все аргументы сторонников «смягчения», их оппоненты высказали другие мысли.

Во-первых, если трезвый человек совершил преступление, это означает, что он принадлежит к чуждой классовой среде, перерожденцам, советскому подполью. Эта загадочная клоака всегда интересовала советские власти, и такой человек должен был поступить на перевоспитание к пенитенциарной системе. То есть его можно было «перековать» после изучения, изменив его самого и среду его обитания. Ну, и, устранив экономические факторы, порождающие преступность.

Во-вторых, если совершил преступление пьяный, то это говорит только об одном – в нормальных социальных условиях он ничего такого не совершал, будучи трезв. Но стоило ему напиться, как психология взяла свое. То есть такой человек подсознательно, в глубине души, на генетическом уровне был преступником. Что значительно страшнее социального врага. И кара за такое биологическое предрасположение к преступлению должна быть сильнее. Тут нужно не просто перевоспитание, а полная изоляция от общества, как в случае с буйнопомешанными.

То есть подспудно советские юристы признали значение генетической предрасположенности к преступлению. А вы говорите – преследования генетики…

И, самое главное, эти доводы убедили коммунистическую верхушку. И они более соответствовали мировому опыту. Так что мы получили наш уголовный кодекс, где между строк написано – существует психологическая предрасположенность к совершению преступления.

Но что такое – преступление?

4. Уродство, преступление и национальность

Теперь свяжем воедино историю про уродов и историю про пьяниц. Вопрос: если бы был открыт ген, четко определяющий, что его владелец обязательно станет преступником, следует ли уничтожать таких младенцев?

Сказав «да», мы практически отвергаем само понятие свободы в истории. То есть правы кальвинисты, и все заранее, до начала истории давно предопределено. Если выявлен ген, то уж тут ничего не поделаешь. Сразу в пропасть. И проблемы решены.

Сказав «нет», мы признаем себя добрыми христианами, верящими в промысл Божий, но при этом берем на себя ответственность за воспитание, надзор, христианское просвещение и лечение всяких-разных генетических уродов. Мы допускаем возможность чуда и вообще перемен психики человека. Мало ли что гены, главное душа.

Понятно, что кальвинистский подход и веру в «фатум» я отвергаю с порога. А второй путь вызывает у меня, как у всякого типичного представителя обывательского класса некоторое неприятие. Уродов кормить надо, поить, одевать, воспитывать. За наш с вами счет. Сколько возни, затраты народных денег, а результат почти нулевой. Отсюда и проблемы.

Иными словами, особенность нашего, то есть, скажем прямо, нормального общества, заключается в том, что мы не уничтожаем уродов лишь за то, что они уроды. Мы можем делать это только после того, как их уродские особенности начинают мешать нормальным людям. Психа, если он буйный, запирают в желтый дом. Преступника, совершившего преступление, сажают. Но беда в том, что наказание наступает за уже совершенное преступление. То есть кто-то уже пострадал. Общество, тем не менее, желает, чтобы все угрозы ему пресекались на ранней стадии.

И что же происходит в результате? Да самая простейшая вещь. Выявленные потенциальные враги нормальности вносятся в реестр и за ними ведут специальную слежку. Но, так или иначе, общество очень тревожно следит за деятельностью «других». Отсюда и все проблемы с антисемитизмом, кавказофобией и т. п.

5. Теория Гриши Климова и «жиды»

Пресловутый ГРУшник Климов более всего известен своей манихейской теорией дегенерации. Смысл ее, в целом, сводится к тому, что существует такой процесс, как вырождение, он же дьявол, а также есть и такая специальная нация, накапливающая вырождение – евреи. Ясно, что Климова надо понимать аллегорически. С точки зрения его теории еврей – любой человек, хоть немного отличающийся от параметров нормальности. И евреем можно, таким образом, объявить любого.

По Климову, евреи – те, кто находится на границе между нормальностью и дегенерацией. Так сказать, отстойник дегенеративных влияний. Если связать это с тем, что сказано выше, то общество не уничтожает дегенератов лишь потому, что беспричинная жестокость тоже является формой дегенерации и не может быть нормальным явлением. Знак того, что общество не вырождается, – его отношение к меньшинствам (ибо нормальность – это просто позиция большинства; если большинство страдает копрофагией, то дерьмо заставляют есть всех). В нормальном обществе меньшинства

терпят и не обращают на них особого внимания. Но как только их деятельность начинает явно вредить нормальности, с ними борются.

Преступники просто идут в атаку на нормальность. И поэтому им социум дает отпор.

6. Их маленький холокост

И вот на этом-то хитром поле играют евреи, да и не только они. Сами по себе евреи или кавказцы обществу не опасны, я готов защищать этот тезис довольно последовательно. Просто зная, что из этой среды выходит некоторое количество людей, разрушающих нормальность, общество никогда не упускает их из виду. Но не переходит граней и не устраивает «всеобщего бития». И это нормально.

Однако евреи в один прекрасный день получили в свои руки мощный козырь – массовое сумасшествие немецкого народа в эпоху Гитлера. Ясно, что национальную элиту Германии поразило вырождение, которое привело к поражению страны. Теперь, совершенно естественно и логично, что пострадавшие евреи пытаются использовать этот козырь. Стоит поймать еврея, который что-нибудь украл – а таких немало, – как вся мировая пресса начинает вопить об антисемитизме. Просто дело в том, что обществу преподносится подмена понятий. Пресса говорит, что происходит преследование меньшинства. Но реально преследуется не меньшинство, а человек, поднявший меч на общество. То есть, если рассуждать логически, он покинул границы этноса и перешел в ряды иного меньшинства – некоего нуль-этноса, который воюет с обществом. А на войне, как известно, свои правила. И это меньшинство уничтожается.

Итак, логика в том, что закон и мораль должны разводить понятия «преступник» и «представитель меньшинства». Еврей или кавказец кричат, что некое лицо преследуется по национальному признаку, шантажируя общество тем, что у него впереди самоуничтожение. Тем самым оно поддерживает преступность.

Отсюда следует два важных вывода.

Первое. Любой конфликт с законом преступнику выгодно переводить в плоскость «преследования меньшинства»; отсюда выросла и политкорректность США. Тактика чеченских боевиков – лучшая иллюстрация такого подхода. Совершая преступления, они кричат, что пресечение этих действий со стороны государства есть геноцид. Общество, подсознательно понимающее, что меньшинства уничтожать нельзя, склоняется к жалости и сочувствию. Это страшное оружие.

Второе. Поскольку «нормальность» – понятие относительное, а формируется оно в настоящее время пресловутыми СМИ, то тактика любого «меньшинства» очевидна – захват газет и телевидения. СМИ неизменно оказываются отстойником самых экзотических народностей вроде каких-нибудь подгорянских татов, а также лиц с самой разнообразной нетрадиционной ориентацией. Тем самым «нормальность» переживает

некую эволюцию и в один прекрасный день может и не отражать мнения большинства. В данном случае надо говорить о «навязанной модели поведения».

И еще один вывод, к которому мы приходим – меньшинство, которое можно уничтожать. Деятельное, действенное преступление против нормальности должно караться.

И, значит, человечество обладает некоей подвижной шкалой. На которой этносы, преступные группы и т.п. отмечены специальными зарубками. Манипулируя этой шкалой, ее владельцы объявляют меньшинствами то тех, то других.

7. Сила меньшинства

Приведу два примера, которые, по-моему, хорошо иллюстрируют то, насколько сила активно действующего меньшинства больше, чем силы пассивного большинства. Поскольку активного большинства не существует, то вывод напрашивается сам собой.

Пример первый связан с общеизвестным представлением о том, что общество погрязло в разврате. В этом убеждены почти все. Однако, как показывают социологические опросы, подавляющее большинство – до четырех пятых всего общества – склонно вести вполне упорядоченную половую жизнь и не выказывает склонности к супружеским изменам. Примерно 15% такую склонность имеет и не более 5% относятся к числу дон жуанов, казанов и нераскаявшихся марий магдалин. Эти последние действительно занимаются сексом со всеми движущимися предметами. Но именно это маргинальное меньшинство всегда на виду, постоянно распространяет информацию о себе и создает некую ауру, благодаря которой все остальные убеждены в полном развращении современного мира. Результат – круг этого меньшинства медленно, но верно расширяется.

Аналогичный процесс связан с возникновением паники в толпе. Достаточно двум-трем десяткам людей начать что-нибудь правдоподобно-страшное вопить, как страх начнет распространяться среди тупо бредущей толпы, и она довольно быстро превращается в стадо разъяренных слонов.

Иными словами, все исторические события могут быть только результатом действия активных меньшинств. Такая своеобразная философия истории отвергает всякие понятия о «внутренней душе наций» и прочий бред. Внутренняя душа нации – это воля победившего внутри него меньшинства. Единственное, что, вероятно, может угрожать политике меньшинства – воля Всевышнего. Которая, кстати, прежде всего проявляется в политике другого, оппозиционного меньшинства.

8. Ошибка Шафаревича

И теперь пора задаться главным вопросом – а кто, собственно, является законным держателем так называемой нормальности?

Ну что ж, мы об этом скажем. Может быть, эта мысль прозвучит экзотично, но проблема состоит в том, что принципы нормальности, нормального поведения, здравого смысла, разумности диктует тоже именно меньшинство (потому как основной массе населения эти черты явно не присущи). Только оно отличается от остальных меньшинств следующими чертами:

– во-первых, постоянно апеллирует к некоей массовой поддержке своих взглядов. Это проявляется в постоянных упоминаниях о «мнении народном», «народном выборе», «национальном менталитете» и прочих подобных вещах. Меньшинство, защищающее нормальность, превращается в монополистов народного мнения, в его «эксклюзивного дистрибьютора».
– во-вторых, такое меньшинство и в самом деле обладает реальной силой, способно оказать влияние на ход событий и при желании может навязать свою волю другим меньшинствам посредством некоторых механизмов.
– в-третьих, такое меньшинство принципиально отказывается от превентивного подавления других меньшинств, понимая, что в результате оно может погибнуть само или лишиться доминирующего положения.

Собственно говоря, этого достаточно, чтобы меньшинство стало доминирующим. И, соответственно, все остальные меньшинства будут маргинальными.

Доминирующее меньшинство всегда говорит от имени так называемого народа. Но эта сущность, «народ», представляет собой чистую абстракцию, пропагандистскую фразу, ничего не значащее построение. Примерно со времен падения феодальных режимов Европы всякие высокие фразы вроде «Мы, народ» не должны вводить нас в заблуждение. За ними кроются просто-напросто интересы захватившего механизмы влияния на общество меньшинства. Доминирующего меньшинства. Подавившего маргинальные меньшинства.

Народ же, исходя из нашей нехитрой философии, представляет собой попросту некую косную массу, материю, биоматериал, заполняющий любые формы, которые подготовит ему доминирующее меньшинство.

На поверхности политической и общественной жизни, таким образом, происходят постоянные столкновения меньшинств за право доминации. В этом и состоит политическая жизнь посттрадиционного общества.

Странно, что столь банальная мысль до сих пор не приходила в голову нашим псевдопатриотам. Когда появилась, сначала в самиздате, а потом и в журналах – в «Вече» и, позже, в «Нашем современнике», статья Шафаревича «Русофобия», в лексикон почвенников вошло новое ругательство – «малый народ». Под ним наиболее бестолковые представители данной когорты немедленно стали понимать своих любимых евреев. И никто до сей поры из патентованного контрэлитарного истеблишмента, кроме Дугина, не понял простую вещь – «малый народ» не этническое понятие, а важнейшая форма современной политической борьбы.

«Русофобия» зафиксировала серьезнейший процесс внутри российской элиты – формирование маргинального меньшинства «новых западников», по сути, новых колонизаторов России. Интерпретация же этого явления и попытки противопоставлять ему некие «общественные ценности», апелляции к «большому народу» были беспомощными поползновениями защититься от объективного жизненного потока.

На самом же деле речь шла о том, что на фоне отсутствия каких-либо реальных политических сил в стране стремительно создавалось меньшинство, которое, не встречая сопротивления в виде других таких же меньшинств, вскоре стало доминирующим. Наши патриоты, вместо того, чтобы создавать аналогичную структуру, начали играть в партбюрократические игры и постоянно надеялись, что из-за угла выйдет Платон Каратаев с дубиной народной войны, чтобы гвоздить ослушников. Платоша же тем временем спокойно врастал в низовые структуры «русофобского малого народа». И врос в них настолько, что не оказал никакой поддержки акциям «патриотов» в последние десять лет. Конечно, коммунистов это удивило, но ничего удивительного тут нет.

В этом же смысле мы интерпретируем и российскую власть. Она в самом деле представляет интересы нынешнего русского народа, вросшего в структуры русофобской элиты. А народ этот хитер, ленив, нагл, вороват, беспорядочен, склонен к сугубо уголовному восприятию действительности, неорганизован и до бесконечности туп во всем, что не касается его брюха. Нынешняя элита прекрасно представляет этот народ.

Отсюда еще один банальный вывод – новый малый народ должен стать противоположностью современной элиты. Пока он еще долго будет оставаться маргинальным меньшинством. Но, постепенно перенимая тактику элиты, просачиваясь в ее ряды, приватизируя ее орудия он сможет со временем одержать победу.

Более того. Нам, как меньшинству, выгодны любые акции элиты, направленные на сохранение меньшинств. И именно поэтому наш «малый народ» должен выступать за политическую корректность, поддержку разного рода «отклонений» и т. д. Естественно, в свою пользу.

Вторым пунктом нашей ближайшей программы должны стать выступления от имени нормальности. Следует подчеркивать и акцентировать, что нормальны мы и только мы, а все остальные – дегенераты.

Ну, а все остальные признаки доминирующего меньшинства следует завоевать. Вот и вся тактика.

Опубликовано под псевдонимом Элиезер Воронель-Дацевич

ВЕЛИКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ

Есть такой старый мультфильм – про маленького ослика, который мечтал кого-нибудь спасти. После долгих мучений он таки спас собственного дедушку от рыбы, которую тот поймал. Чем и удовлетворился, тем более, что дедушка ему потом объяснил – спас ослик рыбу, а не его. Но это, как говорится, уже незначительная мелкая подробность. Цель-то достигнута.

В истории национально-освободительных движений (далее, для краткости, НОД) поражает именно эта самая неопределенность – кто кого и зачем освобождает, зачастую совершенно непонятно. Но процессы идут, перья скрипят, пушки, когда им положено стреляют, кровь льется ведрами… Вот давайте на все это дело посмотрим под специфическим, удодским углом зрения.

Все знают, что до XVII–XVIII вв. никаких таких особенных национальных движений не было. А потом как будто прорвало. Народы захотели самоопределяться. Думаю, первым в истории триумфом национализма следует считать создание США. Более того, это классический пример торжества национального движения. Посмотрите, кто отделился от Британии? Не Индия, не какая-нибудь азиатская или африканская колония. А территория, населенная людьми, говорящими на том же самом английском языке (пусть немного и «не таком»), исповедующими те же самые версии протестантизма. Опять же, их можно понять – предки этих людей когда-то бежали из Европы, чтобы обрести Новый Мир.

У такого бегства был прототип – исход евреев из египетского рабства. Тогда это, кстати, очень хорошо осознавали и даже всячески воспроизводили древний ритуал. Отметим это особо: всякое НОД должно хоть немного подражать Исходу, а если этого не происходит, то перед нами какое-то неправильное национальное движение.

То есть в мифологии НОД обязательно должны присутствовать Жуткий Фараон, поедающий на завтрак и обед детей освобождающейся нации, Страшное Рабство (когда тех же самых детей, которых почему-либо не доел фараон, заставляют вмуровывать в стены возводимых построек в виде кирпичей) и Ужасное Идолопоклонство (все прочие народы фараона верят во всякую гнусь и ерунду, от которой представителя Свободной Нации просто тошнит).

Само же НОД в собственной мифологии предстает как союз людей, обладающих Истиной, Добром и Стремлением к Свободе. Более того, классический библейский образ Исхода предполагает еще и несколько десятилетий мучительных блужданий по пустыне с не очень понятной целью. Моисей, к примеру, хотел, чтобы вымерли последние евреи, помнившие сытое египетское рабство. Для этого ему потребовалось 40 лет. Кстати, идеальная цифра. Скажем, именно к 1957 г., насколько можно

понять, сформировалась советская культура в том виде, в каком мы ее знаем (и по которому многие так ностальгируют). Уверен, что только к 2030 г. возникнет единое, стабильное и успешное украинское государство – если, конечно, что-то такое антиукраинское раньше не произойдет. Прибалты прошли свои 23 года из 40 обязательных еще до второй мировой войны, поэтому для окончательного устаканивания и принятия в ЕС им потребовалось около 15 лет. Теперь уже видно, что в ЕС несколько поспешили, и надо было выдержать строго 40 лет.

Но это мы несколько отвлеклись. Что такое НОД в чистом виде? Это прямые свидетельства того, что все прежние «большие проекты» уже потерпели крах. Главный европейский проект Christentum, «христианского мира», вступил в кризисную полосу после 1054 г., прошел через ужасы взятия Константинополя крестоносцами и уперся в Реформацию. «Христианский мир» к началу XVI в. более-менее успешно развалился. По инерции он еще что-то такое тянул лет 100–150, но потом его сожрали национальные революции в Европе. Оказалось, что «идолы рода» выше самых высоких идей.

Нечто подобное пережил и исламский мир, развиваясь от Арабского халифата к Османской империи, а затем – к распаду огромного пространства на национальные государства.

Национализм – это еще и следствие роста грамотности. Как только число грамотных людей в стране превышает какой-то минимальный порог, пиши пропало. Они начинают создавать единый язык на основе диалектов, а потом додумываются до простой мысли, что «мы» (скажем, бельгийские католики) лучше «них» (к примеру, французских католиков). Хотя и говорим на одном языке. Это дело поправимое.

Механизм НОД очень прост. Империя строит дороги. Империя постепенно улучшает уровень образования на всех подчиненных ей территориях. Там живут разные народы, которые, однако, таковыми себя не осознают. Они себя считают просто «христианами» или «мусульманами», или, допустим, «советскими людьми» (хотя последнее явление не было распространенным). Но вот у них помаленьку заводится начальное и среднее образование, и люди выясняют, что их язык несколько отличается от языка, на котором говорят в других частях империи – а они уже успели поездить по имперским дорогам и в этом убедиться. Причем этот процесс «осознания себя» касается всех. То есть народы, живущие вокруг столицы империи, и народы «в провинции у моря» доходят до этих идей.

Тут выясняется, что отношения рода и клана, отношения землячества выгодны при торговых сделках. «Свои» могут объединиться против «чужих» и, к примеру, обвалить цены на оливки, наварив на этом огромные суммы. Образованные люди вскоре понимают, что «клан» у кого-то есть, а у кого-то отсутствует. Что «клан» в любом обществе представляет собой эффектную технологию успеха. В данном контексте интересна судьба евреев в Европе – они именно благодаря этой технологии смогли не только

выжить, но со временем и значительно улучшить свое положение. Аналогичные технологии встречаются у других народов, особенно живущих в горах, и в большей степени почему-то – у скотоводческих.

Получив некоторое образование, представители «неклановых» народов понимают, что есть смысл в перенятии этих технологий. Иначе те, кто объединен, забьют «одиночек». Вот с этого и начинается любое национальное движение.

Итак. На территории, где развиваются НОД, должны присутствовать следующие факторы: 1) наличие групп населения, изначально исповедующих клановую мораль («притеснителей»); 2) наличие определенного количества образованных людей внутри «протонации».

Это открывает нам глаза на многие особенности развития национализмов. *В частности, на тот факт, что самые отъявленные националисты* – всегда люди с хорошим образованием (среди «пролетариев» это встречается реже). Так что образование не спасает от «заразы национализма», как считают экзальтированные интеллигентские тетеньки, а совсем даже наоборот... Ну и, вдобавок, идеал любого НОД – это национал-социализм. То есть, в конечном итоге, успешное существование одной («высшей») нации за счет других.

Как правило, НОД и возникает в качестве реакции на «притеснителей». Здесь возможны два основных варианта: 1) «притеснители» – это народ с клановым характером, и тогда НОД поначалу выражается в погромах и прочих неприятных вещах (обратим внимание на то, что еврейские погромы в Российской империи происходили в основном именно на территории будущей незалежной Украины); 2) «притеснители» – это государственная власть, угнетающая клановый народ путем его дробления на более мелкие элементы (естественно, кланы такого потерпеть не могут – и восстают).

Государство, в конечном счете, всегда оказывается врагом НОД. В первом случае – потому что оно обязательно попытается восстановить прежний порядок (по мнению участников НОД, несправедливый). Во втором – потому что оно осуществляет «антиклановые» проекты. То есть на втором ходу НОД сталкивается с государством.

Затем обязательно возникает интересная историческая развилка. Для развития НОД требуются средства. Почти НИКОГДА таких средств само движение собрать не может (кстати, еврейское национальное движение полностью подтверждает это правило, если кто сомневается; даже в лучшие годы сионизма еврейские миллионеры, в общем-то, неохотно раскошеливались на «эмансипацию»). Поэтому любое НОД должно найти себе Хозяина. А именно – врага того государства, с которым оно столкнулось. Думаю, исключений здесь нет (уверен, что у Веймарской Германии тоже были внешние враги, которые помогли НСДАП прийти к власти – в частности, тов. Сталин). Другой вопрос, что иногда средств требуется много, иногда – не очень.

Если НОД удается найти Хозяина, оно начинает процветать. И, как правило, побеждает. Если же хороший Хозяин не попадается, НОД влачит судьбу жалкой секты «лесных партизан» и либо загибается в конце концов, либо идет в полное услужение государству, с которым безуспешно боролось.

И все. Ничего другого в развитии этого «организма» нет и быть не может.

Теперь в этом контексте рассмотрим вопрос: а есть ли хоть какие-то шансы у русского НОД?

То, что такое движение находится в стадии зарождения, очевидно. Точнее, «русское освободительное движение» возникло в XIX в., но за несколько десятилетий полностью переродилось в крыло международной социал-демократии, в связи с чем революция 1917 г. оказалась не национальной, как это должно было случиться, а «интернациональной». Теперь у русского НОД наблюдается *вторая стадия становления* – после всех поражений XX в.

Русское НОД развивается в условиях «демократического многонационального государства», у которого есть свой «большой проект», высший смысл коего, однако, большинству населения недоступен. Поэтому как элемент противостояния этому проекту русское НОД вполне имеет шансы на успех.

Русское НОД находится, как минимум, в трениях с клановыми нациями (сразу несколькими!).

В русском НОД уже имеется достаточное количество образованных (то есть, как вы понимаете, националистически настроенных) людей.

Миф русского НОД более-менее формируется по классическому библейскому образцу – Фараон, Страшное Рабство, Ужасное Идолопоклонство и Свободная Нация. Правда, пока на эти роли предлагают самые разные сущности, но «процесс пошел» и постепенно близится к завершению.

А вот историческую развилку оно пока не проскочило. Развилка упирается в одно-единственное – всего-навсего в БАБЛО. Найдет ли НОД средства для развития внутри самого себя? Мне это кажется маловероятным, хотя те же РОД и ДПНИ стоят на правильном пути, и этот опыт заслуживает всяческого распространения. Вдруг нам повезет?

В противном случае НОД должно найти богатого Хозяина – в лице того, кому «Веймарская Россия» сейчас как кость в горле. А есть ли такие? И если есть, могут ли они дать достаточные средства? И пойдут ли на это наши националисты? Вообще, мне кажется, что на все эти вопросы ответ один: нет.

Каковы же шансы русского НОД? На что ему надеяться?

Отвечаю: шансы у движения вполне средние – 50:50. Не более, но и не менее.

Надеяться оно может только на катастрофическое обрушение нынешнего мирового порядка (что вполне возможно – и не такие подарки истории случались). Вот тогда ему гарантирована полная победа.

Если этого не произойдет, русское НОД будет лишь «фактором» российской жизни. Этаким вариантом Ирландской Республиканской Армии, только без террора. Задача в данном случае понятна и проста – повышать свою «факторную» значимость в обществе. А там посмотрим…

И еще один совет: всякое НОД противостоит «большим проектам». Поэтому ему тактически выгодно стоять на стороне более богатого «большого проекта» против менее «богатого». И, следовательно, русскому НОД должно быть выгодно, чтобы власти «демократической многонациональной империи» влезли бы в какой-нибудь «большой проект» на стороне бедных стран. Тогда русское НОД получит поддержку Хозяев. Как показывает история, получив деньги, «кинуть» спонсоров будет вполне элементарно. Впрочем, может быть, этого и не понадобится. Глядишь, в борьбе «проектов» они оба загнутся, а НОД окажется на коне.

Тут могут сказать, что все это выглядит аморально, и вообще гнусно, и недостойно националиста, который должен нести Свет Правды и совершать исключительно Высоконравственные Поступки. Ну да, естественно. Только моя роль, в данном случае, скорее комментаторская. Я даю свои описания, а нравятся они или нет, это дело читателя. Они объективны, это факт.

Итак, я утверждаю следующее: если вы, господа, всерьез связались с деятельностью НОД, то принимайте правила игры. А они таковы:

1. НОД – всегда против всех «больших проектов», разрушающих клановый дух.
2. НОД – всегда игрушка в руках национальной интеллигенции («образованного класса»), со всеми ее психологическими особенностями.
3. НОД всегда кем-то оплачивается, и этот кто-то может выглядеть, как враг страны. Да и быть им, чего уж там.
4. Задача НОД – успешно кинуть внешнего Хозяина, который на него раскошелился.
5. Ничего другого на этом направлении пока никто не придумал. Возможно, у нас получится внести в это дело новый вклад. Тогда честь нам и хвала.

Что касается всякой там «морали», «ценностей» и «цивилизации», то я заранее предупреждаю – на них придется быстро и безжалостно НАПЛЕВАТЬ. Потому что это мораль, ценности и цивилизация врагов. Это и есть Жуткий Фараон и Ужасное Идолопоклонство. А Свободная Нация и существует для того, чтобы все это в себе растоптать к чертовой матери. В этом и состоит высшее наслаждение Исхода.

Что касается меня лично, то меня в первую очередь интересует сам процесс. Естественно, я полностью на стороне русского НОД. И если меня сметут волны «национального движения», ну так что ж… Я-то, по крайней мере, знаю, на что иду. А на что, в самом деле?

Многие думают, что НОД – это такая развлекательная прогулка с выстрелами из пугачей и веселым аттракционом острых ощущений. Ни шиша.

Это всегда грязная торговля, всегда череда мелких и крупных предательств, всегда кидалово и подстава. Ваши руки всегда будут в липкой крови, в мозгу засядет сто трясущихся чертей, вас постоянно будет бить нервная дрожь и изматывать бессонница. Возможно, вас очень быстро убьют. Без особых церемоний – просто палкой по затылку.

Вы на все это готовы? Подумайте семь раз, прежде чем сказать «да».

Другое дело, что бывают ситуации, когда другого выбора уже нет. Но это, кажется, пока еще не о нашем времени. Впрочем, «окно возможностей» все уже и уже.

ВРАГ

СУДЬБА «ФАШИСТА» В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: НЕМНОГО О ЧУВСТВАХ ПОГРОМЩИКА

Собственно, тема возникла, как часто бывает, по кривой ассоциации. Рассказ имеет исключительно мемуарный и отчасти даже фрейдистский характер. Ну, из серии «Страдания молодого Вертера».

В 1989 г., пережив трудное и какое-то совершенно «марсианское» лето (хотя в нем было, при всем при том, ОЧЕНЬ много хорошего), я вдруг понял, что от моей прежней «демшизовости» не осталось и следа. Вся «демократическая революция» стала мне представляться большим и наглым мошенничеством коммунистических вождей, которые за спиной у нас решили, наконец, поделить награбленное и открыто показать, кто кому Вася и кто здесь настоящий хозяин. Мы, «всякое быдло», в расчет вообще не принимались. «Они» же, как говорится, гуляли и пировали. Вырисовывалось уже и нечто, к чему, я так понимаю, вел Горби: государство, где самые гнусные «партейные» и наиболее мерзостная «демдиссида» слились в экстазе, этакое торжество гуманистических идей для «избранной элиты». Кое-какие его элементы я уже наблюдал рядом с собой: как отдельные активисты демдвижения ездили на деньги ВЛКСМ за границу, чтобы ругать там КПСС. Происхождение средств на «десанты дружбы» мне было хорошо известно – пилились райкомовские бабки, причем считалось, что конца-краю этому пилению не будет, как не будет никогда конца и самому Великому Могучему.

Надо сказать, концепция «обновленного СССР», как государства открыто восторжествовавшего социального апартеида (а к тому все шло), меня совершенно не устраивала. Посему я теперь ощущал себя «антисоветчиком», но уже с какой-то другой, тогда мало кому понятной стороны. Сейчас это, вероятно, назвали бы «неовизантизмом». То есть мне казалось правильным уничтожение всех видов автономий и переход к какому-нибудь имперскому фундаментализму, причем в основе его должна были лежать

интересы славянского населения страны (русских, украинцев, белорусов) и, естественно, уже ассимилировавшихся инородцев. Ну, что-то в этом роде. Это сейчас мне просто говорить, а тогда все эти взгляды в диком и неоформленном виде бродили у меня в мозгах.

И вот начался учебный год, пятый курс. Я понимал, что этот год – последний из студенческих лет, и решил провести его так, чтобы потом не было мучительно больно (сразу скажу, мне это удалось по полной программе).

Как раз тогда у наших преподов случился некий бзик – в начале семестра нам стали раздавать списки необходимой к прочтению литературы, причем по каждому предмету давали по 20–30 названий. В результате получалось, что за семестр надо прочитать штук 150–200 не самых тонких книжек, что было совершенно нереально. Мы поделили эту напасть – каждый читал несколько книг и потом конспективно излагал их содержимое на бумаге, обмениваясь с другими.

Эта общественная нагрузка привела меня в читальный зал МГИАИ (ну, кто тогда учился, знают), где приходилось иногда проводить целые смены. Зал был забит до отказа, так как страсть к учебе почему-то в этот период стала массовой. В результате мне приходилось сидеть с разнообразными напарниками и напарницами, которые часто мешали процессу познания наук.

Так случилось и в тот раз – я оказался за одним столом с собственной однокурсницей Еленой К-ч (еврейкой, да), которая тоже что-то там конспектировала для раздачи в массы. Периодически мы отвлекались от работы и вели разные беседы, чаще всего – о каких-нибудь глупостях и приколах, которые встречались нам в анализируемых текстах. И вот в один из таких «перекуров» разговор почему-то съехал на тему прав национальных меньшинств.

Кто помнит, как раз тогда произошли столкновения на национальной почве в Туве. И я в разговоре с Еленой их коснулся, причем выступил в духе сформировавшихся у меня недавно взглядов. Я сказал что-то вроде:

– Да грош цена всему этому вопросу. Вводятся 2–3 полка внутренних войск, сталкивающиеся стороны разводятся, потом устраивают небольшой шмон. Для острастки можно бы и повесить пару-тройку зачинщиков публично. Думаю, после этого никому долго не захочется устраивать поножовщину. Ну, а потом надо понять, почему все это произошло. Явно люди чем-то недовольны, причем на самом банальном уровне, типа экономических проблем. Сытый, довольный жизнью человек не пойдет бить соседа. Ну, и надо решить эту проблему. Вот и весь разговор. Делов-то…

То, что я сказал, казалось мне обычной банальностью фрондера (в то время, конечно, не особо политкорректной в демократической среде), но реакция Елены была совершенно неожиданной. Такого я ни до, ни после уже не встречал. Надо было видеть эти глаза, горящие пепельным гневом, эти откинутые назад черные волосы, эту неожиданную ярость…

– Да знаешь, кто ты после ЭТОГО! Ты – НАСТОЯЩИЙ ФАШИСТ!!! Таких выродков, как ты, надо убивать, расстреливать, топить, душить! Вы

все просто не заслуживаете права на существование! Ты не понимаешь, что такое страдания маленького народа!!! И не можешь этого понять, ты, скучный обитатель империи хамов! Да, у вас есть солдаты, дубинки, власть, но вам не растоптать волю к победе, которая есть у маленького народа! И он вас победит, вас, самоуверенные свиньи, которые убеждены в том, что все можно раздавить или, на худой конец, купить! Вас, сытых развращенных римлян, которые сами не понимают, зачем существуют! И с другой стороны – они, одни, меньшинство, задавленные, но не сдавшиеся!

Честно говоря, я в тот момент ощутил нечто странное. Вот такая реакция показалась мне очень сексуальной, почти беспредельно. Я неожиданно понял, что чувствовали погромщики, насиловавшие своих жертв. Передо мной, в свете молний, с горящими глазами, сидела, в неподдельном гневе откинувшись назад, самая настоящая библейская Юдифь, и, думаю, люди другого склада незамедлительно постарались бы сделать все, чтобы самым неостроумным способом войти в эту живую и древнюю библейскую историю, хоть как-то прикоснувшись к ней.

Но и сама интеллектуальная сторона события показалась мне тогда удивительной. Оказывается, «фашистов» полагается расстреливать, топить и душить, а правда всегда на стороне маленького народа, противостоящего древней империи. Это все, конечно, было смешно (в процессе написания дипломной работы, уже через полгода, я сочинил небольшой рассказ – пародию на «Семнадцать мгновений весны», в котором обыгрывалась идея «убивать фашистов»; смысл был в том, что офицеры СС были такими всегерманскими жертвами, которых полагалось убивать – рассказ был о том, как Штирлица утопили в ванной). Но и не только смешно.

Я вдруг понял, что эти люди видят мир ТАК. Что есть маленькое, подавленное, но несдавшееся меньшинство, и есть те, кто его подавляет, строя «империи», аппараты насилия и разные там военные поселения для выкрестов-кантонистов. Но меньшинство не сдается, и оно всегда готово взять в руки кинжал, меч, дубинку, в общем, что попадется. И оно будет бороться до конца.

Удивительным образом, несмотря на такую реакцию, мы с Еленой не рассорились (все-таки у меня не голова, а дом терпимости, хе-хе). Даже совсем наоборот – это нас как-то сблизило…

Еще более странно, что буквально через несколько месяцев я, со своими идеями и настроениями, почувствовал себя самым натуральным меньшинством. Вокруг ломались копья между «коммунистами» и «демократами», а я оказался одним из тех, кого полагалось в результате «утопить». Теперь, я думаю, это чувство знакомо многим.

Мне кажется теперь, что воля к борьбе и сопротивлению, и мир, воспринимаемый вот таким образом – это древний архетип, которым хорошо бы научиться пользоваться, когда надо. Когда ты понимаешь, что один, уже один, противостоишь чему-то огромному и страшному, неповоротливо-тупому, способному только задавить или прикормить, не

видящему в мире ничего, кроме силы и денег… Как в каком-то фильме («Агирре, гнев Божий», кажется) – остаться одному, избитым, со сломанным мечом, на плоту, который волны бурной реки уносят в небытие. Это и есть слияние с неким древним, подсознательным принципом, доставляющее своеобразное, ни с чем не сравнимое наслаждение…

Прошло много времени с тех пор. Елена К-ч эмигрировала в Канаду, и следы ее затерялись. Я успел побывать и «фашистом», и «неумеренным националистом», и вообще черт знает кем… И тем не менее, если мне приходится думать о так называемой «борьбе» – я вспоминаю этот эпизод. Он до сих пор кажется мне архетипическим: правильный воин идет до конца, даже оставшись один и потеряв надежду. Конечно, этого обычно не случается. Жизнь неизбежно оказывается сильнее зова Древних Эонов. Вот и все, что я хотел сказать.

ВРАГ

Мы пойдем теперь в Иншое Царство,
Переигрывать Царя-собаку…

Речь пойдет о Враге как таковом. О метафизическом, изначальном Враге. Вовсе не о дьяволе, как могут подумать некоторые профаны и любители жареных сенсаций. О, нет! – пресловутый диавол есть просто одна из многочисленных ипостасей Врага, его сугубо религиозный образ. И не более того. Не скрою, этот образ крайне талантливо написан отцами церкви и народным воображением. Страшный персонаж был пойман ими, сфотографирован во всех ракурсах и отпущен дальше гулять по свету на потребу праздной газетной публике – все-таки копии смертного приговора черту у святых отцов на руках не было. Говорят даже, будто сам Бог ждет, когда диавол покается. В этом якобы и состоит смысл истории. Кто знает?

Но мы будем с вами рассуждать не совсем об этом, а может быть, даже, и не об этом совсем. Наша теория – более мещанская и более мелкобуржуазная. Поэтому она шире и одновременно мельче. И начну я с более простых вещей.

Когда среди лета выпадает снег, в августе дорожают помидоры, в один из вторников падает до начального уровня уверенно росший последние две недели биржевой индекс какого-нибудь там Шишкинда-Кукушкинда, злые цыганские дети вскрывают продуктовый ларек, единственную статью семейного дохода, жена уходит к директору фирмы, а между большим и указательным пальцем на левой ноге вскакивает большой волосатый прыщ, который постоянно чешется, несмотря на поползновения лечиться – обладатель всего этого счастья обычно говорит, что у него началась «полоса невезения». Эта точка зрения постсоветского обывателя апеллирует к своего рода индуистским архетипам. Мол, жизнь человека заранее расписана от звонка до свистка, и вся-то она в черно-белую полосочку. А человек, как гондола по каналам венецианским, скользит по этому зеброобразному полотну и знай себе отплевывается от постылой реальности.

Вспоминается старый анекдот: как выглядит зебра? Черная полоса – белая полоса – черная полоса – белая полоса – черная полоса – белая полоса – ж…а.

Как ни печально, масса обывателей всерьез мечтает о том, чтобы у них в жизни было только «хорошее». То есть чтобы индекс Шишкинда стоял и не падал, деньги были, карьера шла и, в конечном счете, чтобы можно было вообще ни хрена не делать, а самые лучшие и ценные жизненные ощущения приходили сами собой. В идеале же с этой точки зрения человек должен после рождения сразу переноситься в рай. Или просто рождаться в раю. Или не рождаться вообще, ибо процесс рождения доставляет ему некоторые неудобства. То есть идеал «любителей только хорошего» – вечная жизнь в виде некоторой светлой наслаждающейся сущности, пребывающей где-то в лоне небес. Недалекий читатель может сразу назвать ее Богом, но это не так. Если посмотреть на нее более пристально, станет ясно, что это какой-то скотоподобный бог, бог-идиот, радостный олигофрен, корова или цветок, основная цель которого – получать вечное наслаждение. Лично мне такой бог-скотина противен. Чтобы не срываться в банальные теле-радиопошлости, не буду развивать напрашивающихся мыслей о Христе, который ведь умер на кресте явно не для того, чтобы получить наслаждение. Хотя, конечно, обывательские мозги немедленно сочинят миф о какой-то сугубо земной и материальной цели, которую преследовал Иисус. Я уже читал про садомазохизм основателя христианства и его желание как можно сильнее выпендриться. Чего только не произведут мозги либерально настроенного обывателя!

Но, так или иначе, обыватель уверен, что злое – это плохо, а доброе – это хорошо. Даже, скорее, наоборот, плохое «для тебя» – это зло, хорошее – это добро. На самом деле тут-то и кроется воистину дьявольская ловушка. Перед нами просто два образа откровенного сатанизма. Только в самом простом случае земля рассматривается, как юдоль печали, где на человека обрушиваются всякие ужасы. Поэтому жить не стоит. В случае же «всеобщей победы добра» в обывательском смысле всякая жизнь вообще прекращается. Все ложатся под райские деревья, чтобы слушать бездвижные песенки птицы Каган, о которой столько писал Фома Достоевский. В обоих вариантах итог один – физическая и духовная смерть.

Совершенно потрясающая теория из этой же серии была придумана современным либерализмом. Нам рисуют такую великолепную картину: в правильном обществе все преследуют свои корыстные цели, а в результате каждый для этого что-то делает для других. У банкира болит зуб, он обращается к дантисту посреди ночи, и тот, хотя ему это совсем не в радость, спасает бедолагу, потому что знает – ночью он возьмет тройной гонорар. Сам дантист мечтает о новом автомобиле. Автомобильный дилер,

у которого в голове вертится мысль о покупке недвижимости, впаривает дантисту лимузин с пятипроцентным наваром. Менеджер риэлторской конторы мечтает посетить роскошный бордель и изо всех сил набивает цену. Бандерша копит на приличный подарок любимому племяннику и… Так далее и тому подобное.

Казалось бы, все участники капиталистической экономики в этой интерпретации преследуют свои личные корыстные цели, оказывая необходимую помощь другим. Вполне, казалось бы, христианская идея взаимного служения всех членов общества. Но это только на первый взгляд.

Хитрость тут в том, что образ Врага приобретает в таком обществе прямо-таки классические черты. Врагом оказывается тот, кто нарушает желание данного члена общества «хотеть». Кто препятствует личности воплотить свои идиотские мечты в жизнь.

Но в этом случае вражеский дух полностью растворяется в либеральном мире и присутствует всюду. Человек, как часть скотоподобного божества-олигофрена, естественно, стремится только к наслаждению. Так учит левый либерализм. Результат – все вокруг рассматривается в качестве вынужденного и неизбежного зла, которое следует терпеть. Что поделаешь! Я хочу белый мерседес, значит, мне придется удовлетворять потребности всяких гнусных скотов, у которых болят зубы.

Таким образом, сегодняшний Враг – все, что противостоит моему «хочу», неважно, насколько оно приличное и высокоморальное. Враг норовит разорить биржевого маклера и заставить монаха в келье напиваться вином по вечерам. В сущности, в случае с монахом одно «хочу» меняется на другое – «хочу спастись» (условно говоря) на «хочу хорошо выпить» (здесь нужно сделать примечание: говоря «хочу спастись», монах уже делает ошибку. На самом деле, спастись он «должен» и даже «обязан», и горе ему, если это не удастся, ибо в таком случае его вся жизнь окажется выброшена на свалку. Как раз по натуре своей человек именно что «не хочет» спасаться, но его обязанность – преодолеть эту натуру).

У Врага два орудия, две ипостаси – просто уничтожение пути к цели и незаметная подмена цели. Самое ярко выраженное и часто встречающееся состояние – именно первое. Маньяк насилует и убивает вашу любимую собачку. Девушка бросает партнеру безжалостное «нет». Теряется кошелек с зарплатой за месяц. Понятно, что всюду действует враг, персонифицированная фигура Врага рыщет по путям людским и гадит человеку, как может.

Во втором случае все еще хуже – начинается с благих намерений, а кончается смертоубийством. Или благая цель заменяется на тщеславное самолюбование.

Итак, вот две ипостаси Врага – назовем их Трикстером и Сатаной. Не исключено, что есть иные, и мы постараемся их поймать или признать, что они в природе не встречаются.

Врагу в образе Трикстера просто нравится сбивать человека с пути и оставлять в грустных размышлениях. Дальнейшая судьба пострадавшего,

чаще всего, не интересует Трикстера. Он, подрыгивая козлиными ножками, убегает портить жизнь другим, забывая о своей недавней жертве. Тем временем пострадавший приходит в себя и начинает оживать, восстанавливая порушенное.

Трикстер, по всей видимости, играет роль своего рода «санитара леса». Он выполняет массу чрезвычайно полезных функций, делая жизнь более веселой и непредсказуемой. Никто не может быть уверен в своем будущем, никто не может ничего себе гарантировать. И в данном случае этот Малый Враг играет роль вполне беспристрастной судьбы, которая настолько сильна, что может расправиться с каждым, как бы велик он ни был.

Трикстер и Сатана, по всей видимости, вовсе не обязательно связаны между собой. Они могут действовать совместно, а могут и жить сами по себе. Чаще всего они и находятся в этом последнем состоянии. Время от времени оба героя объединяются, чтобы натворить всяких страшных дел.

Тем не менее, я думаю, потрясающий интерес современного человечества именно к трикстерской тематике, его желание жить без проблем и не знать горя – очевидное следствие то ли заговора Сатаны и Трикстера, то ли какого-то сбоя в функционировании самого бытия.

Ибо, переведя «стрелки» на борьбу с Трикстером, человечество лишилось понимания некоторых простейших вещей – тех самых богов азбучных истин, «богов линованной бумаги», о которых писал когда-то Киплинг. Самым страшным для современного человека оказывается срыв его собственных планов, противостояние его желаниям и «хотениям». Никто не задумывается о том, что само по себе желание может быть «неправильным».

Я думаю, в один прекрасный день Сатана договорился с Трикстером о том, что тот будет изображать Сатану. А тем временем, он, пресловутый «владыка мира сего», будет спокойно проворачивать свои мерзкие дела. Особенно они хорошо идут в том мире, где нет ничего, кроме мечты о «добром и хорошем существовании на вершине личного успеха».

Я не собираюсь давать здесь рецептов борьбы с Сатаной. Я просто думаю, что нам (каждому из нас) надо его, наконец, уличить.

А для этого достаточно просто задуматься, ради чего мы идем к своей цели? И о том, не поставил ли нам ее именно тот, кого мы так не любим и боимся?

И тогда, возможно, окажется, что Трикстер – это и есть последняя фигура, которая стоит на нашем гибельном пути, пытаясь спасти нас от полновластия Сатаны…

И, даже, скорее всего, это именно так и есть. Последним «охранителем» человечества ныне оказывается жалкий козлоногий демон, который вызывает падения курсов акций и автомобильные катастрофы…

Выводы из этой нехитрой мысли я предлагаю сделать самим читателям…

Опубликовано под псевдонимом Элиезер Дацевич

1788

Итак, этот день наступил. Часы более чем двухсотлетнего прогрессирующего сумасшествия Европы пробили в последний раз, и трагедия началась. Рухнули Башни-Близнецы, и вместе с ними разлетелась в прах вся сложная конструкция из институтов международного права, которая возводилась на протяжении последних ста пятидесяти лет. Мир начал стремительное возвращение к исходной точке катастрофы, из которой вышел весь бессмысленный двадцатый век. Настало время и нам высказаться по этому вопросу. Что нас ждет? Куда идет человечество? Нам кажется сейчас, что контуры будущего, *наконец, начинают проясняться*. Это будущее будет прекрасным и жестоким.

1. Конец Объединенных Наций

И в самом деле, на протяжении последнего десятилетия роль ООН все мельчала, практически сведясь к нынешнему моменту до банального и мелочного «кушать подано». Понятно, кому они «подавали кушать» все это время. Но теперь Штаты решили, что можно обойтись без такого слуги и начать жрать самим.

Ничего серьезного и принципиального после 11 сентября из уст функционеров ООН не прозвучало. Кофи Аннан получил за это Нобелевскую премию, которая, как нам кажется, просто-напросто представляет собой этакий жалкий предпенсионный приз для удаляющейся на покой всемирной шарашки. Вся эта неповоротливая структура из тысяч довольных жизнью и весьма недалеких клерков, в основном работающих «по седьмому комитету» (то есть по системе беспошлинных супермаркетов), показала, чего она стоит. У разъединенных народов не найдется на нее и ломаного гроша.

В сущности, ООН могла играть какую-то роль только в двухполюсном мире. Это было место, где вырабатывался компромисс между Западом, Советами и бестолковым бесноватым «третьим миром». В такой ситуации ООН была необходима. С уходом в небытие советского блока она стала не нужна.

Но новые хозяева мира еще некоторое время терпели сонную и беззубую приживалку, даже делали вид, что с ней советуются. И вот настал час, когда прятаться больше незачем. Шавка отправляется на живодерню.

На наш взгляд, ООН в нынешнем виде просуществует не более года-двух, максимум трех. Ее «реформируют», сведя все многочисленные роли к чистому наблюдению за ситуацией и к регистрации международных договоров. Что это будет реально, я напишу ниже. Пока мы констатируем факт – мировой порядок, сложившийся после второй мировой войны, уже рухнул навеки.

Что осталось? Полуразъеденный ржавчиной остов старой Лиги Наций, в которую сейчас стремительно превращается ООН. Но даже того стиля, который торжествовал в ЛН, история нам не оставила. Ресурс исчерпан. Человечество возвращается к эпохе кристально чистой «реалполитик», ко временам Священного Союза.

2. Новый Священный Союз

На руинах ООН, несомненно, будет возведен новый мировой порядок, который вырисовывался все десять последних лет, но никогда его творцы не стояли так близко осуществлению своих замыслов.

На что будет похож НМП в своей первой стадии? На то, что мы уже когда-то видели. На европейский порядок позапрошлого века.

То есть все будет просто и понятно. В центре мира воссядет Гегемон, или, если хотите, Мировой Жандарм. Он будет окружен сателлитами-*оруженосцами, верными рыцарями*, с которыми его свяжут договора о вассалитете. На своих территориях вассалы будут совершенно свободны, за исключением «основных ценностей цивилизации», которые будет диктовать Новый Император Вселенной.

Ниже будут стоять страны-крепостные, полуколониальные образования, полностью зависимые от стран-рыцарей.

Еще ниже окажутся страны-партизаны и вообще так называемое мировое подполье, с которым страны-рыцари будут вести бесконечную войну. Воевать, естественно, растаптывая крестьянские поля и уничтожая посевы.

Отношения между «рыцарями» будут строиться на основе строгой иерархии в приближении к «королю». Последний сможет принимать какие-то меры против провинившихся сателлитов, только объединившись с другими вассалами, с теми, кто себя хорошо ведет. В одиночку король никого наказать не сможет, кроме «крестьян» и «бандитов». Против них же он будет периодически снаряжать крестовые и прочие походы.

В этой системе единственным международным институтом станет некое бюро-депозитарий, которое займется двумя вещами. Во-первых, оно будет регистрировать и хранить международные договора. Во-вторых, принимать жалобы от субъектов международного права, делать свои заключения и передавать их на исполнение «королю». То есть это бюро окажется неким подобием международного суда, но не обладающего всеми *полномочиями нынешних ооновских институтов*.

Вассалы же будут выяснять отношения между собой путем специально создаваемых третейских судов. Никакая глобальная система безопасности, в которой будут считаться с интересами всяких мелких государств «третьего мира» и возиться с мировыми проблемами, больше не нужна. «Король» и его вассалы просто будут «мочить в сортире» все источники беспокойства и неприятностей, возникающие на периферии.

Вот, собственно, и все. Нужно отметить только еще одну вещь. «Король» будет главным «духовным спонсором» всего этого новообразования. И будет еще один элемент – мировой финансист, не имеющий территориальной локализаци и живущий везде, этакий нуль-этнос, не «прикрепленный к земле» (а посему, думаю, Израиль либо перестанет существовать, либо навсегда перейдет в разряд государств-крепостных). Он, финансовый космополит, и окажется главной опорой «короля». Он уже сегодня постепенно занимает свое место в лице «глобализации», которой сейчас сопротивляются некоторые «вассалы» и почти все будущие «крестьяне», не говоря уж о «робин гудах» цивилизации.

На мой взгляд, это сопротивление совершенно бесполезно, так как победа «робин гудов» опрокинет мир в еще больший хаос, а выход, который они в конце концов изобретут, ничем не будет отличаться от того, что сейчас формируется на наших глазах, разве что вокруг будет царить совсем уж полная разруха.

3. Замки и деревни. Глобальный феодализм

Вообще, в новом мире становится весьма актуален малопонятный нынешнему читателю «Замок» Кафки. Советую это сумбурное произведение перечитать с точки зрения «описания нового мирового порядка». Государства-замки будут угрюмо нависать над разоренными деревнями, выставив в глухую темноту свои сверхмощные суперорудия.

Жители стран-деревень окажутся той самой воплощенной мечтой коммунистов и экологов. В них потребление будет сведено к необходимому минимуму и стабилизировано до крайности, лавки и храмы сданы в аренду мировым торговцам, там восторжествуют всякого рода общинные структуры. Более того, мощная система СМИ будет вдалбливать в головы «пейзан» и некоторых диссидентски настроенных жителей замков, что такая жизнь на природе среди горных пасторалей и куч дерьма чрезвычайно угодна Богу, что «крестьяне» рождены крестьянствовать, а «рыцари» – рыцарствовать, и каждый несет свое бремя. Воздействие массовых коммуникаций уже в ближайшие три десятилетия превратит общество «нового мирового порядка» в кастовое или сословное. Несомненно, это будут, так сказать, прозрачные касты, люди смогут перемещаться между ними, но не свободно, а в результате серьезнейших усилий. Впрочем, СМИ быстро вдолбят в мозги обывателей мысль о пользе такого сословного деления. Вообще, все идет к тому, что массовые коммуникации займут ведущее место в грядущем «новом средневековье». Это будет основа новой мировой религии, точнее, нескольких религий, своего рода виртуальный храм.

Что будут представлять собой «страны-рыцари»? Осмелюсь с большой долей вероятности предположить, что это будут авторитарные и даже тоталитарные государства, скорее всего, реализующие какую-либо из версий национал-социализма. Более того, единственной страной, формально

сохраняющей демократические институты, впрочем, сильно авторизированные, ужесточенные, будут США. На фоне «наступления хаоса», мирового «робин гуда», многие так называемые права человека сойдут на нет, и никто даже не будет протестовать, кроме отдельных шизоидных романтиков. Едва ли не главной ценностью прекрасного нового мира будет «стабильность». Естественно, уровень жизни весьма существенно снизится, но пропаганда СМИ создаст видимость, что жизнь стала более здоровой и научно организованной. Питание почти впроголодь, занятое обязательными спортивными и военными упражнениями, незначительное свободное время – вот что будет составлять повседневность жителей развитых стран. Но зато этот уровень будет им обеспечен, в отличие от стран-крестьян, где то же самое будет достигаться путем нечеловеческих усилий, тяжелейшего труда и напряжения всех сил. Целые географические районы опять окажутся «белыми пятнами», притоном «робин гудов». Да, их будут наблюдать из космоса, но борьба с ними окажется совершенно бесполезной, так как они составят важнейший элемент нового мирового порядка. Без них рыцарям придется слишком сложно – они будут вынуждены делиться с крестьянами. В случае же существования мирового хаоса их протекционистские меры будут вполне оправданы.

Означает ли это, что в область хаоса будет выброшен вообще весь исламский мир? Очевидно, нет. Часть исламских государств будет принята в систему НМП на основах вассалитета, а «король» провозгласит религиозную терпимость. Вообще, НМП в чем-то будет напоминать Речь Посполитую с ее относительной религиозной терпимостью, только без «либерум вето». Область хаоса же будет вообще лишена такого атрибута, как государственность. Скорее всего, попавшие под ее власть территории получат какое-нибудь название вроде «коллапсирующих зон», и возникающие там время от времени политические режимы никто не будет всерьез воспринимать.

Над «крестьянами» поставят региональных «старост», наиболее приближенных к мировой аристократии, но все-таки «не вышедших рылом». Очень вероятно, что одним из таких «старост» будет Россия. Тем самым «староста» будет противопоставляться не только миру хаоса, но и более низким членам «крестьянской» иерархии, и еще – мировым разбойникам. Впрочем, в нашем регионе эту роль могут поручить и Украине.

Важно еще и то, что идея стабильности в странах вне границ «глобального полицейского» приведет к возрождению монархий. Мы увидим французского и итальянского короля, нескольких германских курфюрстов, русского царя неизвестного происхождения, не говоря уж о всяких румынских, болгарских, украинских, эстонских, грузинских и прочих карликовых монархах.

Я понимаю, что сейчас читатель либо хохочет, либо крутит пальцем у виска. Но я почти уверен, что такой путь наиболее вероятен. Что ж поделаешь… Можете считать меня юродивым. Пусть так. Но я договорю до конца.

Иными словами, двести лет европейской истории отправляются коту под хвост. Вся либеральная конструкция будет разрушена, все идеи французской революции торжественно брошены в огонь, и вместо «свободы, равенства, братства» над нами взойдут и заплещутся совершенно иные штандарты. На них будут написаны совсем другие слова.

Тотальность. Иерархия. Раса.

В переводе на кондовый русский – «православие, самодержавие, народность». Причем православие в его крайних, фундаменталистских формах. В этом смысле совершенно понятен и вполне здрав интерес Александра Дугина к старообрядчеству. Я думаю, именно эта специфическая версия православия получит в новом мире наибольшее распространение.

На Западе восторжествует крайний кальвинизм а ля старая Женева, а в непротестантских странах – «католическая реакция». Начнется повсеместный разгром просвещенческих идей. Сожгут на виртуальных кострах сочинения Руссо и Вольтера. После чего под всей так называемой новой и новейшей историей будет подведена окончательная черта. Начнется второе издание средневековья. Отсчет времени начнется с 1788 года – с каждым шагом все дальше назад, в глубь утерянных великих веков. Это будет последнее в истории Тотальное Зрелище, которому не было еще равных на земле.

4. Прощание с XX веком

Казалось бы, я должен радоваться. В сущности, побеждают идеи, которые мне близки, за торжество которых я боролся большую часть своей сознательной жизни.

Но мне даже улыбаться не хочется. Я понимаю – наступает Великая Тьма, и приветствовать ее приход было бы глупо. Более того, эту тьму, к сожалению, собственными руками создают вожди мирового финансового капитала. В том мире, который надвигается, наше и следующее за нами поколение будут со слезами вспоминать «золотой век» так называемых коммунистических и либеральных псевдоимперий, где все было просто, понятно, а жизнь с определенным комфортом почти гарантирована каждому. Новый мир с его кровавым цинизмом и чисто религиозным фундаменталистским этосом будет казаться нам грубым, скотским, не понимающим наших эстетских изысканий и извращений. Здесь потребуются кровавый мясник и смиренный пахарь, а не философ-постмодернист; священник-инквизитор с суперкомпьютером, а не психолог; маг-алхимик, придворный звездочет, а не современный ученый-рационалист с его истовой верой в обезьяну (за обезьяну в новом мире вообще будут самым садистским образом убивать). Все это ввергнет нас в депрессию, но надо будет ее преодолеть как можно быстрее. Нужно максимально быстро найти свое место в Новом Средневековье (думаю, больше всех повезет тем, кто участвовал в «толкинистском движении» – новая модель мирового порядка будет очень похожа на шизоидные измышления Джона Роналда Руэла Толкина).

Итак, грядет эпоха новых, сверхизощренных тоталитарных режимов. Первые звонки, прозвучавшие в прошлом веке, сменяются вторыми, возможно, и последними. Начинается второе действие колоссальной драмы тотальности.

История поворачивает вспять. Наступает Великая Тьма, Великая Беспробудная Ночь Человечества. Но так мы можем говорить только с нашей, внутренне извращенной двадцатым веком точки зрения. Человек средневековья сказал бы, что возвращается эпоха бесконечного счастья. Вероятно, он был бы более прав.

Сколько продлится Великая Тьма? Не знаю. Надеюсь, что долго. Ибо за ее границами только яркая искра Конца Мира – и все. Дальше обледеневший и никому не нужный камень, бывший когда-то Землей продолжит некоторое время по инерции вращаться среди разбитых хрустальных сфер небес, подобно тому, как старые часы, лишенные стрелок, продолжают зачем-то ходить. Мы же увидим новое небо и новую землю, но уже где-то далеко-далеко отсюда.

Все это суждено нам увидеть, понять и принять. Или взять оружие, чтобы погибнуть в безнадежной борьбе с великим жерновом истории, с его черным колесом. Необходимо сделать выбор. Те, кто против, должны умереть, сжимая в руках автомат Калашникова. Новая эпоха потребует сделать окончательный выбор. Жить вне влияний главных мировых сил далее будет невозможно.

И, как когда-то говорил пророк Исайя, **«ни одно из сих не преминет прийти и одно другим не заменится».**

Опубликовано под псевдонимом Вадим Нифонтов

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЙ НАРОД

ВРАГ